ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

16+

АЛЕССАНДРО БАРИККО, ПАОЛО КОНЬЕТТИ, ВАЛЕРИЯ ПАРРЕЛЛА В РУБРИКЕ "СОВРЕМЕННЫЙ ИТАЛЬЯНСКИЙ РАССКАЗ"

ГЮНТЕР ГРАСС В РУБРИКЕ "IN MEMORIAM"

2016

3

РОМАН ЛУИША ДЕ СТАУ МОНТЕЙРУ "МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ"

Основан в 1955 году

[3]
2016

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

3 Луиш де Стау Монтейру *Мужчины не плачут.* Роман. Перевод с португальского Андрея Сапрыкина

70 Энн Энрайт *Рассказы из сборника "Вчерашняя погода".* Перевод с английского Александра Авербуха

98 Марсель Паньоль *Зачумленные.* Повесть. Перевод с французского Ольги Пискарёвой

Современный итальянский рассказ

137 Анна Ямпольская *Итальянский рассказ: грани бриллианта*

139 Алессандро Барикко *Синдром Будмана.* Перевод Татьяны Быстровой

149 Паоло Коньетти *Механика двухтактного двигателя.* Перевод Диляры Туишевой

169 Валерия Парреллa *Бег.* Перевод Маргариты Старостиной

189 *Изменился путь, приводящий людей к чтению книг...* С главным редактором издательства "Фельтринелли" Альберто Ролло беседуют Джулия Дзанголи и Анна Ямпольская. Перевод Анны Ямпольской

Из классики XX века

196 Октавио Пас *Стихи.* Перевод с испанского Екатерины Трубиной

In memoriam

201 Гюнтер Грасс *В чем и где мы будем лежать.* Фрагмент книги *О бренности.* Перевод с немецкого и вступление Бориса Хлебникова

Национальные культуры и национальные психозы

211 Александр Мелихов *Финляндия, которую мы потеряли*

Ничего смешного

232 Николай Мельников *Высмеять пересмешника.* Владимир Набоков в зеркале пародий и мистификаций

256 Питер Лубин *Известный писатель и глуповатый интервьюер.* Фрагменты интервью. Перевод с английского и комментарии Николая Мельникова

Наши интервью

265 *"В отношении античных авторов я популист, для меня главное, чтобы текст был понятным".* С Григорием Стариковским беседует Елена Калашникова

Истина вверх ногами

271 *Французские афоризмы.* Перевод и составление Наталии Перовой

БиблиофИЛ

274 *Новые книги Нового Света* с Мариной Ефимовой

277 *Среди книг* с Олегом Кривцуном

Авторы номера

282

© "Иностранная литература", 2016

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

До 1943 г. журнал выходил под названиями "Вестник иностранной литературы", "Литература мировой революции", "Интернациональная литература". С 1955 года – "Иностранная литература".

Главный редактор

А. Я. Ливергант

Редакционная коллегия:

Л. Н. Васильева

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

Т. Я. Казавчинская

Н. Г. Мельников

К. Я. Старосельская

Общественный редакционный совет:

Л. Г. Беспалова

А. Г. Битов

Н. А. Богомолова

Е. А. Бунимович

Т. Д. Венедиктова

А. А. Генис

В. П. Голышев

Ю. П. Гусев

С. Н. Зенкин

Вяч. Вс. Иванов

Г. М. Кружков

А. В. Михеев

М. Л. Рудницкий

М. Л. Салганик

И. С. Смирнов

Е. М. Солонович

Б. Н. Хлебников

Г. Ш. Чхартишвили

Международный совет:

Ван Мэн

Януш Гловацкий

Милан Кундера

Ананта Мурти

Кэндзабуро Оэ

Роберт Чандлер

Умберто Эко

Редакция :

С. М. Гандлевский

Е. Д. Кузнецова

Е. И. Леенсон

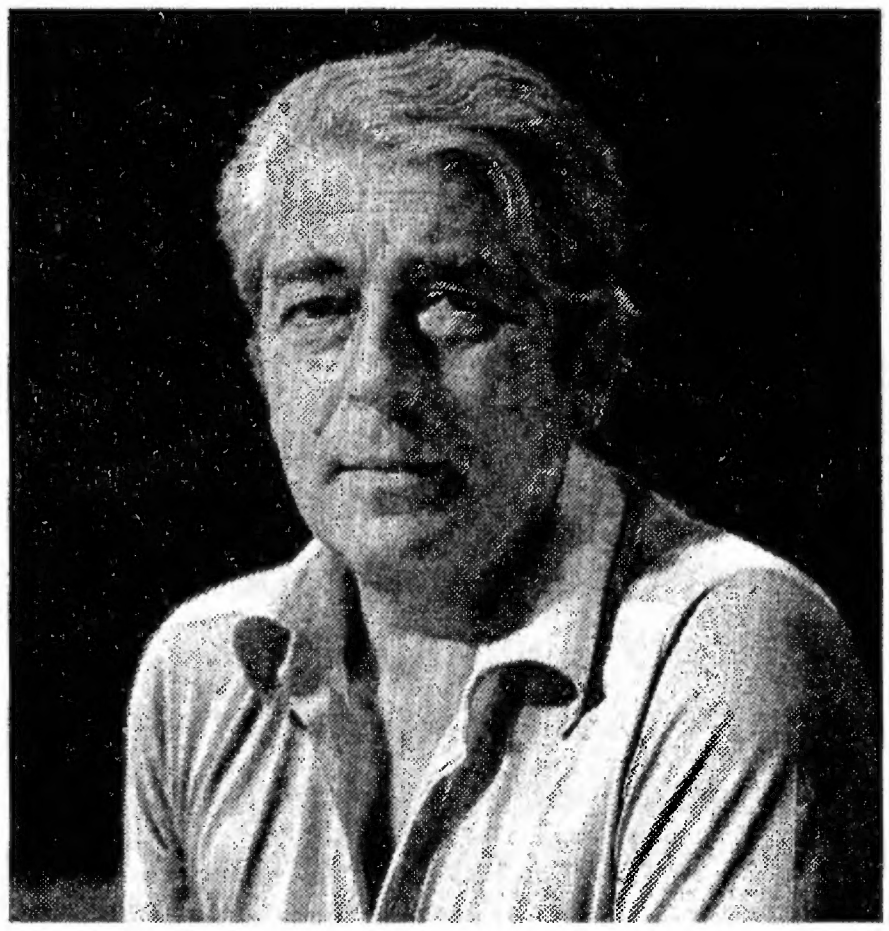
М. А. Липко

М. С. Соколова

Л. Г. Харлап

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

Луиш де Стау Монтейру



Мужчины не плачут

Роман

Перевод с португальского Андрея Сапрыкина

ПЫТАЮСЬ нащупать рукой будильник, трезвонящий уже около минуты. Нахожу его между книгой и стаканом воды, который мне каждый вечер ставят на ночной столик. Нажимаю на кнопку, и тишина возвращается в мою комнату. Знаю, что больше не смогу заснуть. Мой будильник неизменно звонит каждый день в восемь часов утра, светит ли солнце, идет ли дождь.

Это одна из неизменных вещей в моей жизни, таких же неизменных, как любовь Фернанды, как семейные ужины по случаю церковных праздников, как звуки соседского пианино по воскресеньям.

Ничего не поделаешь. Сбрасываю одежду на пол и ищу ногой тапочек, который должен быть где-то рядом с кроватью.

А там, за окном, свет уже наступает на город, свет, который ничего не прощает: ни трещин на стенах, ни плохо подметенных улиц, ни морщин на лицах женщин. Тени тоже поддаются этому наступлению и исчезают, не успевая упасть на землю. Через час последние тени в городе укроются под деревьями Авениды и за толстыми стенами народных кварталов.

© Luis de Sttau Monteiro
© Андрей Сапрыкин. Перевод, 2016

Я начинаю день в ванной перед зеркалом, бреясь “жилетом”, подаренным неизбежной Фернандой.

Я поворачиваю лицо вправо и влево, и лишний раз убеждаюсь, что я некрасив. Почему Фернанда продолжает любить меня? Как ни пытаюсь, не могу понять ее.

Ну вот! Порезался!

Открываю ящик и тщетно пытаюсь найти квасцовый камень, купленный мной много лет назад, еще до женитьбы. Его нет. Исчез.

Ничего не поделаешь. Стираю кровь полотенцем.

Мое полотенце голубое, и на нем вышито мое имя. Полотенце Фернанды розовое, и на нем вышито ее имя. Беру полотенце и пытаюсь найти на нем своё имя. И только сейчас понимаю, что полотенце другое. Новое, еще не выцвело. В углу, вместо моего имени, вижу слово “его”, вышитое белыми буквами. Беру розовое полотенце, тоже новое, висящее рядом с моим. В углу, тоже вышитое белыми буквами, слово “ее”.

Теперь у меня нет имени. Теперь я — “он”, мужская часть иллюзорного союза, который считается счастливой семейной парой.

Бросаю оба полотенца на пол и начинаю мыть лицо, не забывая про мыльную пену за ушами.

Если разобраться, то полотенца не виноваты в том, что происходит. И бросать их на пол — ребячество. Наклоняюсь, чтобы их поднять. Они лежат, как я их бросил, близко друг к другу, подобно новобрачным.

В дверь постучали. Я знаю, кто это.

— Я могу войти?

— Нет, подожди минуту. Я занят.

Ложь сработала. Дверь не открывается. Фернанда ждет за дверью. Я улыбаюсь своему отражению в зеркале, и мое отражение улыбается мне в ответ.

Я замираю, надеясь услышать шаги Фернанды, удаляющейся от двери. Но напрасно. Она остается у двери и ждет, когда я выйду.

— Уже можно?

— Еще нет. Одну минуточку.

Дергаю за цепочку унитаза, чтобы она поняла, что я только что поднялся.

— Можно?

— Да.

Я одним прыжком пересекаю ванную и погружаю лицо в раковину. Когда она войдет, у меня будет мокрое лицо, и она не сможет меня поцеловать.

Не оборачиваясь, слежу за ее движениями. Она села на краешек ванной. Собирается мне что-то сообщить. Судя по молчанию, речь пойдет о чем-то важном. Может быть, она решила, что наше решение спать в разных комнатах уже произвело ожидаемый эффект, и захотела вернуться в мою постель?

— Ты забыл, что сегодня пятница?

— Нет. Я только что поднялся и еще не успел вспомнить, что сегодня пятница. А что? Сегодня рыбный день?

— Ты уже забыл, что ты сегодня должен сделать?

— Подожди... я должен пообедать, поужинать, лечь, спать... Что-то в этом роде?

— Ты не можешь, хотя бы раз в день, быть серьезным?

— Я — нет. А ты?

— Прекращай свои шуточки. Сегодня в шесть часов коктейль у Симойншев.

— Ты права. Извини, что я забыл о таком важном событии. Коктейль у Симойншев изменит ход мировой истории. Как хорошо, что ты мне напомнила. Только представь себе, что бы случилось, если бы я туда не пошел.

— Ты сказал, что пойдешь.

— Неужели?

— Да, сказал.

— Это серьезно, действительно очень серьезно.

— Так ты идешь?

— Не знаю. А вдруг я умру. Или у меня родится сын. Либо меня переедет машина. Даже может случиться, что мне захочется туда пойти.

— Не мог бы ты позвонить мне и сообщить, идешь ты или нет, чтобы я знала, что мне делать?

— Даже если я не пойду, ты можешь пойти без меня. Не думаю, что Симойнш будет покушаться на твою жизнь. Даже если ему этого захочется, ты можешь сразу отказаться, сказав, что ты...

— Что я что?

— Что ты моя жена.

— Но ведь ты не это хотел сказать.

— Сказал, что сказал.

Открываю дверь ванной и выхожу. Она следует за мной и входит вместе со мной в спальню. Я начинаю одеваться с рубашки, надеясь, что она выйдет до того, как я начну надевать брюки.

— Ты идешь или нет?

— Куда?

— На коктейль к Симойншам.

— Не могу. Сегодня рыбный день.

— С каких пор тебя стали беспокоить подобные вещи?

— С сегодняшнего дня.

— И сколько это продлится?

— До завтра.

— И теперь скажи мне, как коктейль у Симойншев связан с тем, что сегодня рыбный день.

— На коктейлях всегда подают сосиски.

— Ты очень остроумен.

— Таким уж уродился.

— Ты будешь завтракать?

— Нет. Не могла бы ты выйти. Я буду одеваться.

— Не думаю, что это необходимо. Я твоя жена.

— Тогда оставайся.

Я снимаю пижамные брюки и одеваюсь.

Ну все, готов.

Выхожу из спальни и направляюсь к входной двери в сопровождении Фернанды.

— Так ты идешь на коктейль к Симойншам?

— А ты хочешь, чтобы я пошел?

— Хочу.

— Тогда я не пойду.

Выхожу из дома с чувством облегчения. Захожу в лавку, покупаю сто граммов изюма и кладу его в карман. Спускаюсь по улице по направлению к Шьяду[1].

Я уже обещал Фернанде практически все, что в моих силах, лишь бы она меня оставила в покое. Я уверен, что должен быть какой-то выход из этой ситуации. Не может не быть. Невозможно, чтобы в наше время, когда человек уже собирается лететь на Луну, я должен возвращаться домой к женщине, которую не люблю, к жизни, которую не переношу, в атмосферу, которую ненавижу.

Как человек собирается лететь в космос, если он не может вырваться за пределы своего мирка?

Ведь не собаки изобрели ошейники. И не львы придумали зоопарки. Зачем человек изобрел законы, которые его связывают по рукам и ногам? Законы были придуманы человеком для себя. Если они не подходят, то можно придумать другие, более подходящие.

Кладу в рот еще одну изюмину. Слишком сухая. Собираю в ладонь несколько штук и отправляю их в рот.

Ситуация, если разобраться, идиотская. Что это за дом, где муж не спит с женой, а жена преследует его воспомина-

1. Район Лиссабона в старой части города. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

ниями о поцелуях прошлого? Достойно ли это нас? Не честнее было бы изучить этот вопрос спокойно, объективно и с точки зрения общепринятой морали?

Адвокат, о котором мне рассказывали, католик, делающий политическую карьеру. Судя по всему, он весьма влиятелен. Даже если эта консультация влетит мне в копеечку, я все равно поговорю с ним. Право же, стоит. Не могу же я провести остаток жизни, бегая от Фернанды.

Это недостойно ее и меня.

Беру еще несколько ягод из пакета. Оглядываюсь вокруг. Не видно ни одного магазина, но я знаю, что есть несколько около площади Милосердия.

У меня портится характер. Я становлюсь несправедливым к Фернанде. Отношусь к ней с дешевым цинизмом, в духе Питигрили, которого стыжусь. Рассуждая здраво, я бегу от себя самого всякий раз, когда бегу от нее, потому что стыжусь моего к ней отношения.

Но не Фернанда придумала законы, которые определяют нашу жизнь.

— Ты хочешь, чтобы я пошел?

— Хочу.

— Тогда я не пойду.

Такой ответ неприличен и несправедлив.

Ведь раньше я не был таким. Что же со мной все-таки происходит?

Неужели нет никакого выхода? Честного и достойного? Неужели я растрачу остаток жизни на дешевые циничные шуточки, издеваясь над Фернандой и медленно теряя остатки собственного достоинства?

Я обязательно должен поговорить с этим адвокатом. Быть может, он знает выход. Будет правильно, если я обращусь к нему. Ведь это он и ему подобные породили такую ситуацию, и будет только справедливо, если они помогут хотя бы мне.

— Двести граммов изюма, пожалуйста.

— Минутку, лишь обслужу эту сеньору.

— Он не очень сухой?

— Превосходный, только вчера получили.

Беру на пробу. Неплохо. Опускаю пакет в карман и получаю сдачу.

Еще только десять часов. Самое время выпить кофе где-нибудь поблизости.

Мне все утро нечем себя занять, абсолютно нечем.

Не могу оставаться дома. Буду продолжать заниматься тем же, чем обычно: гулять по улицам и глазеть на прохожих.

Скорей бы закончились эти проклятые праздники и люди вернулись бы на работу.

Нет никакого сомнения, что я был несправедлив к Фернанде.

Может, позвонить ей? Да, именно так я и поступлю. Позвоню ей и скажу, что пойду на коктейль к Симойншам. Если разобраться, то она страдает не меньше, чем я.

Пробую еще одну изюмину. Эта вкуснее предыдущей. Более сладкая и сочная.

Захожу в телефонную будку. С чего начать? Если я попрошу прощения за утренний разговор, то она вновь преисполнится ожиданиями и, может быть, постарается уложить меня в постель сегодня вечером. А это хуже всего. Нельзя отвергать женщину. Это ужасно и очень жестоко. Все равно что ударить ребенка. Та сцена — она случилась в январе — до сих пор стоит у меня перед глазами. Бедная Фернанда, согнувшись, выходит из спальни в своей ночной рубашке в узорах из цветов, выходит так, как будто у нее нет никого на всем белом свете, как будто жизнь ее закончилась.

Она пришла предложить мне все, что у нее было, а я отверг. До сих пор меня бросает в дрожь, когда я вспоминаю эту сцену. Но что мне оставалось делать? Играть роль страстного мужа? Продолжать лгать? Внушать ей иллюзии по поводу будущего, которого нет?

Жаль, что я купил только двести граммов изюма. Он такой вкусный, что стоило купить полкило. С другой стороны, получился бы большой пакет, он не влез бы в карман. В следующий раз куплю двести пятьдесят граммов.

Звоню домой.

— Фернанда, это ты? (А кто же еще? А если мужчина? Возможно, это был бы выход...)

— Я.

— Я решил пойти на коктейль к Симойншам.

— Ты заедешь за мной? (В ее голосе чувствуется надежда.)

— Поезжай без меня. Встретимся там. Я приеду пораньше, в шесть.

— Ты поедешь прямо туда и не заедешь домой переодеться?

— Да, именно так. У меня не будет времени заезжать домой. Если заеду, то уже не пойду на коктейль.

— На всякий случай, я подготовлю тебе темный костюм и положу чистую рубашку на кровать.

— Не стоит. Я пойду как есть.

— Пусть так. Но я все равно тебе все подготовлю.

— Не надо, не стоит. (Уже спорим...)

— Ты можешь изменить свои планы.

— Я никогда не меняю своих планов.

— До скорого и спасибо.

— До свидания.

Разговор просто взбесил меня. Эта ее постоянная мания заботиться обо мне! Заранее выбирает мне костюм, ставит мне тарелочки с изюмом на ночной столик, в холодильнике всегда есть охлажденные напитки. Живет, надеясь на то, что однажды я передумаю. Неужели она считает, что любовь приходит и уходит, когда мы меняем свою точку зрения? Что она себе думает? Что однажды я вернусь домой и скажу, что передумал и решил вновь полюбить ее?

— Фернанда, дорогая, я хорошенько подумал и решил полюбить тебя. С этого момента я люблю тебя. Нет, Фернанда, не прямо сейчас. Сначала я зайду в магазин и куплю двести пятьдесят граммов изюма, а потом вновь полюблю тебя.

Надо позвонить тому влиятельному адвокату и договориться о встрече.

Нахожу его имя в справочнике. У него четыре номера: один в Байше[1], один на авениде Аэропорту, один в Кашкайше[2], один недалеко от дворца Келуш. Нет никакого сомнения, человек это влиятельный.

Набираю номер в Байше.

— Алло. Это офис господина... Да, именно. Я хотел бы договориться о встрече. Да. Именно сегодня. В пять часов? Да, буду. Как меня зовут? Конечно. Из профсоюза? Какого профсоюза? Нет, вы ошибаетесь... я не имею никакого отношения к профсоюзу. Вы подумали, что я из профсоюза, но какого профсоюза? С которым у господина адвоката соглашение? А в чем дело? В любом случае, я не из профсоюза. Из ассоциации? Вы что-то путаете. Тоже нет. Я обращаюсь к вам в первый раз. Да, хорошо, обязательно буду.

Секретарша, похоже, дура. Думала, что я из профсоюза, ассоциации, страховой компании.

Да, вне всякого сомнения, этот изюм очень хорош. Беру еще одну ягоду. В пакете еще немало. Можно взять еще горсть.

Спускаюсь по улице, к площади Ларгу Триндаде Коэлью. Кафе Кариока еще закрыто. Очень жаль. Порция виски мне бы не помешала.

Витрина торгового центра “Рампа” очень красива. Напоминает легкую, беззаботную жизнь, как на обложках амери-

1. Центральный район Лиссабона, недалеко от набережной Тежу.
2. Пригород Лиссабона.

канских журналов. Кожаные пиджаки, вязаные свитера, платки с разнообразными рисунками.

Я люблю такие витрины. Они делают город более цивилизованным и космополитичным. Жаль, что есть Конкордат[1]. Он никак не вяжется с современным видом витрин торгового центра "Рампа". Не вяжется он и с импортными вязаными свитерами.

Офис очень солидный, отделан деревом, дорогие кресла обиты коричневой кожей. Посетителей нет.

Усаживаюсь в кресло и беру журнал. Такие журналы никто не покупает. Их получают по почте, и даже посудомойки их не читают. Он заполнен фотографиями плотин и его Превосходительства Господина Президента Республики во время его визита в Африку. Негры и негритянки с флагами в руках ждут президентскую машину. У одной из них груди до пояса. Не понимаю, как только цензура пропустила эти груди. Только потому, что она ждет Господина Президента?

Беру еще несколько ягод. Они размякли, провалявшись с утра в моем кармане.

Не понимаю, почему мне приходится столько ждать, когда меня примут. Ведь посетителей нет. Бьюсь об заклад, что господин адвокат прохлаждается.

Может быть, читает "Дьяриу де Лижбоа".

Ну что ж, посмотрим...

Встаю и обращаюсь к секретарше, погруженной в вязание.

— Прошу меня извинить, но я жду с пяти часов, а уже полшестого. Мне очень жаль, но больше я ждать не могу.

— Еще только пять минут. У господина адвоката важное совещание с генеральным директором, которое должно закончиться с минуты на минуту.

— Сожалею, но ждать больше не могу. Я, хоть и не генеральный директор, но тоже занятой человек. Я промышленник, и никто не сделает мою работу за меня...

— Я немедленно сообщу господину адвокату, что вы не можете больше ждать.

Остаюсь ждать стоя. Уверен, что важное совещание сразу же закончится.

Секретарша возвращается.

— Проходите. Сюда, пожалуйста.

Ну что я говорил!

1. Соглашение между Церковью и Государством по религиозным вопросам, запрещающее развод.

Пересекаю небольшой коридор и вхожу к господину-адвокату. Кабинет солидный, помпезный, обставлен тяжеловесной мебелью стародавних времен.

Господин адвокат сидит за огромным письменным столом. Когда я вхожу, он даже не поднимает глаз. Указывает мне на стул. Не сажусь. Я уже давно не ведусь на такие уловки. Адвокат поднимает на меня глаза.

— Садитесь, пожалуйста.

Сажусь.

Адвокат продолжает писать, как будто меня нет в кабинете.

Встаю.

Естественно, что адвокат сразу же откладывает ручку в сторону.

— Слушаю вас.

— Речь пойдет о разводе, господин адвокат.

— О разводе? Но я не занимаюсь разводами. Очень жаль, но заниматься разводами мне не позволяют мои принципы.

Осмеливаюсь изменить принципы господина адвоката.

— Извините, но дело в том, что меня об этом не предупредили. В противном случае я никогда бы вас не побеспокоил. У меня есть юрист, который занимается моими фабриками, но, поскольку его работа ограничена коммерческими вопросами, по своему частному вопросу я, по рекомендации друга, решил обратиться к вам.

— Фабриками? Так вы промышленник?

— Я один из крупнейших национальных производителей шляп, но у меня есть интересы и в других отраслях. В любом случае я должен попросить у вас прощения за беспокойство и...

— Обождите минутку, ради Бога. Я сказал, что не занимаюсь разводами, но я не сказал, что не смогу проконсультировать вас. Начнем с самого начала. В каком году вы зарегистрировали брак?

— В 1948-м.

— Брак гражданский?

— Церковный.

— Тогда вы не можете развестись, вы никогда не слышали о Конкордате?

— Я даже читал его, но не могу поверить, что нет никакой возможности обойти закон.

— Нет. Скажу даже больше: если бы я знал о такой возможности, то не сказал бы вам о ней.

— Почему?

— Потому что я принципиально против разводов.

— Наверное, вы не понимаете в чем проблема. Ведь я не хочу, чтобы вы разводились. Это я хочу развестись. Таким образом, ваши принципы остаются в неприкосновенности. Речь идет о моих. Честно говоря, я не могу понять, почему моя жена и я должны жертвовать собой ради ваших принципов...

— Когда вы сочетались браком в церкви, вы прекрасно отдавали себе отчет в том, что делаете. Если таковы были ваши принципы, почему вы не ограничились гражданским браком?

— В силу целого ряда причин, которые я не считаю нужным вам излагать. Исходите из того, что я сочетался церковным браком, потому что был католиком.

— А вы не знаете, что католикам запрещено разводиться?

— Не думаю, что сейчас уместно заниматься религиозными диспутами, но могу вас заверить: меня занимает не религиозный, а юридический вопрос.

— Согласен, но вы сочетались браком по религиозным законам...

— Это правда. Но, покинув лоно католической церкви, я автоматически прекращаю исполнять обряды моей бывшей религии. В любом случае, я пришел сюда не для того, чтобы философствовать. Я только хочу понять, что я могу сделать для того, чтобы развестись с моей женой. Развестись юридически, естественно.

— Юридически? Что вы хотите этим сказать?

— Потому что фактически мы уже разведены...

— Ничего не поделаешь. Нужно ждать.

— Ждать, но чего?

— Ждать.

— В таком случае разрешите откланяться. Я пойду ждать в другое место... Сколько я вам должен?

— Вы когда-нибудь допускали возможность обратиться в церковный суд?

— На каком основании?

— Есть варианты, много вариантов. Нужно подумать.

— В таком случае вы меня очень обяжете, если займетесь этим для меня.

— Приходите завтра. Нет, завтра суббота. В понедельник. Можете? После обеда я в вашем распоряжении... Посмотрим, что можно сделать. Моя секретарша поможет вам заполнить анкету. Она нужна мне для внутреннего учета.

Подходя к Симойншам, я ощупываю карман в поисках пакета с изюмом. Беру две ягоды.

Вхожу. Мне сразу же вручают бокал.

Сеньора в голубом: Вы уже видели Годо?

Другая сеньора в голубом: Какого Годо?

Сеньора в голубом: Из театра...

Мужчина в сером костюме: Это его ждут?

Симойнш: Позвольте предложить вам сосиски.

Сеньора, одетая в темные кружева: Я бы с удовольствием, но не могу, сегодня рыбный день.

Усатый господин: Да, Годо... Я был с Родригешем... Сосиску? С удовольствием...

Девушка с крашеными волосами: После Нуну Гонсалвиша в Португалии так и не появился ни один настоящий художник. Попробуйте эти бисквиты, они превосходны.

Юноша с подозрительными манерами: Ну что вы? А Алмада? А Мариу Эллой? Виейра да Силва и Соуза-Кардозу.

Симойнш: Кто?

Сеньора в голубом: Ведь у Годо...

Важный господин: Не понимаю я нынешнюю молодежь. Ни о чем важном не говорят. А план национального развития? Маслины? Не знаю где.

Юноша с подозрительными манерами: Цены на виски — это что-то невообразимое. Если бы я был министром, то провел бы закон...

Девушка с крашеными волосами: К счастью, у нас опять есть тоник. Ведь подумать только: мы были единственной европейской страной без тоника!

Мужчина в сером костюме: Вы столько лет прожили без тоника, возможно, даже не подозревая о его существовании... С чего это вдруг вам стало так его не хватать?

Сеньора в голубом: Вы только посмотрите, что у Годо...

Важный господин: Да что бы ни было у Годо, ничто не может оправдать отсутствия хороших национальных мастеров. Засилье иностранцев — это стыд нашего поколения. Жил Висенте...

Симойнш: Еще один drink, господин советник?

Важный господин: Никогда не откажусь от хорошей выпивки. Большое спасибо. Все эти иностранные словечки, которые входят в моду... Знаете, что бы я сделал, если бы смог?

Я уже приканчиваю свою пятую или шестую порцию виски и вторую тарелку сосисок. (И это в рыбный день!) Фернанда еще не пришла.

Девушка в желтом платье: Я безумно хочу вернуться в Париж. Мне все это до смерти надоело.

Юноша с подозрительными манерами: Что касается меня, то должен признаться: сейчас могу слушать только Бартока. Всё остальное мне кажется искусственным и бесчеловечным. А вы?

Решаюсь вступить в разговор. Единственный способ сделать это состоит в том, чтобы думать о себе, как об одном из них. Становлюсь мужчиной в галстуке в полоску.

Я, ставший мужчиной в галстуке в полоску: Мне нравится Барток, но я предпочитаю Балдини.

Юноша с подозрительными манерами: Балдини? Согласен. Он очень интересен. Очень. Очень человечный и открытый. Понимаете, что я хочу сказать? Его творчество — это большая распахнутая дверь, это собор на открытой площади, это настоящий храм, посвященный человечеству. Вы согласны со мной?

Я, ставший мужчиной в галстуке в полоску: Полностью. У него есть большой дар понимания в плане звучности.

Молодой дипломат, только что проведший целый год на званых ужинах четвертой категории в третьеразрядном городе: Я много думал об этом, но никогда бы не смог так четко выразить свои мысли.

Сеньора в голубом: Я вам же говорю, что Годо...

Жена Симойнша: Должна признаться в своем невежестве. Я никогда не слышала о Балдини. Как называется его главное произведение?

Я, ставший мужчиной в галстуке в полоску: Должен вам сказать, что Балдини никогда ничего не писал. Это итальянский гонщик, который только и делает, что гоняет на велосипеде.

Юноша с подозрительными манерами: Одну минутку, извините. Там говорят о чем-то очень интересном.

Молодой дипломат со званых ужинов четвертой категории в третьеразрядном городе: Последний раз, когда я был в Лондоне, я увидел нечто примечательное.

Я, ставший мужчиной в галстуке в полоску: Свое отражение в зеркале?

Сеньора в голубом: Никто из вас не ходил смотреть Годо?

Важный господин: И что же вы обнаружили в Лондоне?

Я, ставший мужчиной в галстуке в полоску: Государственную тайну в дипломатическом багаже...

Юноша с подозрительными манерами дипломату с бесполезных званых ужинов о мужчине в галстуке в полоску: Он совершенно невыносим, совершенно. Как будто я не знал, что Балдини — гонщик! Я ему подыграл только для того, чтобы понять, как далеко он зайдет... Хуже всего, что он может вообразить себе, что разыграл меня. Хороший урок для меня на будущее: надо быть поосторожней с незнакомыми людьми.

Молодой дипломат, который вернулся из Парижа, где он прочитал 14 детективов и посетил 14 ужинов 14-й категории: Коктейли у Симойншев — это что-то невероятное. Настоящий ви-

негрет. Кого здесь только не встретишь... Это мне так напоминает Париж...

Важный господин: Должен признаться, что искренне восхищаюсь дипломатами. В меру своих возможностей, естественно, я тоже дипломат. Ничего не может сравниться с тем, как вы решаете серьезные вопросы большой политики, на Востоке, на Западе...

Другой молодой дипломат, только что приехавший из Министерства, где он провел целый день в поисках новостей, касающихся Португалии, и в конце концов нашел одну на четвертой странице "Либерте де Лиль": Моя задача неблагодарна, очень неблагодарна. А кое-кто думает, что наша жизнь проходит на коктейлях и званых ужинах!

Сеньора в голубом: Эдуардо, вы действительно видели Годо в Париже?

Я, ставший господином в галстуке в полоску: Так кто же это решает вопросы на Востоке и на Западе?

Важный господин, улыбаясь и положив руку на плечо только что пришедшего молодого дипломата: Это так говорится. Я обсуждал работу моего юного друга. Он – дипломат.

Я, уже порядком уставший от роли мужчины в галстуке в полоску, обращаясь к молодому дипломату: Не откажите в любезности: не решайте большие вопросы на Западе до конца месяца, очень вас прошу.

Молодой дипломат, улыбаясь: Обещаю вам.

Удаляюсь.

Молодой дипломат, обращаясь к важному господину: Не переношу подобных типов, они считают себя умнее других, высмеивают все серьезное. Все критикуют, а сами, если разобраться, ничего не делают.

Важный господин с улыбкой, отражающей всю глубину его жизненного опыта: Мой друг, я полагаю, что это зависть. Не имея способностей к дипломатической работе, он выплескивает свое раздражение на дипломатов. Понимаете?

Молодой дипломат, печально улыбаясь: Возможно, вы правы, но, если разобраться, это очень грустно.

Беру изюмину из кармана. Нарушение регламента. Я обещал сам себе не есть изюм на публике. Такие ограничения необходимы. Я стараюсь устанавливать себе правила, пусть даже дурацкие. Кто-то ограничивает количество выкуриваемых сигар, кто-то берет на себя обязательство прочитывать одну страницу в день из толстой книги. Я же не ем изюм на людях.

Девушка с крашеными волосами: Тут два мои друга очень хотят знать, кто вы по профессии... Вы можете удовлетворить их любопытство?

Я, уже прекративший быть мужчиной в галстуке в полоску: Мне это совсем не трудно. Я – производитель шляп. Делаю шляпы.

Девушка с крашеными волосами: Шляпы?!

Я: Сеньорина, шляпы. Это то, что надевают на голову.

Девушка с крашеными волосами: Но сейчас уже никто не носит шляп.

Я: Именно поэтому, сеньорина, я подумываю о том, чтобы продать мою фабрику и построить другую по производству красок для волос.

Фернанда (*Я не видел, как она вошла.*): Я ищу тебя. Я опоздала, потому что Марию застали на лестнице с солдатом и мне пришлось ее уволить.

Я: А как ты узнала об этом?

Фернанда: Мне сказали.

Я: А какое ты к этому имеешь отношение?

Фернанда: Я должна заботиться о слугах, которых передали под мою ответственность.

Я: Кто тебе их передал? Агентство? В любом случае, ты не должна сомневаться, что увольнение – это лучшая форма заботы...

Фернанда: Ну вот, ты опять за свое... Неужели ты не можешь поговорить серьезно хотя бы одну минуту?

Я: Могу ли я что? Поговорить серьезно "на твой манер"? Могу. Даже очень могу. Пожалуйста: прогресс, происходящий в этой стране в течение последних лет, настолько очевиден, что лишь слепые либо те, кто не желают ничего видеть, отказываются признавать это. Пока еще ведущие державы не признали угрозу России, на которую мы указывали миру... Пока еще ведущие державы сталкиваются со старыми проблемами, которые у всех вызывают только смех, такими, как свобода каждого в отдельности, мы же ушли вперед, мы открыли, например, совершенно новую систему, основанную на вечных ценностях...

Важный господин, вмешиваясь в разговор: Извините, если я вмешиваюсь в частный разговор, но я услышал последнюю фразу и не могу не продемонстрировать свою поддержку вашим словам. В наше время не часто приходится слышать голос рассудка.

Фернанда: Если вы ищете здравый смысл, то можете удалиться. Он здесь и не ночевал.

Важный господин: Мне не следует критиковать ваше мнение, но думаю, что вы ошибаетесь. Обратите внимание, этот господин только что представил нам ряд истин, о которых редко услышишь. Очень редко, к сожалению!

Я, вновь превратившийся в мужчину в галстуке в полоску: Моя жена не верит в мои истины. Я только что говорил, что ей следует уволить служанку, потому что ее застали на лестнице с солдатом. Считаю, что наш долг воспитывать низшие классы в духе сближения с западными ценностями. А вы так не считаете?

Важный господин: Считаю ли я? Разумеется, да. ДА, ДА, и еще раз ДА. Нам следует охранять традиционные ценности. Нам нужно развивать западную цивилизацию, формируя единый союз против Монголии, союз духовных ценностей, естественно, союз, который бы защитил нас от желтой и красной опасности, которые так переплетены между собой.

Я, все с большим числом полосок на галстуке: Полностью согласен. Если вы позволите, я бы хотел даже сказать, что такой союз уже существует. Нет сомнения, что все западные нации защищают одни и те же ценности и имеют единую точку зрения по целому ряду принципиальных вопросов, таких, как личная свобода, вмешательство народа в политику своих правительств...

Важный господин: Вы полностью правы. Только слепые...

Фернанда: Ты еще не устал?

Я: Устал? От чего?

Фернанда: От глупостей, которые говоришь.

Я, вновь ставший мужчиной в галстуке в полоску: Глупостей? Но какие глупости я сказал?

Фернанда: А ты не знаешь?

Сеньора в голубом: Кто-нибудь здесь видел Годо?

Я, ставший мужчиной в галстуке в полоску: Я видел, сеньора. Он только что был здесь. Сказал, что идет в туалет, но вернется через пять минут.

Фернанда, обращаясь к сеньоре в голубом: Ради Бога, сеньора, не обращайте внимание на моего мужа. Он постоянно отпускает подобные шуточки и думает, что это очень забавно.

Сеньора в голубом, улыбаясь: Нет проблем. Я знаю таких людей. Они находятся на антиинтеллектуальном этапе развития. Это такой же этап, как любой другой. Бьюсь об заклад, что он такой же культурный человек, как любой из присутствующих.

Я, ставший мужчиной в галстуке в полоску: Да вы что, сеньора! Моя культура вмещается в кошелек. И только в этом смысле я могу сравнивать себя с присутствующими.

Фернанда: Ну вот, ты опять за свое...

Важный господин: Это очень остроумно. Ваша шутка о культуре, вмещающейся в кошелек, очень удачна... Мне сразу же вспоминаются некоторые господа, по отношению к которым эта формула справедлива, их культура определяется экономическими интересами.

Я, ставший мужчиной в галстуке в полоску: А кто вы?

Важный господин: Кто я?

Я, ставший мужчиной в галстуке в полоску: Да, чем вы занимаетесь, кто по профессии?

Важный господин, улыбаясь: Я отношусь к тем, кого принято называть независимым. Живу доходами с моей собственности. Таким образом, я не завишу ни от государства, ни от частных предприятий. Я могу позволить себе критиковать кого захочу, потому что ни от кого не завишу. Совсем недавно, за ужином, я спровоцировал настоящий скандал, подвергнув критике политические взгляды губернатора моей провинции. Как видите, я независим. Я не подчиняюсь политическим партиям.

Я, ставший мужчиной в галстуке в полоску: Вам можно только позавидовать. Я тоже хотел бы быть независимым.

Важный господин: Судя по тому, что я услышал от вас, вы уже независимы.

Я, ставший мужчиной в галстуке в полоску: Да... По мере невозможности...

Важный господин: Вы хотите сказать, по мере возможности...

Я, ставший мужчиной в галстуке в полоску: As you wish[1].

Важный господин: Хотел бы попросить вас не использовать иностранные слова. Считаю это вредным, бесполезным и, прежде всего, непатриотичным. Вы, как просвещенный человек, должны поддержать мою компанию за чистоту португальского языка.

Я, ставший мужчиной в галстуке в полоску: If you say so[2].

Беру Фернанду за руку, и мы отходим. Мне хочется немедленно уйти отсюда, но это будет нелегко. Фернанда пришла очень поздно и, возможно, захочет остаться еще. Обхожу гостиную с тем, чтобы никого не побеспокоить. Симойнш разговаривает с господином серьезной наружности, который, судя по его костюму и выражению лица, должен быть, по крайней мере, директором музея.

Я: Мой дорогой друг, к сожалению, я должен вас покинуть, но прежде хотел бы поблагодарить за приглашение. Я здесь замечательно провел время. Остается только пожалеть, что такие коктейли случаются не каждый день.

Симойнш: Приходите, когда хотите, даже без повода.

Мы пожимаем друг другу руки, и, пока Фернанда прощается, я отхожу. Уже около дверей Фернанда останавливает меня.

1. Как вам угодно (*англ.*).
2. Как скажете (*англ.*).

Фернанда: Твой эгоизм немыслим. Ты даже не спросил меня, что я предпочитаю: уйти или остаться. А может...

Я: Тебе ничто не мешает остаться. Если хочешь остаться, оставайся. И хотел бы предупредить тебя: к ужину не жди.

Фернанда: А где ты будешь ужинать?

Я: Еще не знаю. У меня встреча с друзьями.

Наш разговор был прерван важным господином, который уже распрощался и подошел к нам. Пока мы ждем пальто, Фернанда болтает с подругой. В лифт мы входим с важным господином.

Важный господин: Такие коктейли очень интересны: на них встречаются люди самых различных взглядов и социальных слоев. Всегда можно узнать что-нибудь новое. Я всегда считал, что нельзя изолировать себя от окружающего мира, что нужно общаться с себе подобными.

Голос важного господина доносится до меня откуда-то издалека, я даже не различаю слова. Зачем я сказал Фернанде, что у меня встреча с друзьями? Почему я не сказал ей правду, такую простую правду? Неужели так трудно быть более откровенным в нашей повседневной жизни?

Молчание уносит прочь все эти мысли. Важный господин замолчал. Как он, так и Фернанда ждут, что я что-нибудь скажу. Возможно даже, они меня о чем-то спросили. Беру одну изюмину из кармана и кладу ее в рот. Она большая, сочная и сладкая.

Я: Хотел бы я знать, который сейчас час?

Мне повезло, лифт остановился. Шофер в форменной одежде открывает дверь машины важного господина, и он спрашивает, не может ли быть нам полезным и подвезти нас.

— Мой друг, ради Бога. Мы живем в двух шагах отсюда. В любом случае, я никогда не воспользуюсь автомобилем.

— Почему же?

— Потому что автомобиль не португальское изобретение. Это все иностранщина. Лично я предпочитаю традиционные португальские виды транспорта: мулы, кареты, паланкины. Вы, как человек просвещенный, должны поддержать мою кампанию в защиту истинно португальских видов транспорта, за возврат к традициям наших предков. Вы не находите?

Субъект молча смотрит на меня. Затем, ничего не ответив, улыбается Фернанде, поворачивается ко мне спиной и садится в машину.

Не нужно было этого говорить. Судя по его внешности, он очень влиятельный господин. Темный смокинг, изысканные брюки, как у депутата; черный “кадиллак”, как у министра. Кто знает, он мог бы помочь мне с разводом? Что со мной

происходит? Растрачиваю мою жизнь на шуточки и потом, вместо того чтобы сожалеть о своей глупости, я сожалею только о том, что мои шуточки могут мне навредить...

Не теряю ли я себя во всем этом?

Что теряю? В чем этом?

Фернанда обращается ко мне:

— Ты не можешь на меня пожаловаться. Между прочим, я хотела остаться на коктейле без тебя...

— И почему же не осталась?

— Потому что я, по крайней мере, выполняю мой долг. Если бы ты ушел один, то создалось бы впечатление, что у нас плохие отношения.

— А это разве не так?

— Нужно соблюдать приличия.

— Что ж, будем соблюдать приличия.

— Не строй из себя жертву. Во-первых, я в большей степени жертва, чем ты, потому что у меня нет другого выхода, кроме как... ну в общем, потому что у меня нет другого выхода. Во-вторых, не забывай, что это я остаюсь дома, в то время как ты ходишь по своим друзьям...

— Фернанда, не будет ли честней взглянуть в глаза правде, вместо того чтобы соблюдать приличия? Честней и достойней?

— Нет. Ты хорошо знаешь мою точку зрения: я вышла за тебя замуж и, по законам моей веры, не расстанусь с тобой до смерти. Пока у меня остается надежда восстановить наш брак, я не отступлю. Пройдет время и ты увидишь, что я была права. В любом случае, ты не хуже меня знаешь, что по закону ты ничего сделать не можешь. Я тоже была у адвоката.

— И что он тебе сказал?

— Чтобы я не беспокоилась, потому что ты ничего сделать не можешь.

Беру изюмину из кармана и кладу ее в рот. Мимо проезжает такси. Я его останавливаю и открываю дверь.

— Не знаю, Фернанда, что тебе сказать. Не понимаю я тебя.

— И не надо ничего говорить. Да, кстати, не забывай, что сегодня рыбный день. Особенно во время ужина.

— Что, во время ужина! Рыбный день! Ты с ума сошла! Неужели ты так ничего и не поняла?

Такси трогается, и Фернанда прощается со мной через открытое заднее окно. Я ограничиваюсь кивком.

Спускаюсь по авениде Свободы. В этом есть насмешка и ирония. Почему ее не назвали как-то по-другому. Я, потративший полдня на то, чтобы слушать и говорить глупости, не

имеющий возможности развестись из-за закона, который приняли от моего имени, привязанный к прошлому, которое меня не интересует и не имеет ни малейшего отношения к моему настоящему, иду вниз по авениде Свободы!

Мне вдруг захотелось увидеть служанку, которую моя жена решила уволить, — взрослого человека, но остающегося во власти Фернанды, во власти ее идей и морали. Мне захотелось спуститься с ней по авениде Свободы. Я никогда толком не обращал на нее внимания. По-моему, ее зовут Мария. Однажды я видел ее на улице, болтающей с солдатом.

Авенида Свободы!

В этот час город необычен. Ночь еще не наступила, но день уже закончился. Готов поспорить, что эта временная граница как-то соотносится с нашей жизнью. Что-то символизирует. Будь я поэтом, я бы обязательно обнаружил взаимозависимость между этим временем суток и состоянием духа.

В чем же состоит это соотношение?

Со мной случаются вещи, которые я не могу объяснить. В этот момент я, то ли в силу этой временной черты, то ли из-за меня самого, то ли по причине выпитого у Симойншев, нахожусь на пороге открытия, которое может изменить мою жизнь. Все вокруг меня обрело невиданную четкость: дома, люди, автомобили. Город внезапно стал состоять из одних углов без прикрас. Кажется, что люди вышли из офисов, устав лгать, устав от ролей, которые они вынуждены играть годами, чтобы заработать на жизнь. Они молча проходят мимо меня, смотря себе под ноги либо читая вечернюю газету, надеясь найти какую-нибудь заграничную новость, которая заставит их забыть о пишущих машинках, документах в трех экземплярах и взглядах начальников.

Авенида Свободы!

Толпы людей поднимаются по ней. Проходят парочки под ручку, обрученные с 1935 года, пребывающие в постоянном поиске квартиры, которую они могут позволить себе снять за свою зарплату. Они еще не поженились, но брак им уже опостылел...

Другие спешат по авениде вниз на поезд, который увезет их в Синтру или Амадору[1]. И в этот же поезд они сядут на следующий день утром, чтобы поспеть вовремя на работу.

Нет сомнения, люди к этому времени уже устают. Они утомлены и рассеянны. Они начинают забывать свои роли, перестают притворяться тем, чем они хотели бы быть...

1. Пригороды Лиссабона.

Мимо проходит женщина средних лет в кожаном пиджаке, который, судя по всему, стоит немалых денег. Весь день она была женой богатого и могущественного промышленника, из тех, кто читает в газетах только заголовки и спускается по лестнице с приклеенной улыбкой, призванной произвести впечатление на соседей. Днем она встречалась с соседями, давая им понять, что узнает их, не различая, впрочем, по именам. Сейчас она рассеянна. Она забыла, что она самая важная сеньора в доме. Забыла, что один из банкиров предложил ее мужу войти в долю при строительстве нового дома где-то на берегах Ареейру. Она помнит только, что ей нечего делать сегодня вечером, и уже знает, что муж позвонит ей и скажет, что не придет ужинать... Она думает только о том, как ляжет спать одна, совершенно одна, когда закончит свои передачи последняя радиостанция и когда прекратят передавать опостылевшие фаду...

А вот тот господин забыл, что он генеральный директор, забыл, что ему нужно втягивать живот и выпячивать грудь. Забыл, что ему нужно слегка прищуривать глаза для того, чтобы дать понять окружающим, что он постоянно думает. Он забыл, что не может позволить себе быть беспечным и допустить, чтобы его подчиненные поняли, что он знает не больше, чем они.

У усталых людей нет защиты. Они как открытые книги.

Я чувствую себя на пороге важнейшего открытия. Я должен себя защитить от этих откровений. Еще немного — и я ударюсь в мистицизм и начну обращать свой взор к небесам, ожидая, что святой Иосиф посвятит меня в секреты и расскажет об интригах небесных дворов..

Останавливаю такси. Поеду ужинать в какой-нибудь бар, например в “Дон Кишоти”.

Достаю изюмину из кармана. Никуда не годится. Высохла и сморщилась. Неужели изюм тоже устает к концу дня, ему надоедает валяться в моем кармане, осознавая, что в конце концов я его съем?

Устраиваюсь у стойки бара и заказываю полпорции виски. Отвечаю на профессиональную улыбку бармена.

Рядом присаживается девушка. Она настойчиво смотрит на меня. Пытаюсь избежать ее взгляда, но у меня не получается. Я не хочу снова превращаться в мужчину в галстуке в полоску, по крайней мере, сегодня.

— Угостите меня?

— Угощу.

Девушка принимает мое согласие так, словно я выразил его непроизвольно и по собственной инициативе, и смотрит

на меня, как смотрят на книгу в витрине книжного магазина. Сейчас она собирается перелистать ее и проверить, соответствует ли содержание заголовку и оптимистичному рисунку художника.

Что она думает обо мне? Что у меня хорошо сшитый костюм и шелковая рубашка и что, следовательно, я смогу оплатить ей ужин?

— Вы кого-нибудь ждете?

— Все ждут кого-нибудь или что-нибудь.

Девушка отходит. Она подумала, что я жду ее коллегу и не захотела захватывать чужую территорию. Профессиональная этика.

— Над чем вы смеетесь?

— Над вами. Вы подумали, что я жду женщину.

— А вы не ждете?

— Нет. Я никого не жду.

— А почему вы сказали, что ждете?

Разговор становится идиотским. Проститутки по своей природе недоверчивы. Нет, неверно. Они недоверчивы не по своей природе, а в силу профессии.

— Я шутил с вами и с самим собой. Сегодня у меня не очень хорошее настроение, и поэтому я решил поизображать из себя философа, но философом я не являюсь, и вся моя философия ограничивается неостроумными шуточками.

Девушка смотрит на меня все еще с определенным подозрением. Вдруг она хватается за понятные и подходящие ей слова моего ответа.

— У вас такое плохое настроение?

— Не могу сказать, что уж совсем плохое. Во всяком случае, не хуже, чем было вчера, и не хуже, чем будет завтра.

— Это пройдет. Вот увидите, это пройдет. Можно, я закажу коктейль?

— Можно.

Бармен наполняет ей стакан и добавляет несколько кубиков льда.

Достаю еще одну ягоду. Девушка вопросительно смотрит на меня.

— А что у вас в кармане, жевательные таблетки?

— Нет.

— Тогда “Candies”?

— А это еще что?

— Вы не знаете? “Candies” — это американские фруктовые леденцы.

— Не знал... но это не “Candies”.

— А что вы тогда жуете?

— Лекарства. Таблетки от плохого настроения. “Candies” против серых будней.

— Вы здесь будете ужинать?

— Буду.

— Со мной?

Я не отвечаю. Заказываю еще полпорции виски.

Рядом с девушкой садится более зрелая женщина, десять лет и тысячу мужчин назад она не была лишена определенной свежести. У нее большие, черные и выразительные глаза с характерными темными кругами.

Завязывает со мной разговор.

— Как поживает Зе?

— Кто?

— Зе. Вы разве не друг Зе?

Это что, новый способ знакомиться?

— Я знаю многих Зе. О ком из них вы говорите?

— О Зе Педру. Он меня вам представил.

Внезапно я вспомнил. Зе Педру — землевладелец из Рибатежу[1], с которым я иногда ужинаю. Вспомнил я и эту женщину. Однажды она ужинала с нами в доме фаду в Байрру Алту[2].

— Вы правы, я вспомнил. Давно вас не видел.

— Я с ним рассталась.

— Не знал.

— Это так. Бросила его ради одного министра.

— Министра?

— Да, министра.

Первая девушка пояснила мне, что речь идет о министре, но не нашего правительства, а одной из южноамериканских республик.

— Вы угостите виски мою подругу?

Любовница министра ее не поддерживает.

— Благодарю вас за предложение, но принять его не могу. Вы же понимаете, министру это не понравится. Такие вещи не пристали дипломату. Если бы со мной был обычный человек, все бы было по-другому...

Она поворачивается и заказывает порцию виски с ginger ale.

Я поднимаюсь и пересаживаюсь за отдельный столик. Девушка идет со мной.

— У вас найдется эскудо для музыкального автомата?

1. Провинция на юге Португалии.
2. Старый район Лиссабона.

Протягиваю ей монету. Вскоре до меня доносятся металлические звуки музыкального автомата. Против моих ожиданий выбранная мелодия оказалась не самбой. Эта была одна из испанских песен, похожих как две капли воды на все другие испанские песни.

Я не часто бываю в кабаре и барах. Но и редких визитов мне хватило, чтобы узнать и понять обстановку в этих заведениях и предпочтения посетителей.

В кабаре всегда есть...

— Как вам понравилась песня? Она называется “Cielito Lindo”[1].

— Неплохо.

— Неплохо. Да она восхитительна.

Девушка напротив меня поворачивается в пол-оборота, сопровождая движение жестом танцовщицы, щелкающей кастаньетами.

— Вам нравится Испания?

Такой вопрос не требует ответа. Девушка, продолжая танцевать, удаляется от меня и приближается к стойке. Затем она садится рядом со своей подругой и возобновляет разговор.

У скольких людей проблемы, подобные моим? А во Франции развод возможен? Конечно, нет. Если бы португальцы могли разводиться во Франции, никаких пропускных пунктов на границе не хватило бы. Если бы такая возможность существовала, то я бы о ней знал.

Бог каждому создает свои проблемы.

Я опять несправедлив. Черта с два, Бог не имеет к этому никакого отношения. Нет никакого сомнения, что Бог, существуй он на самом деле, не связал бы нас по рукам и ногам и оставил бы нам свободу выбора. Это люди позднее лишили себя свободы, полученной от Бога. Но какие люди? Я? Не мне одному об этом судить. Есть вопросы, которые мне неудобно задавать самому себе. Конечно, моей вины в этом нет, но, тем не менее, я чувствую определенную ответственность за то, что происходит вокруг меня. Да, ответственность. В самом деле?

Заказываю еще порцию виски.

Я далек от самоуничижения, но мне не хватает тщеславия и высокомерия, чтобы говорить от имени Бога и призывать кесаря вторгаться в те сферы, которые принадлежат Богу,

1. “Красивое небо” (*исп.*).

Богу Богово, а кесарю кесарево, или Богу и Богово, и кесарево? Фраза предполагает различные варианты.

Выпиваю виски и закусываю изюмом.

Кесарю Богово и кесарево. Богу Богово. Богу Богово, даже если для этого понадобятся розги Кесаря. В последней фразе что-то есть. Она превращает Бога в разновидность святого архангела Михаила, который самоутверждается за счет розог. Однако Бог — это не святой Михаил.

Нет никакого сомнения, что я становлюсь занудой. Все эти рассуждения, по сути своей, малоинтересны и бесполезны. Не думаю, что Бог мне поможет. А что я знаю о Боге? Столько же, сколько Папа. Уже что-то, но явно недостаточно.

Уму непостижимо! Спорю с самим собой. Да еще в баре. Люди честнее меня. Они говорят о Боге в газетах, дома, в церквях, но, перед тем как войти в бар, оставляют его за порогом, в машине в компании с водителем. В барах же они обсуждают женщин, футбол и то, что они называют политикой, но не говорят о Боге. Возможно, они не более откровенны, чем я, но, во всяком случае, более последовательны и не такие зануды. Они очень хорошо знают, для чего нужен Бог. А я, не имея отношений с религией, говорю о Боге с самим собой...

И конечно, есть определенные вещи, которых добропорядочные люди не делают: не знакомят жен с любовницами, не рассказывают настоятелю анекдоты, которые рассказывают друзьям, не приглашают разведенные пары на ужин, не думают о грустном и, главное, отводят Богу строго определенную территорию, примерно как в Южной Африке содержат львов в парке Крюгера... За его пределы они не выходят.

Почему мне не быть таким же? Почему бы мне не быть добропорядочным человеком?

За столиком рядом со мной устраиваются две смуглые девушки. Они болтают и курят американские сигареты. Одна из них встает и опускает монету в музыкальный автомат. Вновь слышится мелодия “Cielito Lindo”. Нет никакого сомнения, что испанские песни, фаду, бой быков и “Макарена” самым тесным образом связаны с проституцией. Меня опять преследует ощущение, что в этом есть своя логика, что это может быть только так и никак по-другому. Сегодня я вновь чувствую, что нахожусь на пороге большого открытия. Похоже, мне удалось найти ответ на все вопросы.

Заказываю еще одну порцию виски и прислушиваюсь к разговору двух девушек за соседним столиком. Они говорят о покупках.

— В магазине “Рей даш Мейяш” продаются красивые и недорогие ночные рубашки.

— Возможно, они недорогие для тебя, но я сейчас не могу позволить себе никаких расходов. Вот уже две недели у меня не было ни одного по пятьсот...

— А я? Думаешь, лучше? Если я до субботы не найду себе "африканца"[1], мне нечем будет платить за квартиру...

— Не верь этим россказням про "африканцев". Как-то у меня был один из Луанды. И знаешь, сколько он заплатил? Я потеряла с ним целую ночь, а он дал мне только сто эскудо. Не могу понять, что эти мужики себе думают? Как можно прожить на такие деньги?!

— А я-то думала уехать в Африку.

— Я тоже думала, но боюсь, это будет нелегко. Обойдется недешево и, возможно, когда мы туда приедем, нас попросят обратно...

— Да ты что! Нас там очень ждут. Ты пойми, если бы отсюда в Африку не уезжали женщины, им пришлось бы обращаться к услугам негритянок, а потом, понимаешь, к чему это приведет... от мулатов будет некуда деваться. Это порождает и политические проблемы. Ты помнишь Амелию? У нее есть все, что душа пожелает: квартира, машина, ну все такое... Я уверена, подруга, что будущее за Африкой. Но мы отвлеклись...

— Я никогда не думала о проблеме мулатов. Если хорошенько подумать... Если бы туда не уезжали белые девушки, то было бы полное бесстыдство!

Одна из девушек поворачивается ко мне и понимает, что я слушаю их разговор... Улыбаюсь. Беру свой бокал с виски и пытаюсь притвориться, что я тут ни при чем, но не получается. Знакомство неизбежно.

— Мы говорим об Африке...

— Об Африке? Очень интересно.

— Мы хотели бы поехать туда. Говорят, будущее за Африкой. Вы тоже так думаете?

— Ну, не знаю, но нет сомнения, что если и есть будущее, то где-то оно должно быть.

— Так значит, будущего может и не быть?

— Не знаю. Будущее моего отца — это мое настоящее, и, таким образом, если все будет продолжаться, как сейчас, я не вижу будущего моего сына.

— А у вас есть дети? У меня есть дочка, ей четыре года. Хотите посмотреть ее фото?

Не дожидаясь ответа, она достает из бумажника фотографию и протягивает ее мне. Снимок сделан на пляже. Девочка

1. "Африканец" — богатый выходец из колоний.

с волосами, завитыми в кудряшки, улыбается в объектив. На переднем плане видна тень человека с фотоаппаратом. У него поднята рука. По-видимому, рукой он пытается привлечь внимание ребенка.

— Она похожа на меня?

— Вне всякого сомнения. А вы возьмете девочку с собой в Африку?

— Я еще не уверена, что поеду. Пока это только планы. Естественно, если поеду, то дочку возьму с собой. Будущее там. Мое и ее. А у вас есть дети?

— Нет.

— Но вы женаты?

— Да.

— Тогда у вас должны быть дети. У меня, если бы я была замужем, было бы не меньше двух.

— Вы так любите детей?

— Да.

Толком не понимаю, продолжать ли мне разговор. Нужно ли? Бар уже заполнился. Я даже не заметил, как это произошло. В углу три подростка играют в кости. Слышится "дерьмо" через каждые два слова. Демонстрируют окружающим свою зрелость. У стойки продавец магазина пластинок обсуждает с девушкой с желтыми волосами последние музыкальные новости.

В другом углу, около музыкального автомата, сидит девушка с прической невиданных размеров, смахивающей на огромный пудинг, приготовленный поваром французской привокзальной провинциальной гостиницы. Сверху прическа выкрашена в ярко-желтый цвет, что придает ей совсем уж гротескные очертания.

Все мужчины одеты в серые пиджаки pied de poule[1], либо в пиджаки "Принц Уэльский"[2], тоже серые. В бар входит парень, также одетый в пиджак pied de poule. Перебросившись парой нежных слов со всеми девушками в баре, он садится за столик и заказывает кофе.

Равнодушно заказываю ужин. Мне все равно, ужинать или не ужинать, но без ужина обойтись я не могу. Приемы пищи определяют весь день. Они разделяют день на утро, день и вечер.

Я уже заканчиваю делать заказ, когда в бар входит доктор Мартинш, из Коимбры. Я давно его знаю. Он член совета ди-

1. Клетчатые (*франц.*).
2. Пиджак "Принц Уэльский" — приталенный костюмный пиджак в клетку из смесовой ткани с большим содержанием шерсти.

ректоров двух или трех предприятий средней руки. Через свою жену он владеет пакетами акций этих компаний.

Знай я, что встречу его здесь, пошел бы ужинать в другое место.

От него не укрыться. Он ринулся ко мне, как голодный лев на кусок мяса.

— Вы здесь, мой друг? Я вас за это не осуждаю. Как видите, я тоже здесь. После рабочего дня неплохо провести часок в баре.

— Это не мой случай. Я хожу в бары, чтобы выпить, и, некоторым образом, сегодня у меня отпуск.

— Могу присесть за ваш столик?

— Пожалуйста.

— Я жду моего мальчика. Он должен подойти с минуты на минуту. Мы поужинаем с вами, если позволите.

— Разумеется.

Мартинш садится напротив меня на стул, рассчитанный на половину его веса.

— Итак, Делгаду[1] уехал в Бразилию.

— Это так.

— И что вы на это скажете?

Ну и хитрец. Сначала хочет узнать мое мнение...

— А что вы хотите услышать от меня?

— Да правду. Это такая редкость.

На минуту он замирает, созерцая потолок. Затем, пожав плечами, отбрасывает в сторону все, что относится к политике, в которой он не разбирается. Заказывает у официанта виски.

— Нам, людям старой закалки, трудно это понять. Опасность исходит от молодежи, которая не помнит и не может вспомнить то, что происходило в этой стране...

— Ну да.

— Так знайте, что я пришел сюда именно по этой причине. Мой мальчик закончил университет, он интересуется политикой. Что до меня, я сделаю все от меня зависящее, чтобы он забыл об этих бреднях.

— Бреднях?

— Да, мой друг. Бедные и богатые, довольные и возмущенные будут всегда. Мне бы хотелось, чтобы он не шел на поводу у своих сомнительных приятелей и вошел в мой круг. Все эти сомнительные приятели...

— А что из себя представляет ваш сын?

1. Умберту да Силва Делгаду (1906—1965) — генерал ВВС Португалии, один из лидеров оппозиции режиму А. Салазара. Был убит агентами португальской спецслужбы ПИДЕ.

— А что он может из себя представлять в этом возрасте? А кем был я, когда закончил университет? Социалистом, демократом... ну не знаю... всем тем, кем бывают люди в двадцать лет...

— А когда вы перестали быть демократом?

— Когда я?.. Что за вопрос? Впрочем, должен заверить вас, я никогда не переставал быть демократом, в принципе. Ну, вы меня понимаете. Но я считаю, что мы еще не готовы к демократии. Если бы мы жили в Англии, тогда было бы другое дело, но мы в Португалии. Когда-то все это станет возможным, но пока еще рано. С другой стороны, молю Бога, чтобы это случилось не при моей жизни... Идея обходиться без слуг меня не соблазняет. Вы можете представить вашу жену, вынужденную каждый день ходить на рынок или мыть посуду после ужина? Если это прогресс, во всяком случае так говорят, то мне такой прогресс не нужен. Значит, прогресс состоит в том, чтобы отнять у меня то, чего я добивался многие годы? Если бы этой публике пришлось поработать столько, сколько пришлось мне, может, они меньше болтали бы о прогрессе...

— А болтают?

— Мой друг, в каком мире вы живете?

— В этом.

— Непохоже. Поймите меня, я никого не защищаю и ни на кого не нападаю.

— Понимаю, я все понимаю.

Официант приносит суп. Мне повезло — суп не из пакетика. Медленно приступаю к ужину. Мартинш продолжает.

— Поверьте, я никого не защищаю и ни на кого не нападаю. Я готов принять любой режим, лишь бы мне позволили работать.

— Может быть, сменим тему?

— Мой друг, мне кажется, что мои слова вас обидели. Поверьте...

— Уверяю вас, вы меня не обидели. Я предложил сменить тему разговора, потому что он ни к чему не приведет. С другой стороны, я не политик в обычном смысле этого слова.

— Только не говорите мне, что у этого слова есть другое значение.

— Я просто хочу сказать, что я еще не политик и не достаточно информирован в некоторых областях, да и вообще будет лучше сменить тему.

Мы оба замолчали. Я доедаю суп. А Мартинш смотрит на меня, не говоря ни слова. Решаю возобновить разговор.

— Если бы мы участвовали в театральной пьесе, то сейчас самое время появиться новому лицу, которое сможет разрядить ситуацию. Самое время появиться вашему сыну.

— Вы не могли бы сделать мне одолжение?

— Разумеется.

— Я уже сказал вам, что пришел сюда из-за моего мальчика. Мне хотелось бы, чтобы он прекратил умничать и увлекаться идеями социальной реорганизации. Наконец я хочу, чтобы он повзрослел. Я думал послать его в Лондон, но боюсь, что это только усложнит ситуацию. Я решил попробовать его отвлечь и найти ему красивую любовницу. Уверен, он сразу изменится. Ему понравится катать любовницу в открытой машине и оплачивать ей квартиру... Если у меня это получится, он наверняка забудет о своих бреднях. И я хотел бы попросить вас помочь мне в этом деле. Я хотел бы, чтоб к нашей компании присоединилась красивая девушка, но я отец, вы же понимаете... Вы не будете против, если я приглашу девушку за наш столик?

— Конечно нет. Мне то какое дело?

— А вы не будете против, если я скажу моему сыну, что она пришла с вами? Естественно, не могу же я сказать, что она пришла со мной...

— Это уже немного другое. Можете говорить, что хотите, главное, чтобы он не подумал, что у меня любовница. Скажите ему, что она одна из посетительниц этого ресторана.

— Очень вам благодарен. Пойду приглашу одну из этих девушек.

— Послушайте, Мартинш. Вы уверены, что эти девушки подходят для вашей цели? Я не имею и не хочу иметь никакого отношения к этому, но не думаю, что эти девушки — самый удачный выбор.

— А где, вы считаете, я могу найти девушку за пять минут?

— Поступайте, как считаете нужным.

Официант принес поднос с мерланом, и Мартинш направляется к двум блондинкам, которые собираются в Африку. Одна из них берет свою сумочку, одергивает пиджак и идет за Мартиншем. Садится за мой столик. Прошу официанта принести меню.

Идет подготовка сценария, предназначенного заставить юношу отказаться от иллюзий в пользу реальности.

Все это меня забавляет, но, тем не менее, я знаю, что смеяться мне нельзя. Что это за борьба, которую я ежедневно веду с самим собой? Если б я хотя бы знал, что за силы во мне борются...

Блондинка, которая присоединилась к нам, привлекательней, чем другая. Это та, у которой дочь.

— Я подумала, что не понравилась вам... После нашего разговора вы больше не сказали нам ни слова.

— Дело совсем не в этом. И не во мне. Сюда должен подойти один парень, хотелось бы его развлечь, и думаю, что вам это лучше удастся, чем мне.

— Можно у вас попросить один эскудо для музыкального автомата?

— Разумеется. Скажите официанту, какую пластинку предпочитаете, и он включит автомат.

— Хотелось бы чего-нибудь получше. Может быть "Cielito Lindo". Вам нравится эта мелодия?

— Мне совершенно все равно. Если хотите эту пластинку, то попросите официанта включить автомат.

В это время в бар входит сын Мартинша. Ничего примечательного в нем нет. Он подходит к нашему столику и обращается к отцу. Мартинш представляет сына мне. Мы пожимаем друг другу руки, и он садится справа от меня. Мартинш начинает говорить преувеличенно громко.

— Итак, сынок, чем ты сегодня занимался? Ты заставил себя ждать целых полчаса. Я уже подумал, что ты не придешь.

— Я был занят.

— Охотно верю, охотно верю. А чем ты был занят? Ну, если не хочешь, то не говори. Понимаю, я уже старик, а старики ничего не знают и с ними даже не стоит разговаривать... А уж вы-то знаете все... И в мое время было так же. Только спустя годы я понял, что мой отец был прав. Если не хочешь, не говори, чем ты занимался. Вот с нами эта сеньора.

Юноша поворачивается к девушке и протягивает ей руку.

— Ну, сынок, скажи, чем ты сегодня занимался? Встречался со своими единомышленниками?

— Отец, ты же хорошо знаешь, что у меня нет никаких единомышленников. Я был в кино.

— И что же ты смотрел? Один из тех фильмов, которые никто не понимает?

— Я был в "Святом Луише".

— Да... там всегда достойное кино.

Мне захотелось что-нибудь сказать, чтобы ему помочь, только не знаю что. Передаю ему меню. Но Мартинш берет у него меню и начинает громко его зачитывать.

Я не знаком с сыном Мартинша и не хочу с ним знакомиться, но папаша меня бесит. Мне хочется уйти отсюда. Все это очень грустно и сильно смахивает на то, что происходит со мной. Стоп! С чего это я вдруг подумал о моих личных заботах? Их нельзя передать другому, как нельзя передать билеты на самолет. Я, как поэт, зациклился на своих печалях. Очень опасно считать печаль своим личным достоянием, о котором можно говорить только с уважением и нежностью.

Надо бы поосторожней, а то я пропал. Так и останусь, погруженный в стишки о моих тараканах и попытки навязать их окружающим, как нечто очень значительное. Будь что будет, но мне нужно приводить себя в порядок. Мне нужно забыть о себе самом. Даже в этот тяжелый для меня период. Мне нужно посмотреть на себя со стороны. Я не могу признать, что у меня кризис, и не потому, что его нет, а потому, что признать свой внутренний кризис означает проникнуться симпатией к этому кризису. Если не поостерегусь, то начну рассказывать окружающим о моем кризисе и моей боли. Затем начну писать стишки, либо замкнусь в себе, либо начну рассказывать о себе. От признания кризисов до любви к ним один шаг. Кризисы вылечиваются, как простуда либо воспаление легких. Кризисы, на которые люди не обращают внимания, превращаются в романтические настроения, которые заканчиваются мелкими мятежами, а романтические мятежи — враги всяческих революций. Да, надо бы поосторожней.

До меня доносится голос блондинки.

...в кино я хожу каждый день. Не пропускаю ни одной премьеры. Мне случалось не ходить в кино просто потому, что я уже посмотрела все фильмы... Я покупаю все журналы о кино. Кино — это моя страсть. Если я не иду в кино, то день для меня потерян.

Доктор Мартинш делает попытку вовлечь сына в разговор.

— Мой сын тоже очень любит кино. Это одно из его увлечений. Не так ли, сынок?

Я начинаю его жалеть. Сын улыбнулся, но не проронил ни слова. Вступаю в разговор, чтобы помочь делу.

— А я терпеть не могу кино. Я иду в кинотеатр, когда совсем уж нечего де́лать, и всегда жалею потом.

— Жалеете? Вы меня извините, но я не могу этого понять. Фильмы такие разные. Их сюжеты такие разнообразные и невозможно, чтобы вам не понравились хотя бы некоторые из них.

Мне не удалось разговорить молодого человека. Вижу, что беседу будут вести только доктор Мартинш и девушка.

Официант приносит кофе мне и суп остальным.

Мартинш приступает к супу и просит принести карту вин. Поворачивается ко мне:

— А вы закончили университет?

— Нет. Год недоучился.

— Мой друг, это глупо. Извините, что я так говорю, но это глупо. Только один год... Но ответьте мне на один вопрос: как ваша фабрика?

— Мне не на что жаловаться.

— Наконец-то я слышу позитивный ответ. Сейчас стало модным жаловаться. И у всех есть на что жаловаться. Это просто болезнь какая-то! Когда я был молодым, у нас не было ничего из того, что есть сейчас: автомобили, телевидение, кино. Футбол, ну что еще там... А об уровне жизни и не говорю. У кого во времена моей молодости были деньги, чтобы ходить в бары, чтобы путешествовать, или, окончив университет, годик отдохнуть? В первый раз я попробовал виски уже когда был женат... Сейчас все, кому не лень, хлещут виски, как воду, и постоянно жалуются на жизнь... Мы живем в эпоху комплексов. Юноши не учатся, потому что у них комплексы, женщины наставляют рога своим мужьям, потому что у них комплексы, другие подставляют свои задницы, потому что у них комплексы...

Мартинш разволновался. К счастью, блондинка прерывает его.

— Сеньор, не забывайте, здесь дамы...

— Дамы? А какое они имеют отношение к тому, что я говорю? Что они подставляют свои задницы? А что, разве не подставляют? Скажите мне, не подставляют?

Мне все это начинает надоедать. Прошу счет. Официант пересекает зал и вполголоса обсуждает счет с барменом.

В бар входит маркиз из Риу, маленький, толстый, с красным лицом. Он богат, и его богатство получено не без участия Церкви. Говорят, что только его недвижимость стоит около 40 тысяч конту[1]. Я хорошо его знаю. Бывал у него дома. Титул его семья получила недавно, в результате либеральных войн. Но по его дому этого не скажешь. Во всем доме всего одна книга, Морраса[2], на столе в холле. Эту книгу ему подарили, потому что он даже не знал, что происходит на картинах, украшающих его стены. Всякий раз, когда я прихожу к нему в гости, маркиз, отец которого был членом того же клуба, что и мой отец, заставляет меня ждать его несколько минут. Потом он появляется, улыбаясь, на верхних ступенях лестницы.

И в один из моих визитов я обнаружил хорошо переплетенный и так и не открытый томик Морраса. Эти новоиспеченные дворяне, получившие свои титулы в период либеральных войн, — большие любители Морраса. В нем есть своя привлекательность. Привлекательность и ум.

1. 1 конту — одна тысяча эскудо.
2. Шарль-Мари-Фотиус Моррас (1868–1952) — французский публицист, критик, поэт.

Увидев меня, маркиз направился в мою сторону с протянутой для приветствия рукой.

Он садится рядом со мной. Представляю ему Мартинша и его сына. Девушку не представляю, потому что в этом нет необходимости. Они знакомы. Улыбаются друг другу как старые знакомые.

— Я так давно вас не видел... Чем занимались? Мануэл, принеси мне виски с водой Лузу. "Old Rarity", если ты помнишь. А вы, мой друг, давно вас не видел. Что поделывали?

— Как обычно.

— А Роза, ваша жена?

— Фернанда.

— Ну конечно, Фернанда. Я хотел сказать Фернанда, а сказал Роза. Это удивительно. Со мной такое часто случается. А с вами нет? Выпьете со мной виски?

Я киваю. Я знаю многих, кто путается в именах младших друзей. Это один из трюков профессиональных аристократов. К маркизу это не относится, он ничего не помнит, ни имен друзей, ни имен врагов.

— Я сейчас обкатываю новую машину, которую купил вчера. Она восхитительна.

— А что за машина?

— "Мерседес 300 XL". Вы представить себе не можете, какой у нее ход... Управлять совсем нелегко. Она ускользает от меня, а я ведь классный водитель. Мало кто водит лучше меня, но мне трудно удерживать ее. В ней есть порода. Вы уже видели ее? Впечатляющая порода.

— А сколько стоит такая машина?

— Дорогая, очень дорогая. Но, думаю, иногда надо побаловать себя... Жизнь — это не только работа, старина. А зачем еще нужны деньги? Кроме того, вот о чем еще нужно подумать. Я не раз говорил, что у нас есть особые обязанности, даже очень особые. Вы так не считаете? Я хочу сказать, что мы должны дать заработать другим и помогать художникам, ведь эта машина — настоящее произведение искусства. Сейчас уже нет таких состояний, как раньше, в Средние века. Тогда знать могла содержать художников и скульпторов... Были такие удивительные семьи... ну, как их... вы знаете, которые содержали многих художников и другие дарования... Сейчас это невозможно, и очень жаль. Загляните в большие музеи, такие как тот, в Мадриде, и вам сразу станет ясно, как эти люди помогали в свое время людям искусства. Сейчас такое невозможно, но в рамках того, что возможно... В любом случае, мой "мерседес" — это настоящее произведение искусства. Разгоняется до 230 в час, по спидометру... Повторяю, с тру-

дом с ним справляюсь. Мануэл, еще один виски. Такой же, хорошо?

Доктор Мартинш выслушал эту тираду, не сводя глаз с маркиза. Я почти слышу его мысли. Он вступает в разговор.

– Извините за вопрос, Ваше превосходительство, но вы разбудили мое любопытство. Какой у нее расход бензина?

– Расход?

– Да, сколько она потребляет?

– Не очень много. Естественно, это зависит от водителя. В моих руках, думаю, около 15 литров. Это неточно, ведь я купил ее только вчера, и у меня еще не было времени на расчеты.

– Это, должно быть, замечательная машина. Я, если бы мог, купил бы такую же.

– Эта машина не для всех. Эта машина для тех, кто понимает, по-другому и быть не может. Это просто настоящее чудо.

– Хотел бы на нее посмотреть. Ваше превосходительство, вы приехали на ней?

– Она здесь – на площади. Мне будет очень приятно показать ее вам. После ужина мы посмотрим на нее. А вы любите машины?

– Я люблю все хорошего качества.

– Вот и мне тоже. Мне нравится все хорошего качества: картины, машины, вина... ну все, что хорошего качества.

– У вас, должно быть, хорошие картины.

– Да, есть несколько. Не могу сказать, что много, но все, что у меня есть, хорошего качества. Вы любите живопись?

– Да, если хорошего качества.

– Как и я. Недавно в Лувре я увидел картину, похожую на ту, что у меня дома, и я уверен, они принадлежат кисти одного художника. Моя не подписана, но это меня не обманет. У меня особое чувство на все, что хорошего качества. И поэтому я хожу в музеи. Лувр хорош. Ходить в него очень поучительно. Вы были в Лувре?

– Да, был, летом 54-го.

– Я часто там бываю. Всякий раз, когда бываю в Мадриде, хожу туда.

– В Мадриде?

– Ну да. Но если вы любите живопись, вы должны посмотреть мои картины. Уверяю вас, это скромная коллекция. Ничего особенного, но очень достойно.

– Мне будет очень приятно посетить ваш дом и, если вы позволите, я возьму с собой моего сына. Он очень любит искусство. Это у нас семейное... И моей жене тоже все это очень нравится.

— Надо будет договориться. Мануэл, еще один виски.

— И когда?

— Что?

— Когда мы сможем посетить вас?

— На днях. У вас есть с собой визитки? Дайте мне вашу визитку, я позвоню вам на днях.

— Если бы можно было наметить конкретный день...

— Сейчас это невозможно, я занят обкаткой моего "мерседеса" и никогда не знаю, когда буду дома. Завтра я еду в Порту. Проведу там ночь и приеду обратно послезавтра.

Мартинш вынимает из кармана бумажник и, достав из него визитку, передает ее маркизу.

— Я вам очень благодарен. Уверяю вас, мне будет очень приятно посмотреть вашу коллекцию, господин маркиз. Очень приятно.

— Если вы уже закончили ужин, мы можем пойти посмотреть "мерседес".

— К вашим услугам, господин маркиз.

Мы встаем и выходим. Машина маркиза припаркована на площади. Мартинш жадно выслушивает все технические пояснения маркиза. Задает вопросы о фарах, багажнике и двигателе. Садится в машину, выходит, потом опять садится, испытывая сиденья.

— Позвольте вам сказать, господин маркиз, я вам завидую. Вот это да! Это машина!.. Хотел бы я иметь такую же, но уверен, что не смог бы ее водить. Это дано далеко не каждому.

Сын Мартинша не задает вопросов. Он стоит в некотором отдалении и наблюдает со смесью внимания и презрения за жестами отца. Кроме презрения я вижу в его глазах нежность. Ту нежность, которую дети испытывают к своим родителям и которая сохраняется, несмотря на все разочарования.

Бедняга Мартинш! Сын читает его, как открытую книгу...

Маркиз садится в машину и поворачивается ко мне:

— Вы не могли бы заплатить за меня? Мне пора ехать в Кашкайш.

— Господин маркиз, не обижайте меня... Это я вас пригласил. Когда я буду у вас в гостях, с удовольствием отведаю ваш виски, но здесь плачу я. Забудьте об этом.

Мы возвращаемся в бар, не проронив ни слова. Прошу принести счет. На столе, рядом с бокалами, лежит визитка, которую Мартинш вручил маркизу.

Какое-то время никто не говорит ни слова. Мартинш встал за спинкой стула. Он глубоко дышит. У него вид человека, который заключил выгодную сделку либо реализовал

свою давнюю амбицию. Его взгляд скользит по бару, изучает сына, девушку, падает на стол. Он видит визитку, забытую маркизом. Он смотрит на меня и, заметив, что я тоже увидел визитку, говорит, не скрывая раздражения:

— Графы, маркизы, герцоги... Никогда не понимал, зачем нужны все эти ничтожества. Выпендриваются, а даже читать толком не умеют. Им нужно устроить хорошую чистку... Революцию, которая бы покончила со всеми этими бездарями.

А за окном стоит прекрасная ночь.

Я поднимаюсь по улице и направляюсь к дому. Мимо меня проходит рабочий, напевающий фаду.

Наступила ночь, мой брат ветер...

Опускаю руку в карман, тщетно пытаясь нащупать очередную изюмину. Но они закончились.

Я встаю каждый день в восемь часов, светит ли солнце, идет ли дождь.

Это — одна из неизменных вещей в моей жизни.

Я вскакиваю с постели и ногой пытаюсь найти тапочек, который должен быть где-то рядом с ночным столиком. Я начинаю свой день в ванной, перед зеркалом. Я бреюсь.

Стук в дверь.

Это Фернанда.

— Входи.

— Ты знаешь, какой сегодня день.

— Суббота.

— Сегодня годовщина нашей свадьбы.

Не знаю, что ей сказать. Нет сомнений, что это одна из тех дат, которые относятся к "праздничным". Фернанда наверняка захочет отметить событие.

— Должен тебе признаться, что я об этом не думал. А что хочешь ты?

— После обеда меня не будет дома, но вечером я жду тебя к ужину. Придут мои родители и еще два или три человека. Ты придешь?

— Если это доставит тебе удовольствие.

— Итак, постарайся прийти к восьми часам.

Я выхожу из дома и спускаюсь вниз по улице, к конторе. Сегодня нужно посетить банк. Хотя я в отпуске, мне не хочется пропускать этот визит. Я выпиваю чашечку кофе в кафе "Центральном" в Байше и иду на улицу Оуру. Я должен купить подарок Фернанде. Она считает, что нужно соблюдать приличия. Если на ужин придет моя теща, то подарок нужно ку-

пить обязательно. Если подарка не будет, то теща отзовет тестя в угол, и они начнут перешептываться, поглядывая на меня. Я уже вижу ее: седые волосы, которые еще в прошлом году были русыми, огромные обвислые груди, прихваченные бюстгальтером, изготовленным, по-видимому, местным слесарем. Вижу, как она осуждающе смотрит на меня, слышу ее холодный тон.

Да пропади она пропадом!

Останавливаюсь перед ювелирным магазином. Интересно, а у Фернанды есть часы? Наверняка, раз ей удается досаждать мне в ванной всегда в одно и то же время. Может, купить ей золотой браслет? Или брошь с жемчужной ниткой? Сколько это будет стоить? Может быть, купить ей шелковый платок или ночную рубашку? Подарок получится очень интимным.

Вхожу в магазин и направляюсь к прилавку. Молодая и свежая продавщица спрашивает, что мне нужно.

– Мне нужно купить подарок жене, но я не знаю какой. Вы не могли бы мне помочь?

– Конечно. Это моя работа.

Она и Бог. Оба здесь, чтобы помочь мне.

– Вы представляете себе, чего бы хотела ваша жена?

– Не представляю.

– Сколько лет вашей жене?

Она, должно быть, влюблена или помолвлена и, видя меня, в моем возрасте, покупающего подарок жене, растрогалась. Мое поведение подтвердило все ее мечты о "любви до смерти". Вижу по выражению ее лица, что она искренне хочет помочь, и уже догадываюсь, что вечером, когда магазин закроется, она, прижавшись к плечу жениха, расскажет ему о моем визите: "Сегодня в нашем магазине был такой забавный сеньор, ты не представляешь... средних лет... искал подарок своей жене... не знал, что купить... он был в таком замешательстве... и я подумала о нас... однажды, спустя много лет, ты тоже захочешь купить мне подарок и тоже не будешь знать что..."

Это взбесило меня. Зачем давать этой девушке пищу для иллюзий?

– Я не помню точно возраст моей жены, да и не хочу его знать. Я покупаю этот подарок, потому что сегодня годовщина нашей свадьбы, и, если я ничего жене не подарю, моя теща весь вечер будет мотать нам нервы. Она будет считать меня подлецом, который не заслуживает любви ее дочери или, что гораздо хуже, возомнит, что дочь не смогла выполнить священную миссию жены и матери... Понимаете? Я хочу ку-

пить подарок только в силу этих причин, потому что не выношу свою жену или, если вы хотите знать всю правду, то я даже этого не могу сказать. Понимаете меня?

Девушка смотрит на меня широко раскрытыми глазами. Ее руки непроизвольно укладывают товары, лежащие на прилавке.

— Вы совершенно не должны говорить мне все это... Я не имею к этому никакого отношения. Подождите минуту, я позову коллегу...

Я улыбаюсь, и вдруг девушка начинает смеяться.

— Я в какой-то момент подумала, что вы серьезно... Вы говорите таким тоном, что я даже поверила. И если бы вы не рассмеялись, то я никогда бы не поняла, что вы шутите. Ну ладно. Давайте займемся тем, за чем вы пришли. Мы получили красивые итальянские платки... Минутку... А что вы скажете о хороших духах?

— Возможно, это неплохая идея.

— Вы знаете, какие духи предпочитает ваша жена?

— Честно говоря, нет.

— Если бы я была знакома с ней, хоть немножко... Вам нравится "Femme"?

— Если бы не нравились, я бы не женился.

— Ну вот, вы опять шутите. "Femme" — это очень хорошие и очень дорогие духи.

— Дайте мне флакон.

— Сколько вы предполагаете потратить?

— Как можно меньше.

— Флакон "Femme", разумных размеров, стоит около тысячи эскудо. Подходит?

— Да.

Зачем я все это ей сказал? Разве я имею право навязывать другим мой жизненный опыт? Каждый волен сам добиваться чего-то в жизни, каждый вправе позитивно смотреть на вещи. Чужой опыт мало чего стоит. Кроме того, я повел себя как невоспитанный человек. Нужно соблюдать приличия. Так говорит Фернанда. Но почему? Да откуда я знаю... Возможно, таково правило жизни либо таков способ жить на краю жизни, что, в сущности, одно и то же. И, в сущности, я очень хорошо знаю почему...

Изюм, который я купил в центральных торговых рядах в Байше, неплох. Запасусь им на весь день.

Англичане говорят, что милосердие начинается дома: "charity begins at home". Это одна из пословиц домашнего применения, которую женщины из трущоб напоминают мужьям, когда те начинают давать меньше денег на семейные

нужды, и которая вышла из употребления с изобретением саксофона и с приходом лейбористов к власти. В Англии ее уже не вспоминают. В ней нет необходимости. В наше время милосердие отдает ризницей и старыми девами. Мне приходилось видеть, как эти бедолаги раздают по воскресеньям мелочь нищим. Наблюдал я и тех, кому они раздают милостыню. Они сразу видят, кто перед ними, и из человеколюбия принимают раздаваемую им мелочь с улыбкой.

Я же по-своему использую эту английскую пословицу. Заменяю слово "милосердие" выражением "сохранять приличия" и готово: пока мне не удается сохранять приличия перед самим собой, я не смогу сохранять их перед другими.

Если хорошенько разобраться, мне от себя так же некуда деться, как и от Фернанды. Случай еще более безнадежный...

Вхожу в банк и поднимаюсь по лестнице. Как обычно, на лестничной площадке толпятся люди, которые пришли сюда получить деньги по аккредитиву, ответ на свой запрос, попросить ссуду или пролонгировать кредит... все такое.

Меня уже ждут. Они уже знают, что дадут положительный ответ на мой запрос. В сущности, я могу обойтись и без них, но они не могут обойтись без меня.

На этой встрече все излучают улыбки. Даже не чувствуется отсутствие виски, спрятанного в потайном шкафу в глубине кабинета.

Вхожу к себе домой, пережевывая изюм. Тесть с тещей уже приехали. Их машина припаркована чуть ниже, около двери.

Фернанда открывает дверь и берет меня за руку. Не дает мне даже открыть рот и ведет в гостиную, где я вижу ее родителей, расположившихся на диване.

Тесть протягивает мне руку.

— Мои поздравления. Мы тут купили вам подарок... Надеюсь, вам понравится.

Обращаюсь к теще, которая снисходит до того, чтобы наконец сказать мне что-то непонятное.

Фернанда настороже. Я знаю, что эти встречи изнуряют ее, потому что у нее нет ни минуты покоя, она находится в постоянном страхе, что я одной фразой могу раскрыть ее родителям то, что происходит между нами.

— Ты уже видел, что нам подарили? Ты только посмотри. Разве это не то, что мы хотели?

— Нет.

Фернанда засмеялась и объяснила своим родителям, что за обедом мы заключили пари: каким бы ни был подарок, я не смогу сказать, что он мне не нравится. И повернулась ко мне:

—.Ты выиграл. Я никогда бы не подумала, что ты сможешь.

В ее голосе чувствуется скрытый упрек.

Иду в свою комнату, чтобы переодеться.

На подушке лежит записка, написанная размашистым почерком Фернанды:

Прошу тебя, постарайся быть внимательным ко мне сегодня вечером. Только один Бог знает, как я страдаю каждый день. Хотя бы из милосердия не унижай меня на людях. К сожалению, больше я ни о чем не могу тебя попросить.

Кто же это сказал, что милосердия больше не существует?

Бедная Фернанда... До чего я дошел!

Я довел ее до того, что она, как ребенок, просит меня не унижать ее.

До чего же я дошел!

Помню, как я в детстве падал и плакал, а мой отец мне всегда говорил: “Вставай сын, мужчины не плачут”.

Поправляю перед зеркалом галстук и тихо повторяю: мужчины не плачут. Мужчины не плачут. Мужчины не плачут.

Но я плачу.

Вхожу в гостиную, держа в руке сверток с духами.

— Фернанда, я искал тебе подарок, но ты же знаешь, что я не очень умею делать подарки. Купил тебе эти духи. Дай Бог, чтобы они тебе понравились.

Фернанда берет сверток и распаковывает его.

Протягивает мне руки и целует меня.

Ради всего святого, Фернанда... Не принимай это слишком близко к сердцу... Не унижай меня... Не играй с остатками достоинства, которое ты мне оставляешь... Я ведь искренне стараюсь для тебя...

— Спасибо, спасибо. Это замечательно! Именно то, что я хотела.

— Тем лучше. А я боялся, что тебе не понравится.

Подходит тесть:

— Как проходит отпуск?

— Почти уже закончился.

— А я бы на вашем месте нашел человека, который бы занимался делами, а сам бы только отдыхал всю оставшуюся жизнь.

— Не могу и не хочу. Во-первых, если я не буду контролировать свои дела, то все потеряю. А во-вторых, мне нравится работать.

— Да нет, ну что вы! На вашем месте я бы проехался по Европе... Мадрид, Бургос, Севилья, Париж...

— Если вам так нравятся эти города, почему бы вам туда не съездить?

— Староват я для этого. Уже не могу оставить моих друзей, мое кафе и стариковские привычки.

— И с каких это пор вы чувствуете себя таким старым?

Тесть не отвечает. Пожимает плечами, давая мне понять, что старость неизбежна, факт, доселе мне неизвестный. Теща смотрит на меня, как на животное из зоопарка. Она всегда меня ненавидела. Для нее я всегда был скромным представителем среднего класса, который осмелился влюбиться в ее дочь. Сразу после нашей свадьбы она много раз намекала мне, что я должен подняться до уровня Фернанды. И, так как я не поднялся, стала терпеть меня, не давая себе труда скрывать, что в ее глазах я не более чем шофер, прикидывающийся сеньором.

В этот момент она вмешивается в разговор, чтобы помочь мужу, который уже не знает, что мне ответить.

— Как называются духи, которые вы купили Фернанде?

— “Femme”.

— Это хорошие духи. Я тоже ими пользуюсь. И, возвращаясь к тому, о чем мы только что говорили: почему бы вам не съездить отдохнуть в Мадрид? Фернанде необходимо развеяться, и там она сможет купить несколько платьев на зиму... У людей нашего круга есть определенные обязанности, но нынешнее поколение забывает об этом.

— Noblesse oblige?[1]

Теща бросает на меня недоверчивый взгляд. Она не знает, серьезно я говорю или нет.

— Возможно, вы правы, но правда состоит в том, что в этой жизни мы не можем делать только то, что нам нравится. Не хочу выступать как классическая теща и по этой причине никогда не вмешиваюсь в ваши дела. Даже когда мне что-то не нравится, делаю вид, что ничего не замечаю, но должна сказать, что не могу согласиться с тем, как Фернанда одевается.

— Это ее дело.

— Не могу не согласиться с вами. Но вы должны с ней об этом поговорить. Я никогда не допускала, чтобы Фернанда одевалась как какая-нибудь портниха. На днях мы ездили в Эшторил[2], и я была поражена купальниками, которые носят

1. Положение обязывает? (*франц.*)
2. Курортный пригород Лиссабона.

современные девушки. Не подумайте, что я была шокирована. Женщину моего возраста уже ничто не может шокировать. Но меня удручает, что матери позволяют своим дочерям одеваться так, словно они какие-нибудь хористки. И в наше время невозможно отличить сеньору от актрисы... В одном могу вас заверить: Фернанда хорошо воспитана... Теперь вы понимаете, почему я так настаиваю, чтобы вы поехали в Мадрид?

— Но ни я, ни Фернанда не хотим ехать в Мадрид.

— Почему?

— Во первых, потому что не можем, а во вторых, потому что если бы захотели ехать за границу, то не поехали бы в Мадрид.

— Но почему?

— Потому что мы предпочли бы съездить в Европу.

— Вам кажется, что Мадрид не в Европе...

— В Европе. Но для Лиссабона это такая же заграница, как Порту.

— Так знайте, что сегодня магазины в Мадриде не хуже, чем в Париже или Лондоне. Говорят, что в настоящее время Мадрид — один из крупнейших европейских городов. Мне об этом рассказывали люди, немало поездившие.

Каждый раз, когда я говорю с моей тещей, вокруг нас возникает атмосфера холодной войны. Уже давно я понял это, но каждый раз ввязываюсь в мелкие стычки с ней, как будто из этого можно извлечь какую-то пользу. Но ни моя теща, ни я не можем измениться.

Мне повезло: подошла Фернанда и предложила нам аперитив. В дверь постучали. Все посмотрели на дверь в ожидании новых гостей. Это Родригеши, симпатичная супружеская пара, старые друзья тестя и тещи, я знаю их со дня моей свадьбы. Вручаю гостям рюмки с мадерой и вермутом. Делаю хороший глоток виски. Родригеш отзывает меня в сторону.

— Ну, старина, как ваши дела? Я не видел вас целую вечность. Это очень жаль. Совсем недавно я говорил о вас.

— Неужели?

— Правда. Нам нужны кандидаты в местную жунту. Мой друг, мы все должны что-то делать. Что вы на это скажете?

— Забудьте об этом, господин инженер. Даже если меня будут просить, я никогда не стану этим заниматься. Я занимаюсь только тем, что знаю: шляпы, кепки и береты.

— Очень жаль, мой друг. Вы только критикуете, а когда можно что-то сделать, вы все умываете руки.

— Но я ничего не говорю, господин инженер, ни плохого, ни хорошего. Это меня не интересует и не привлекает. В лю-

бом случае, даже если бы я все критиковал, я не пойду ни в местную жунту, ни в какую другую.

— Вот я и говорю: критиковать — это пожалуйста, а когда можно что-то сделать, так никого нет.

Не могу сдержать смех. Мне очень смешно. А Родригеш не понимает, над чем я смеюсь.

— Хоть убейте, но я не могу понять, что тут смешного. Грустно на все это смотреть: и на время, и на людей.

— Послушайте меня, господин Родригеш, я не смеюсь над тем, что вы говорите. Напротив, я восхищаюсь вашей наивностью.

— Наивностью?

— Представьте себе, господин инженер, что меня несправедливо приговорили к смерти и я день за днем критикую приговор и то положение вещей, которое сделало это возможным. Представили? А тюремщик, устав от моей постоянной критики, предложит мне помочь ему получше закрепить веревку на виселице, на которой меня повесят... Теперь представьте себе, как тюремщик, взбешенный моим отказом, идет от меня по коридору, ворча, что заключенные все время критикуют, а когда им предоставляется возможность улучшить положение вещей, они отказываются помогать тем, кто работает, исполненный лучших намерений. Понимаете меня? Вы не находите, что мой рассказ подтверждает вашу наивность?

— А вы, мой друг, не преувеличиваете?

— Конечно, преувеличиваю. Мой пример не имеет ничего общего с местной жунтой. Я привел его, чтобы вы, господин инженер, поняли мое отношение ко всему этому.

— Ну, кто вас всех поймет! В любом случае, мое предложение остается в силе. Если передумаете, обращайтесь.

Дверь в гостиную открывается, и входят супруги Виейра, очень состоятельные люди, среднего возраста, уже давно и безуспешно пытающиеся получить признание высшего общества. Естественно, что, по их мнению, они имеют полное право принадлежать ему.

Доктор Виейра целует руку Фернанде и подходит ко мне. Мы приветствуем друг друга. В очередной раз предлагаю гостям рюмочку мадеры. Как мне все это надоело! Отхлебываю виски, чтобы снять раздражение. Кладу в рот изюм, потом еще немного, и еще. Теща, наблюдающая за этим издалека, подзывает меня.

— Так вы еще не отучились есть изюм на людях? Это очень скверная привычка. Уверяю вас. Те, кто с вами незнаком, могут подумать, что у вас нервное заболевание. Это как грызть

ногти, у всех создается впечатление, что плохи ваши дела или у вас плохо с нервами. Я желаю вам только добра. Поверьте мне, мы не должны опускаться ниже нашего уровня. Что бы было, если бы мы позволили себе делать все, что нам заблагорассудится? Вы только подумайте?

Любопытная мысль. Могу представить себе, как все будут разгуливать с изюмом в кармане.

— Слава Богу, что далеко не все постоянно жуют изюм. Как бы тогда выросли цены на него...

Достаю из кармана сверток с изюмом, который я купил в магазине в Байше. Предлагаю теще, она в ответ пожимает плечами. Достаю огромную изюмину и кладу ее в рот.

— Как вкусно!

— Это ваш комплекс. Можете быть уверены, что это комплекс...

Мне повезло: служанка объявила, что ужин на столе. Мы все идем в столовую, Фернанда показывает гостям их места.

Стараюсь всем улыбаться и веду оживленную беседу. Смеюсь над шутками тещи, полностью соглашаюсь со всем, что говорит тесть. Сеньора Виейра говорит о том, как трудно найти хорошую служанку.

— После того как появились все эти фабрики, они предпочитают работать в промышленности. Получают намного больше и делают все, что им заблагорассудится. Ужас какой-то! А в результате они потом сожалеют о своем выборе. Они оставляют наши дома, где у них есть все и еще кое-что, и становятся винтиками огромной фабрики. И потом, когда начинают болеть или попадают в беду, они понимают, как им было хорошо в служанках.

Моя теща поддерживает ее:

— В наше время нет никакой дисциплины. Каждый претендует на большее, чем он есть на деле. Раньше служанки умели вышивать, шить кружева... сейчас ничего не умеют, даже гладить, но хотят получать столько, как если бы все умели... Ведь это чистая правда... А когда им выпадает день отдыха, они его используют по полной... Вспомните то время, когда наши служанки еще не умели танцевать, но зато умели многое другое. Сейчас они только и умеют готовить самые обычные блюда и танцевать самбу... И именно поэтому они предпочитают работать на фабриках, где от них никто ничего не требует и где они могут предаваться разврату.

Доктор Виейра улыбается и снисходительно объясняет дамам суть социальной проблемы:

— Дело не только в этом, не только в этом. Мы живем в ужасное время, переходное время. Все меняется. Мы сами

уже похожи на наших дедушек и бабушек и нас не должны пугать грядущие перемены.

— Все это сказки, мой друг, сказки. Во всем виноваты такие люди, как вы. Внушаете людям идеи, к которым они не готовы... Этому миру нужна дисциплина. Уверяю вас, раньше служанки были счастливее, чем нынешние работницы и служащие. (Заканчивая этот монолог, теща выделяет последнее слово и кривит лицо, высмеивая последнее слово.) В былые времена служанки покидали наши дома с золотом и приданым, которого им хватало на всю оставшуюся жизнь. А после работы на фабриках у них остаются только долги и мусор в голове...

Решаю внести и свою лепту:

— Вы совершенно правы. Они были намного счастливей, несравненно более свободны и более достойны называться людьми.

Теща смотрит на меня, пытаясь понять по моему лицу, издеваюсь ли я над ней. И, убедившись в обратном, улыбается и продолжает:

— Вы правы. Ту свободу, которая была у них, и сравнивать нельзя с той свободой, которая у них есть сейчас. И не забывайте, что свобода — это еще не все в этой жизни. И свобода — это одна из маний нашего времени.

— Мы совсем недавно, вчера, если не ошибаюсь, уволили служанку за флирт на лестнице. Именно за флирт на лестнице. Вы не находите, что мы правильно поступили?

Теща вновь посмотрела на меня и, убедившись, что я и глазом не повел, продолжила:

— Если Фернанда так поступила, то у нее были на это свои причины. В любом случае, должна сказать вам, что, в принципе, согласна с тем, что вы сделали. Мы обязаны поддерживать в доме здоровую атмосферу... в том числе и ради них. Если бы Фернанда узнала, что служанка бесстыдничает на лестнице, и ничего бы не сделала, то превратилась бы в ее сообщницу и пренебрегла бы своими элементарными обязанностями.

Вошла служанка с кофе, и теща сказала мне по-французски:

— On ne doit parler de ces choses devant le bonnes. Prennez garde[1].

Уже в гостиной доктор Виейра предлагает потанцевать. Идея понравилась, и мы все идем в отель, поднимаемся на последний этаж, где видим трех пожилых француженок, си-

1. Не следует говорить об этом в присутствии слуг. Осторожней (*франц.*).

дящих за столом с таким видом, как будто они уже лет сто ждут, когда кто-нибудь придет их рассмешить.

Оркестр состоит из четырех сонных субъектов, которые, увидев нас, натужно улыбаются и начинают исполнять песню, написанную веселыми людьми для веселых людей. Три старушки и мы ждем, когда закончится песня. Улыбаемся оркестру.

Пришел слуга, тоже сонный, весь погруженный в себя.

Я всегда поражаюсь, когда мне приходится бывать в местах, где развлекаются португальцы. Во всем мире кабаре по вечерам полны, в зрительных залах не найти свободного места. Люди веселятся, расслабляются, развлекаются. В Португалии же ночи являются продолжением дней: такие же грустные и монотонные. Люди не танцуют и не смеются. Кажется, что они боятся выглядеть смешными. Хохот, как явление, прекратил свое существование. Смеха боятся: а вдруг кто увидит...

Неужели и я стал таким?

Неужели я разучился смеяться?

Неужели целая страна уже не умеет смеяться?

Неужели существует закон, который обязывает португальцев быть серьезными, напыщенными, подчеркнуто респектабельными, как подростки, старающиеся сойти за взрослых мужчин?

Неужели в моей стране уже не будет молодежи? А ведь сколько ее было!

Неужели мы все уверены в том, что мир возложил на нас какую-то важную миссию?

Пью свой виски и закусываю изюмом. Инженер Родригеш улыбается мне.

— Мой друг, тридцать лет назад таких отелей не существовало... и нет ничего плохого в том, что они появились.

Оглядываюсь вокруг и вижу трех пожилых француженок и всех нас. Предчувствую приближающийся приступ клаустрофобии, я больше не могу выносить инженера Родригеша, мою тещу и полусонный оркестр... Я хочу уйти отсюда, на улицу, уехать далеко, в Китай, где есть люди, которые живут и верят хоть во что-нибудь.

Я слишком много выпил. Я не привык столько пить, и меня охватывает необычное возбуждение и жар.

Я надеваю галстук в полоску, мой старый добрый галстук в полоску, который уже немного затерся под воротником рубашки.

Мне хочется заплакать, но какой в этом толк, я хотел бы заплакать, даже если от этого не будет никакого толка. Просто хочу плакать.

Превращаюсь в человека в галстуке в полоску и спрашиваю у Фернанды, не хочет ли она потанцевать. Она встает и прижимается ко мне.

– Я тебе очень благодарна за то, что ты не стал цепляться к моей матери. Тебе это тяжело далось?

– Ну что ты, Фернанда, мне это ничего не стоило.

– Я много думала о нас двоих. Отчасти, это я проиграла. По крайне мере, отчасти.

– Проиграла в чем?

– В нашем браке.

– Но кого это интересует, пока мы соблюдаем приличия? Ведь все, что имеет значение – это соблюдение приличий. И не этим ли все занимаются уж не знаю сколько времени?

– Ты слишком много выпил.

– Зачем ты это говоришь?

– Твое хорошее настроение меня не обманет. У тебя такое настроение, только когда ты много выпьешь. Не забывай, что мы женаты уже давно...

Мужчина в галстуке в полоску отпускает Фернанду и делает поклон в центре зала, поклон чрезмерно напыщенный, такой поклон мог бы отвесить распорядитель церемоний театра Алмиранте Рейш, представляя посредственного актера любительского театра, либо, что еще хуже, но в точности то же самое, деревенский политик, представляющий публике известного политика из Лиссабона, перед его выступлением о "прогрессе и проблемах сельского населения".

– Позвольте представиться: я ее муж, который смеется, только когда выпьет, имея на это самые серьезные причины, муж, до такой степени типичный представитель своего круга, что прекрасно мог бы представляться как "civis lusitanus sum"[1]... Муж, довольный своей жизнью, своей добродетельной женой, которую он получил по милости провидения и от которой горячо желает избавиться, но продолжает радоваться жизни, потому что... потому что... потому что так говорят...

Фернанда с испугом посмотрела на мужчину в галстуке в полоску.

– Нет никакого сомнения: ты слишком много выпил... дай Бог, чтобы этого никто не заметил.

Мужчина в галстуке в полоску отвешивает еще один поклон:

– Дай Бог, чтобы никто не заметил того, что сотворил Бог. Дай Бог, Дай Бог, чтобы никто не увидел, что случилось

1. "Я гражданин Лузитании" (*лат.*).

с человеком, созданным Богом, с человеком, который мог бы стать человеком, если бы Бог этого захотел. Дай Бог... Дай Бог... Ты уже поняла, какую песню с таким содержанием можно было бы сочинить? Песня, которую можно было бы назвать “Дай Бог, чтобы Бог возжелал”?

Мы проходим мимо стола, и инженер Родригеш улыбается и говорит нам, что ему очень приятно смотреть, как мы танцуем.

— Мне, а я вам по возрасту в отцы гожусь, приятно видеть вас такими... Поверьте, это действительно так...

Сеньор в галстуке в полоску отвечает, тоже с улыбкой:

— Наверное, уже лет тридцать вам не приходилось встречаться с такими, как мы?

Инженер пожимает плечами и пьет за наше здоровье, всем своим видом показывая, что он прощает слова мужчины в галстуке в полоску, объясняя их его молодостью и окружающей атмосферой.

Моя спальня. Когда я в нее вхожу, она кажется охваченной огнем. На другой стороне улицы установили огромную неоновую рекламу, которая гаснет и зажигается каждые восемь секунд. И каждые восемь секунд моя спальня окрашивается в красные цвета, как будто ее охватывают все огни ада. Зеркало гардероба, полированная поверхность комода отражают каждые восемь секунд буквы рекламного объявления в обратном порядке: “Ипотека”... “Ипотека”...

Из окна можно увидеть весь текст: “Ипотека”, “Кредиты на покупку автомобилей”.

Спальня приобретает фантастические очертания, окрашиваясь то в черные, то в агрессивно красные тона. Бросаю пиджак на стул. Сажусь на край кровати, снимаю ботинки. Вижу свое отражение в зеркале, согнувшееся и держащее ботинок за каблук.

Важные персоны, те самые, которые с серьезным видом носят умопомрачительные брюки, они тоже вечером снимают ботинки? Присев на край кровати? Если так, то почему они такие важные?

В дверь постучали, и не успел я ответить, как появилась Фернанда в ночной рубашке. От нее пахнет духами, и, не успев войти, она краснеет, как спелый помидор.

— Я могу войти?

— Учитывая то, что ты уже вошла, мне кажется, что вопрос неуместен.

— Я хотела бы с тобой поговорить.

— Говори.

— Ты все усложняешь, и это совершенно бесполезно. Мне хотелось бы поговорить с тобой и объяснить то положение, в котором нахожусь я, поскольку твое положение ты и так прекрасно знаешь.

— Я слушаю тебя.

— Я уже поняла, что ты ненавидишь мою семью и все, что с нею связано.

— Если ты так считаешь, то ошибаешься. Я не ненавижу твою семью.

— Позволь мне закончить. Прошу тебя, хотя бы раз в жизни, не прерывай меня. Дай мне договорить до конца. Ты знаешь, что я вышла за тебя замуж, потому что любила тебя. Любила и люблю. Надеюсь, что ты не обманываешься на этот счет. Я всегда любила тебя и буду любить. Ты также знаешь, что я вышла за тебя замуж против воли моих родителей. Они оба считали, что этот брак ничем хорошим не закончится, и оба оказались правы.

— East is east and west is west and never...[1]

— Я просила тебя не прерывать меня. Когда мы с тобой познакомились, я была еще ребенком и ничего не понимала в жизни. Я знаю, что ты смеешься и скажешь, что это фраза из романа с голубой обложкой либо из дома фаду.

— Все, так или иначе, кончается одним и тем же.

— Ты продолжаешь прерывать меня. Ладно, все равно. Ты прекрасно знаешь, какое воспитание я получила. Мы оба знаем, всем, что во мне есть, я обязана своему воспитанию и тем правилам, которым я следовала, будучи невестой, тем представлениям, которые большинство мужчин хотят обнаружить в своих женах. Ты знаешь это так же хорошо, как и я. Не буду от тебя скрывать, ты меня ослепил тем, как ты себя вел. Все в тебе было внове для меня. Сами твои идеи, так отличающиеся от всего, что я слышала, твоя веселость, твоя искренность, все то, чем ты был и чем ты уже не являешься, потому что ты даже не представляешь, как изменился за последние годы...

Фернанда, как и вся спальня, окрашивается в красные и черные цвета. Я сижу в углу, в единственном месте, которое постоянно остается темным. Только кончик моей ноги захватывает огонь рекламы. Я двигаю ступню к себе и вижу Фернанду, сидящую на кровати, как в кадре цветного фильма. Почему она решила произнести передо мной такую речь?

1. Восток есть восток и запад есть запад и никогда... (*англ.*)

— Я пыталась не отставать от тебя. Делала все, что в моих силах. Поверь мне, но похоже, у меня не получилось... Когда я вижу, каким ты стал, я чувствую раскаяние и даже не знаю почему... Я чувствую себя ответственной за твою грусть... За все, что происходит... И это еще не самое плохое.

Фернанда плачет, тихо-тихо.

— Дело в том, что я очень хорошо знаю, что мы могли бы быть совсем другими и что, даже в этом случае, мы могли бы надеяться, что ты еще... еще... еще любишь меня. Ты ведь не знаешь, что это такое: быть женщиной и все ночи спать одной... смотреть на служанок и знать, что они тоже знают... видеть на лицах людей... и ничего, тем не менее, не имеет значения, если... я могла бы что-нибудь сделать. Но я сделала все, что могла, все, что знала.

Окрашенный свет падает на тело Фернанды, лежащей на кровати и содрогающейся в конвульсивных рыданиях. На стене читается "Ипотека" наоборот. Бедная Фернанда, бедный я. Я встаю и сажусь рядом с ней. Она продолжает говорить, зарывшись головой в подушку:

— Мы не можем развестись... ведь ты этого хочешь? Разъехаться? А что делать мне? Вернуться в родительский дом? Ты хочешь, чтобы я вернулась к матери после того, как прожила с тобой все эти годы? Ты уже думал об этом? А ты? Что будешь делать ты? Ты прекрасно понимаешь, что я бы не хотела и не смогла бы начать новую жизнь с кем-то другим. Таким образом ты меня приговариваешь к вечному целомудрию? Но это не самое главное. Я согласилась бы и на это, если бы у меня оставалось все остальное... но... но...

Я провожу рукой по ее волосам. Ни у меня ни у нее нет решения. Ни я ни она не виноваты ни в чем. Ни у меня ни у нее нет будущего, и мне ясно, что ни у меня ни у нее нет и настоящего...

— Ты знаешь, что моя религия не позволяет разводы... и, даже если бы позволяла, я... И, тем не менее, я бы сделала все, чтобы закон их разрешал... Я не знаю, что хуже... терять тебя, потому что я тебя уже потеряла, или жить в унижении, сознавая, что ты живешь со мной только в силу закона... Я вышла за тебя замуж, потому что любила тебя, а не в силу закона... Я иногда думаю, что унижает именно это... унижает то, что я считаюсь твоей женой по закону... может, все пошло бы по-другому, если бы мы не были связаны законом... Как ты думаешь, все могло бы быть по-другому? Ты представляешь себе весь ужас нашей ситуации? Моя единственная мысль, о чем я думаю постоянно, что все могло бы пойти по-другому... Я уже больше не надеюсь на прошлое...

Сидя на кровати, окрашенный в красные цвета, читая надпись "Ипотека" наоборот в зеркале гардероба, я глажу Фернанду по голове.

Пусть выговорится.

У нее очередной приступ рыданий. Она зарывается головой в простыни.

— Я ничего не понимаю... Ничего не понимаю... И я и ты всего лишь два человека... Два человека и ничего больше... Два человека, как любые другие, без претензий и больших идей либо принципов... и посмотри, что произошло... законы... принципы... воспитание... как ты думаешь, если бы не все это, у нас был бы шанс? Маленький шанс? Законы... принципы! Что бы я хотела... я уже не знаю, что бы я хотела... Моя мама всегда говорит, что нужно соблюдать приличия... но приличия, установленные чем? Законами? Принципами? А если нужно соблюдать приличия, то почему их нет уже в нас самих... И тогда зачем нужно соблюдать приличия?

Не знаю, что ей сказать. Но что-то сказать я должен.

— Все сложней, чем ты думаешь. Намного сложней. Если хорошенько поразмыслить, ты поймешь, что законы и принципы тоже являются формой соблюдения приличий, Фернанда. Люди считают, что необходимо соблюдать все то, что скрывают законы и принципы. Их интересуют не принципы. Это лежит на поверхности, Фернанда. Я об одном хотел тебя попросить. Ты говоришь, что чувствуешь раскаяние, видя, во что я превратился. Не надо, не стоит. Не надо считать, что ты была причиной изменений, произошедших со мной. Это не так. Все сложней, чем кажется.

Фернанда цепляется за меня, исступленно рыдая.

— Но почему, мой Бог, почему?

Я накрываю ее простынями и ложусь. Спальня внезапно окрашивается в красные цвета.

Мужчины не плачут. Мужчины не плачут.

Я встаю каждое утро в восемь часов, даже по воскресеньям, и не ем изюм в присутствии посторонних людей. Это такая же форма самоорганизации, как любая другая. Я вскакиваю с кровати и иду в ванную, не открывая окно и стараясь не шуметь, чтобы не разбудить Фернанду.

Я тру лицо более энергично, чем обычно, потому что чувствую потребность отмыться.

Я переспал с Фернандой!

Я изменил сам себе.

Смогу ли я простить себя?

Невозможно выставить женщину из спальни, когда она приходит дать тебе все, что у нее есть. Невозможно отказаться от этого всеобъемлющего подарка, от этого дара.

А что бы случилось, если бы я отправил Фернанду в ее спальню? Я хорошо это знаю: Фернанда вышла бы сгорбившись, в своей ночной рубашке в цветочек, пытаясь скрыть унижение, которое она испытывает, тихо плача и пытаясь скрыть от меня свои слезы.

А я?

У меня бы всю ночь стояли перед глазами ее опущенные плечи, и я бы мучался от того, что не проявил понимания и милосердия.

Выхожу из дома еще до того, как Фернанда проснулась. Спускаюсь по улице Мизерикордья и покупаю изюм в магазине “Флор ду Мунду”.

Интересно, что думает Фернанда о том, что призошло?

Сочтет, что я хочу восстановить нашу жизнь?

Посчитает, что я решил в конце концов соблюдать приличия?

И в эту ночь опять заберется в мою постель?

Жую несколько изюмин.

Было бы лучше провести эту ночь вне дома. Ближе к вечеру позвоню ей и скажу, что еду в Порту в командировку. Вхожу в кафе “Бразилейра” в надежде встретить кого-нибудь, с кем бы я смог забыть на несколько минут Фернанду и все, что с ней связано. Оглядываюсь вокруг, но не вижу никого из знакомых. Иду по улице вниз до улицы Нова-ду-Алмада. Поворачиваю за угол и иду до улицы Святого Николау. Вхожу в кафе “Меррендинья” и заказываю чашечку кофе. Облокотившись на прилавок, слышу разговор двух мужчин, пьющих кофе за столиком.

— Это можно было бы провернуть, но у меня не получилось дисконтировать вексель. Они затребовали поручителя.

— И ты не нашел?

Вопрос задан худому субъекту небольшого роста, курящему свернутую вручную сигару. Перед тем как ответить, он затягивается. Медленно выпускает дым, глядя на улицу, с видом человека, которому приходится жить в мире, где поручители не ходят толпами по улицам.

— Нет, не нашел. А где, по-твоему, я могу найти поручителя?

— Ты знаком с Родригешем?

— Это у которого два такси?

— Его брат, у которого точка на Рибейре...

— Нет, не знаком.

— Ему приходилось авалировать векселя. Естественно, он захочет что-то заработать, но тут уж ничего не поделаешь. И на что, кроме чертовой комиссии, может он претендовать, авалируя твой вексель?

Расплачиваюсь за кофе и выхожу на улицу, заполненную весьма специфической публикой этого квартала; субъекты в старой, но отполированой до блеска обуви, цепляющиеся к прохожим в надежде встретить кого-нибудь, кто не умеет читать и кому можно будет предложить помощь в заполнении бумаг.

Меня трогают за плечо. Это еще молодой человек с древней переносной пишущей машинкой в руке.

— Вам нужен сертификат Криминального регистра?

— Нет, не нужен.

Он отходит от меня и пересекает улицу. Теперь ко мне обращается другой, тип средних лет в блестящем пиджаке и серой рубашке, к которой присобачен новый воротник в надежде, что рубашка протянет еще несколько месяцев.

— Вам нужен нотариус? Свидетели? Послушайте, я серьезно... Я работаю здесь уже много лет...

На другой стороне улицы человек с пишущей машинкой уже нашел клиентов. Он исчезает, спускаясь вниз по лестнице в сопровождении нескольких женщин с шалями на головах.

Я тоже пересекаю улицу и останавливаюсь на углу перед витриной магазина Лузалита.

Этот перекресток улиц Нова-ду-Алмада и Святого Николау очарователен. У меня ни разу не получилось пройти здесь, на задержавшись хотя бы на несколько минут. Я смотрю по сторонам, гляжу на прохожих, пытаясь представить себе, как они живут, и вижу моего нового адвоката, который медленно поднимается по улице Святого Николау.

В руке он несет мантию и тяжело дышит, словно только что пробежал целый километр. За ним идет молодая девушка в черной толстовке. Она несет его портфель.

Сверху я с интересом слежу за ним.

Он медленно идет, опустив глаза, его живот раскачивается направо и налево, время от времени он останавливается, чтобы передохнуть. Мимо проходят люди, они здороваются с ним, он машинально снимает шляпу, приветствуя их так, будто не узнает, будто сам факт снятия шляпы уже говорит о его никому не нужном снисхождении. Проходит мимо. Не глядя на меня, он проходит мимо, давая понять, что озабочен серьезными проблемами, которые даже на улице не позволяют ему расслабиться ни на минуту.

Без сомнения, у этого человека есть все необходимые атрибуты для того, чтобы быть влиятельным...

— Господин адвокат...

Он останавливается. Оглядывается и видит меня. Узнает. Решает произвести на меня впечатление и показать, что у него столько клиентов, что он с трудом отличает их одного от другого. Улыбается, давая мне понять, что помнит меня, но полностью не уверен, кто я.

Он делает пару шагов и неожиданно оборачивается и извиняется за то, что сразу меня не узнал.

Бьюсь об заклад, что, когда мы закончим разговор минут через пять, он спросит меня о моих фабриках.

Уже посередине улицы он останавливается. Смотрит на меня и улыбается. Делает полоборота и подходит ко мне.

— Извините меня... Вы не поверите, я вас не узнал. Голова совсем забита... Я шел, размышляя об одной проблеме, и, только пройдя мимо, понял, кто вы. А как поживают ваши фабрики?

Эти субъекты, продавшиеся повседневности, все одинаковы...

Он берет меня за руку и ведет вперед. Видимо, решил перейти вместе со мной улицу и дойти до дверей суда. Но тут же передумал. В эти часы в суде разбираются мелкие полицейские дела, и он не может позволить, чтобы я узнал, что он пришел принять участие в одном из таких дел...

— Вы пришли сюда выступать на судебном заседании?

— То, в чем я участвую, не совсем судебное заседание... Это одно из тех дел, которыми мы должны заниматься, понимаете...

— Должен признаться, что нет.

— У сына привратника моего дома возникли проблемы, а вы, мой друг, знаете, как это бывает: если я откажусь, начнут говорить, что я акула, занимаюсь только тем, за что платят... и, в конце концов, мой друг, я делаю то, что скауты называют добрыми делами...

Мы подходим к дверям суда. Останавливаемся. Он оборачивается ко мне и протягивает руку.

— Ну вот, мой друг, Я бы не хотел отнимать у вас время. Когда мы сможем встретиться? Завтра?

Ставлю его в тупик:

— Если вы не возражаете, я провожу вас. Делать мне нечего, и я хотел бы поприсутствовать на судебном заседании.

Мои слова явно вызывают в нем беспокойство. Он не хочет, чтобы я присутствовал на судебном заседании. Начинает придумывать отговорки. Он даже говорит мне, что у него

в портфеле есть документы, которые требуют его срочного внимания и поэтому он не сможет уделить мне больше нескольких минут.

Я настаиваю.

Мы идем с ним по коридору, стены которого облицованы изразцовой плиткой с рисунками, выполненными в голубом цвете. Медленно поднимаемся по лестнице. На лестничной площадке адвокат останавливается и объясняет:

— Вы знаете, мой друг, эти мелкие дела имеют для нас большое значение. Именно через них мы устанавливаем контакты с некоторыми судьями, с которыми позднее можем столкнуться при подаче апелляции либо в Верховном суде... Я никогда не занимаюсь уголовными делами, но, по правде говоря, берусь за некоторые малозначительные дела только для того, чтобы спуститься на землю и не отрываться от действительности... Помимо этого я знакомлюсь с новыми судьями...

Продолжаем подниматься по лестнице. Входим в просторный вестибюль. Внезапно мне становится стыдно за то, что я делаю. Решаю покинуть адвоката прямо здесь, в вестибюле, и уйти.

Поймать человека на его слабостях — это все равно что подглядывать в замочную скважину: хотя зрелище занимательное, всегда стыдно, что делаешь это тайком. Кроме того, не стоит давать понять, что ты знаешь, как все обстоит на самом деле. Даже наоборот: мне стоит играть роль богатого клиента, который готов платить за все, что ему предложат, и, в конце концов, вне зависимости от действий адвоката, сохранит к нему и его принципам глубокое уважение.

Мне действительно нужно дать понять, что я осознаю механизмы, которые позволяют получить результат без измены принципам...

Тонкости и еще раз тонкости.

Вынимаю из кармана изюмину и кладу ее в рот.

И, в конце в концов, что нам остается делать кроме как сохранять приличия?

Звоню домой. Фернанда берет трубку.

— Это ты?

— Да, это я. Ты не придешь ужинать?

— Ни ужинать, ни ночевать, дорогая. У меня возникли проблемы с агентством в Порту и мне нужно быть там. Я уезжаю прямо сейчас. Поеду на машине и вернусь завтра. Хотел предупредить тебя раньше, но не смог.

— Прислать тебе чемодан с твоими вещами?

— Нет, дорогая, мне ничего не нужно.

— Ты уверен?
— Абсолютно.

Что делает человек, если он не может ночевать дома? Естественно, едет в гостиницу. Но что делает человек в то время, когда делать нечего и большинство людей уже сидит дома, читая газеты и готовясь отходить ко сну?

Я иду в кино, в "Эдем", это архитектурное уродство, воздвигнутое в центре города. Мне все равно, какой фильм, лишь бы убить время.

Поднимаюсь по Авениде. Мне не хочется спать, и я не знаю, в какой гостинице остановиться. Недалеко от Парка Майер решаю выпить кофе. Здесь нужно быть повнимательней с выбором места.

Останавливаюсь и оглядываюсь.

Перед кафе стоят мотоциклы и автомобили, достаточно древние, чтобы стоить больших денег, но, однако, недостаточно древние, чтобы вызывать смех.

Я вижу "зингеры" с откидным верхом, семи- и восьмилетние "MG" и новенькие "ламбретты" с сиденьями, обшитыми тканью, имитирующей шкуру леопарда.

Эти автомобили еще производят впечатление в своем квартале и здесь около кафе в районе Парка Майер, в свое время они принадлежали мальчикам-мажорам, которыми их нынешние владельцы очень хотели бы быть.

За каждой из этих машин стоит ежемесячный взнос в восемьсот или девятьсот эскудо, увеличивающиеся до невозможности счета, которые оплачиваются в последний час последнего дня, поездки на пляж Капарика и Сан-Жулиан-да-Барра и... толстые жители Алентежу, всегда готовые оплатить еще одну бутылку шампанского "Байрада", еще две-три порции виски плохого качества, еще одну квартиру в Арейру, еще пару туфель голубой, желтой либо фиолетовой кожи, но всегда на очень высоких каблуках и с очень острыми носами...

Оглядываюсь по сторонам и начинаю ощущать безграничное презрение к этой повседневности. Чувствую чисто физическое отвращение, не привязанное к чему-то конкретно, меня тошнит, меня сейчас вырвет на стену.

Решаю войти в кабаре и выпить что-нибудь. Решаюсь сделать над собой усилие и принять этот мир, который я не хочу принимать.

Но кем же я себя считаю? Мне кажется, я лучше, чем другие? Лучше чем те, кто возят подруг на пляж Сан-Жулиан-да-Барра, делают стойку на руках и играют в футбол, бегают

взад и вперед и очень громко говорят, опасаясь, как бы их не приняли за слабаков.

Неужели я лучше, чем эти типы на "зингерах" у входа в кафе?

Спускаюсь по лестнице и сажусь за столик в одном из тех заведений, которые безуспешно пытаются воспроизвести атмосферу сотен других подобных заведений в Париже, Риме и Лондоне.

Сидящий в углу оркестр наигрывает мелодию, судя по всему, бразильского происхождения.

В центре зала танцует супружеская пара. Она могла бы быть покрасивее, а он носит неизбежные усы и неизбежный серый пиджак pied de puole, который в Португалии превратился в униформу всех юнцов, любителей ночной жизни. Оба танцуют, прибегая к сложным и заученным движениям. Оба выглядят завсегдатаями кабаре. Оба считают, что принадлежат к высшей знати.

Меня охватывает бесконечная усталость, причину которой я не понимаю.

Заказываю порцию виски.

По лестнице спускается компания парней и девчонок. Парни идут впереди, выполняя свою обязанность мачо — проверить, насколько тут благоприятна атмосфера для девушек, идущих вслед за ними. Девушки нарочито громко смеются над словами одной из них, сказавшей, что было бы лучше пойти домой к одному из парней, где, по крайней мере, можно послушать хорошую музыку.

Они начинают рассаживаться. Друг, у которого в доме хорошая музыка, естественно, среди них. Все они делают вид, что зашли сюда случайно, просто из спортивного интереса, а на самом деле они знают заведения, где могли бы развлечься и получше, если бы того захотели. Надо заметить, они никогда не ходят в те заведения, где могли бы развлечься получше...

Мне не нравится эта игра, в которую я сам с собой постоянно играю: угадывать заранее, что люди скажут, и угадывать заранее, когда они начнут улыбаться.

Я боюсь заполучить комплекс превосходства. Почему, однако, я никогда не проигрываю в этой игре? Почему люди всегда говорят и делают то, что я предвижу? Почему же...

Заказываю еще одну порцию виски.

Рядом с мной садятся две супружеские пары, которые только что вошли.

Я не хочу слушать их разговор, но избежать этого не удается.

Мужчины отличаются от тех, кто уже находится в зале. У них нет усов, и они не одеты в униформу кабаре.

Один из них, тот, кто постарше, объясняет другому:

— Не переношу я все это. Не понимаю, зачем мы пришли сюда.

Другой отвечает:

— А что ты хочешь? Когда женщина что-нибудь вобьет себе в голову, тут ничего не поделаешь, и ты хорошо знаешь, что наши жены не оставили бы нас в покое, пока не увидели бы кабаре. И это еще одно из лучших...

— Замечательно, но представь себе, что сюда войдет кто-нибудь из знакомых...

— Мы только вошли и через полчаса уйдем, потому что вынести это можно полчаса, ни минутой больше.

— Что до меня, я бы ушел прямо сейчас. От одной мысли, что я кого-нибудь встречу и завтра на улице он подмигнет мне, у меня волосы встают дыбом.

Они относятся к тем, кто дергает за веревочки. Они держатся свободно, им даже не нужно показывать, кто они есть. Внезапно у меня возникает сильное желание смутить их и заставить спуститься с пьедестала.

Я оборачиваюсь к тому, кто боится встретить здесь знакомого, а потом его же встретить на улице, и улыбаюсь ему. Он улыбается мне. Я смотрю ему прямо в глаза и подмигиваю с таким видом, как будто знаком с ним много лет и принадлежу к его кругу. Он пугается. Отворачивает лицо и притворяется, что ничего не заметил. Проходит четверть часа. Они уходят.

Выпиваю еще порцию виски.

Съедаю еще одну изюмину.

Рядом со мной садится молодая девушка в черной юбке и желтой блузке, призванной самым выгодным образом подчеркнуть привлекательность ее грудей, своими очертаниями и размерами напоминающими тыквы.

Я встаю и поднимаюсь по лестнице. Официанты прощаются со мной, отвешивая преувеличенно вежливые поклоны.

На улице холодно.

Из служебных дверей театров выходят хористки, которым, если присмотреться к ним поближе, не хватает витаминов.

Их ожидают невысокие и худые субъекты, в брюках, суженных у лодыжек и в туфлях с острыми носами. Они уезжают по Авениде в “зингерах”, “MG” и на сиденьях из кожи леопарда новеньких “ламбретт”, таких новеньких, что за них выплачен еще только третий или четвертый взнос.

Две машины остались.

Это черный “кадиллак”, молчаливо стоящий у тротуара. Шофер выходит и открывает дверцу. Две хористки садятся в машину, но вторая перед этим целует шофера в щеку. Он улыбается и говорит что-то, чего я не понимаю. Ясно, что между ними товарищеские отношения, как у слуг одного хозяина.

Ночь холодна. На небе ни облачка.

Я смотрю на небо и вижу звезды, насколько хватает глаз.

Даже в гостинице я просыпаюсь в восемь часов. Я встаю, однако ехать в офис не могу: есть риск, что Фернанда приедет туда и поймет, что я не покидал Лиссабона.

Я спускаюсь по улице Оуру и вхожу в парикмахерскую.

Ко мне подходит полная маникюрша с крашеными волосами и берет меня за руку. Говорит, что необходимо привести мои ногти в порядок. Отказываюсь от ее услуг и сажусь в кресло. Пока меня бреют, парикмахер беседует со своим коллегой. Рассказывает о своей поездке в Мадрид.

“Да, это город так город!”

Я откидываюсь на спинку кресла и закрываю глаза. Разговор доносится до меня издалека. Теперь они говорят о маникюрше, которая уволилась месяц назад.

— Ах, если бы я был женщиной... Ты только посмотри на Линду. Я ходил с ней в кино. У нее есть все, что захочешь: квартира в полном порядке, телевизор, служанка, машина у подъезда... Похоже, что господин доктор подарит ей “карманн-гиа”[1]... Что еще можно ждать от жизни?

— В будущем этих крошек всегда ждет одно и то же...

— Будущее? Какое будущее? Когда наступит будущее, ее счет в банке будет такой, что переживет пять денежных реформ... В любом случае не стоит думать, что она долго останется с этим доктором... Ты увидишь, она далеко пойдет... Ну почему я не женщина? Сейчас у меня уже был бы “карманн-гиа”.

На Террейро-ду-Пасу дон Жозе бесстрастно ожидает прибытия автомобилей, которые привозят их владельцев в конторы.

На набережной видны ручейки людей, выходящих из судов, прибывших с другого берега реки. Они пересекают площадь и исчезают в переулках в районе улицы Аугуста.

Я больше так не могу. Я должен поговорить с Фернандой. Я должен найти какое-то решение, решение, достойное нас обоих. Почему мы должны жить вместе? Будет лучше еще раз

1. Спортивная модель автомобиля марки “Фольксваген”.

переговорить с адвокатом. Должно же существовать юридическое решение этой проблемы.

А может, поехать в Рим? Но с какой целью?

Я возвращаюсь назад и вхожу в кафе "Центральное" в Байше. Звоню адвокату и назначаю время встречи. Теперь, когда он знает, что я промышленник и у меня есть фабрики, я без всяких затруднений договариваюсь о встрече и мне не нужно ждать, когда закончится совещание с генеральным директором.

Эта повседневная игра убивает человека, разрушает его изнутри, не позволяет ему оставаться самим собой, но что делать?

Если я не буду участвовать в игре, я буду выкинут из нее...

Обедаю в "Флорешта ду Жингал". Аппетита нет. Однако я нахожу садисткое удовольствие в пережевывании жесткого бифштекса и плохо прожаренной картошки. Та моя половина, что носит галстук в полоску, любит унижать другую половину, настоящую. Бифштекс жесткий? Ешь его, болван. Все притворяешься, что ты не такой, как другие, что у тебя есть душа и достоинство. Все играешься, как подросток, только что закончивший лицей. Но посмотри вокруг себя: мир не создан для подростков. Ты хочешь развестись с Фернандой? Смирись, прими свою участь, ешь свой бифштекс, хвали его, как это делают все остальные, склонись, войди в эту игру... Мир принадлежит тем, кто умеет играть, идиот, а не подросткам и чистоплюям... Играй в эту ежедневную игру, болван. Ты всегда сможешь утешиться мыслью, что ты, по крайней мере, отдаешь себе отчет в том, что речь идет об игре...

Но если я буду отдавать себе в этом отчет, я уже не смогу войти в игру, не потеряв всего, что я ценю, не потеряв частичку самого себя.

Забудь свои фантазии, идиот...

•

Поднимаюсь по лестнице адвокатской конторы, нацепив галстук в полоску. Адвокат сразу же принимает меня.

Адвокат: Присаживайтесь, мой друг, присаживайтесь... Я размышлял над вашей проблемой и считаю, что есть только один способ помочь вам — надо получить решение о признании вашего брака недействительным. Это нелегко, но успешные случаи были...

Человек в галстуке в полоску: Я рассматривал такую возможность, но у меня нет оснований, необходимых для признания брака недействительным.

Адвокат: Ну, мы должны изучить вопрос более тщательно, и я уверен, что мы найдем такое основание. Настоящее основание, естественно... Как вы уже должны были понять, я

не тот человек, который может рекомендовать или даже допустить решение аморальное и несправедливое...

Человек в галстуке в полоску: Ради Бога, господин адвокат! Всем известно, что вы за человек, ваша честь... И говорить об этом не будем... И я тоже не хотел бы ничего подобного...

Адвокат: Естественно. И я считаю, что вам бы следовало подумать над обоснованием. Как только вы придете к какому-либо решению, приходите ко мне и мы обсудим, что можно сделать. Я честно должен предупредить вас, что буду вынужден пригласить моего коллегу, потому что я не веду дел в канонических судах.

Человек в галстуке в полоску: Вы, ваша честь, поступайте, как сочтете нужным.

Адвокат: Вчера я подготовил вам список обоснований, которые, по моему разумению, могут подойти для вашего случая, но, естественно, решение принимаете вы... Именно вы знаете, что произошло...

Он передает мне конверт.

Бегом спускаюсь по лестнице. Ничего подобного я не хотел, ничего подобного. Выбрасываю галстук в полоску.

Я вхожу в свою спальню вечером, доедая последние изюмины из пакета. Все, больше не осталось. Больше не осталось. Я устал. Мне не хочется идти покупать очередной пакет.

Открываю дверь в спальню.

Вхожу и вижу Фернанду. Она лежит на моей кровати.

Похоже, она спит.

Будет лучше, если я пойду спать в ее спальню. Я отступаю на цыпочках, стараясь не разбудить ее, но, как только я касаюсь двери, она окликает меня.

— Это ты?

— Я, только что пришел. Очень устал.

— Тогда ложись.

Я сажусь на край кровати.

К счастью, занавески закрыты и светящиеся надписи "Ипотека" и "Кредиты на покупку автомобилей" остались за пределами спальни. Чувствую, что наступил благоприятный момент для разговора с Фернандой.

— Что ты делаешь в моей постели?

— Я подумала, после того, что случилось в прошлый раз... Во всяком случае, я решила попытаться.

— Но ты не понимаешь, Фернанда, то, что ты делаешь, — это форма проституции и ничего больше! Каждый раз, когда ты входишь в мою спальню и ложишься в мою постель, ты проституируешь.

— Проституирую?! Я! Да ты с ума сошел? Ты уже забыл, что мы женаты?

— Женаты? Ты называешь браком то, что происходит между нами? Нет, я утверждаю, то, что ты пришла и легла в мою постель — это форма проституции. И ничего больше.

— А в прошлый раз? Тоже форма проституции, как ты говоришь?

— Фернанда, то, что произошло в прошлый раз, — это позор для нас обоих. Мы уже находимся в достаточно зрелом возрасте, чтобы понять разницу между любовью и жалостью, между правдой и ложью...

— Так ты спал со мной из жалости?

Фернанда сидит на кровати и смотрит прямо на меня. Когда разговор доходит до этой точки, высший акт жалости состоит в том, чтобы сказать правду.

— Действительно, я спал с тобой из жалости, Фернанда, или из дружбы. Можешь называть это, как хочешь. Это ничего не изменит.

Мы оба замерли, глядя друг на друга. Мне безгранично жаль Фернанду. Я хотел бы погладить ей волосы, взять ее за руку как ребенка и дать ей шоколадку.

Молчание нарушает она:

— После всего этого уже не стоит ничего говорить. Несколькими словами ты покончил со всеми моими надеждами. Что ты хочешь, чтобы я сделала?

— Не знаю, Фернанда, я не хочу делать ничего, что могло бы тебе навредить. Я знаю, что ты не хочешь возвращаться к родителям, и считаю, что мы можем найти решение, достойное нас обоих. Сейчас я не знаю, каким может быть это решение, хотя я уже столько времени думаю лишь об этом...

— Ты же знаешь, что я не хочу разводиться с тобой официально. Во-первых, я не давала тебе повода для этого и, во-вторых, я не теряю надежды вновь завоевать тебя... Но я тоже не знаю, что мне делать... После жизни с тобой невозможно возвратиться в тот мир, где живет моя мать, с чаепитиями и партиями в канашту[1], с разговорами о платьях, с лицемерием, но, с другой стороны, я не так воспитана, чтобы зарабатывать себе на жизнь...

— Тебе не нужно зарабатывать на жизнь, Фернанда...

— Ты ошибаешься. Для меня неприемлемо жить за твой счет, как если бы... как если бы я была одной из этих, уличных. Наша совместная жизнь уже никогда не даст мне прий-

1. Карточная игра.

ти в себя. Я уже не принадлежу к миру моей матери, но я не принадлежу и ни к какому другому миру...

— Может быть, мы сможем признать наш брак недействительным, Фернанда, в Риме. Сегодня адвокат сказал мне, что...

— Даже и не думай! Я не готова лгать и не хочу идти против себя. Моя вера — это не только слова.

— Думаю, будет лучше решить этот вопрос завтра. Когда мы успокоимся.

— Хорошо. Поговорим завтра. А ты знаешь? Моя мать говорила, что она воспитала меня для брака, а не для того, чтобы я зарабатывала на жизнь, потому что именно брак и есть предназначение "дам". И я спрашиваю себя, действительно ли я была воспитана для брака... Ты считаешь, что это я потерпела неудачу?

— Ни ты ни я, Фернанда. Возможно, из нас двоих именно я потерпел неудачу. Если бы я мог приспособиться к игре, все могло бы пойти по-другому. Твоя ошибка состоит в том, что ты вышла за меня замуж...

— О какой игре ты говоришь?

— О той запутанной игре, в которую мы все играем и которую я ненавижу.

Фернанда выходит из спальни. По ее глазам вижу, что только что совершил преступление. Я убил что-то, что вряд ли смогу оживить. Убивать что бы то ни было ужасно.

Я ложусь, но засыпаю с большим трудом. Взгляд Фернанды будет преследовать меня всю жизнь.

Завтра я куплю большой пакет изюма и буду хранить его в спальне.

Вскакиваю с постели в восемь часов. Не побрившись, спускаюсь по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки. Я хочу купить изюм и передохнуть. Мне абсолютно необходимо подумать перед тем, как вновь говорить с Фернандой.

Какого черта я могу ей предложить?

Но поразительно, что она в конце концов согласилась попытаться вместе со мной найти решение.

Есть ли честный и достойный нас обоих выход?

— Взвесьте мне 250 граммов изюма.

— Восточного?

— Нет. Если бы я хотел восточного, то я бы так и сказал.

Куда бы мне пойти?

Надо подумать.

Я спускаюсь до набережной Содре почти бегом. Мной овладевает необъяснимое желание идти быстро. Чувствую, что необходимо срочно найти решение.

Сажусь за столик в кафе "Рояль". Заказываю чашечку кофе и покупаю газету. Читаю ее из соображений самодисциплины. Заставляю себя читать медленно, чтобы успокоить нервы. Если не успокоюсь, то никакого решения мне не найти.

Первая страница "Диариу дэ Нотисиаш" полностью посвящена Луне и людям, которые летят на Луну, по крайней мере, они говорят, что летят на Луну.

Мне смешно. Газеты для детей во времена моего детства всегда рассказывали о межпланетных путешествиях. Сегодня этим занимаются газеты для взрослых.

За каким чертом людям понадобилось лететь на Луну?

До сих пор у них не получилось организовать достойную жизнь на Земле, а они на Луну собрались.

Официант приносит мне кофе. Разжевываю одну изюмину, пока размешиваю ложечкой сахар в чашке.

Внезапно одна заметка в углу полосы привлекает мое внимание.

Вчера вечером, когда я разговаривал с Фернандой, первый радиоуправляемый аппарат достиг Луны.

Человечеству удалось одержать первую победу в борьбе за космос в то время, как я безуспешно пытаюсь спасти свою жизнь.

Не знаю, что и подумать.

Действительно не знаю, что и подумать.

Допиваю свой кофе.

Они что, не понимают, что все так и будет продолжаться?

Неужели все так и будет продолжаться?

Неужели люди не в состоянии просчитать последствия своих собственных поступков?

Как можно выиграть сражение за космос, если проигрываешь бой за повседневную жизнь?

Тысячи боев за повседневную жизнь?

Я не голоден, но наступило время обеда.

Я заказываю каких-то моллюсков, они оказываются совершенно безвкусными, но я жую их, чтобы убить время.

Чем больше я думаю, тем больше понимаю, что не нахожу никакого решения для Фернанды и для меня. Я устал ходить. Не стоит мне идти к адвокату. Либо я сам найду решение, либо никто не найдет его за меня.

Плачу по счету и ухожу.

Я весь день пытался найти достойное решение и не нашел ничего такого, что меня бы устраивало.

Я поднимаюсь по улице Мизерикордья.

У меня кружится голова.

Мимо меня движутся люди и автомобили, и это непрекращающееся движение только усиливает мое головокружение.

Когда приду домой, я прилягу отдохнуть. С Фернандой и говорить не буду.

Что я могу ей сказать?

Может быть, завтра...

Дай Бог, чтобы дал Бог.... Где я это слышал?

Смотрю на небо. Там наверху Луна, к которой Человек уже сделал свой первый шаг. Там уже есть что-то с Земли, что-то сделанное человеческими руками, что-то, что выражает наше непреодолимое желание побеждать.

Когда мы переезжаем в новый дом, принято подмести полы и очистить стены в старом доме. Может быть теперь, когда Человек овладеет другой планетой, он решит повнимательней посмотреть на Землю и привести ее в порядок, так, чтобы на ней можно было жить без притворства и всех этих условностей, просто, достойно и по-человечески.

Может быть...

Дай Бог, чтобы дал Бог...

Но это будет уже не при моей жизни, у меня даже детей нет, — они могли бы воспользоваться приведением нашего дома в порядок.

Иду по нашей улице.

Тут, видимо, какой-то праздник — перед нашей дверью я вижу множество машин.

Я действительно очень устал.

С другой стороны, я покорился своей судьбе.

Делать нечего.

Наша проблема, моя и Фернанды, не имеет решения. Она увязана с другими проблемами.

Возможно, у нее нет решения сейчас, при моей жизни, а потом, кто знает?

Медленно поднимаюсь по лестнице и открываю дверь.

У нас гости.

Возможно, что это одна из уловок Фернанды. Она могла пригласить гостей только для того, чтобы избежать разговора, о котором мы вчера условились.

Вхожу в гостиную и вижу тестя и тещу, сидящих на диване в траурных одеждах и с соответствующим выражением лиц.

Я приближаюсь к ним, но тесть меня опережает. Он падает мне на грудь, рыдая.

Какого черта все они пришли?

Может, они поняли, что означает эта новость об освоении Луны? И поэтому плачут? Они в трауре по себе самим?

Ясно, что нет.

Не могу допустить, чтобы мое воображение овладело мной.

Поверх плеча тестя, который продолжает плакать у меня на груди, я вижу тещу, которая встает и приближается ко мне.

Выражение ее лица максимально жесткое. Такое выражение она приберегает для тех случаев, когда она хочет показать мне, что я не просто жалкий притворщик, что мне не удастся ее обмануть, хотя я одет, как сеньор, и женился на ее дочери.

Какого черта здесь происходит?

У меня появляется предчувствие, что произошла какая-то неприятность. Это предчувствие появилось внезапно.

А где же Фернанда?

Тесть отпускает меня и продолжает тихо плакать около меня, опустив руки.

Наконец моя теща нарушает молчание.

— Очень хорошо, что вы наконец пришли. Мы ищем вас с четырех часов.

— Почему? Что случилось? Где Фернанда?

Тесть сжимает кулаки и начинает плакать еще громче.

Где же Фернанда?

Слышу голос тещи, жесткий, как январский ветер:

— Фернанда там, где вы больше не сможете ее потревожить.

Внезапно я все понимаю.

Фернанда умерла.

Я не знаю, что произошло, ничего не знаю, но только знаю, что я больше ее никогда не увижу.

Теща продолжает говорить своим жестким, как январский ветер, голосом, который гнет деревья и уничтожает урожай:

— Вы слышали? А если не слышали, то послушайте хорошенько, что я вам скажу: Фернанда сейчас в хорошей компании, и вы больше не сможете ее побеспокоить.

Я открываю глаза и вижу ее перед собой, одетую в черное, суровую и жесткую, смотрящую прямо мне в глаза.

Она делает два шага и протягивает мне сверток:

— Это последний подарок от Фернанды, возьмите его, это для вас. Вы знаете, куда она шла, когда ее сбила машина? Не знаете? Так вот знайте...

Она протягивает мне руку и внезапно ее рука падает. Она склоняется и начинает судорожно рыдать.

Пакет, который она держала в руке, последний подарок Фернанды, ударяется о ножку стола и разворачивается.

Изюм рассыпается по полу.

Некоторые изюмины докатываются до моего ботинка.

Я поворачиваюсь спиной и выбегаю в коридор. Вдоль стен стоят люди.

Вхожу к себе в спальню.

Открываю окно, обе створки.

Фернанда погибла!

А еще есть люди, не верящие в Бога!

Бог! Но... о чем я думаю? Неужели я благодарю Бога за свободу, завоеванную таким образом?

До чего только может дойти человек?..

Что же эта жизнь делает с нами!

Фернанда пошла за изюмом для меня, и этот изюм рассыпался по полу и докатился до моих ботинок.

Я падаю на кровать с чувством безграничного отвращения к самому себе.

Мужчины не плачут.

Мужчины не плачут.

Энн Энрайт

Рассказы из сборника “Вчерашняя погода”

Перевод с английского Александра Авербуха

Шахта

Лифт был крошечный, в сущности, деревянный ящик на тросе. Где-то вверху гудел двигатель и, двигаясь в шахте многоэтажного здания, вся конструкция поскрипывала.

Едва войдя, я уже знала, что он хочет потрогать.

Я стала так, чтобы его не стеснить, — при моих габаритах это не так-то просто. Потом, конечно, поняла, что забыла нажать кнопку нужного этажа. Пришлось снова его побеспокоить, почти развернуться — мешал мой шарообразный живот, находившийся между нами. Пока доехали до седьмого этажа, я уже вся покрылась испариной.

Знаете эти бакелитовые кнопки в лифте — они легко нажимаются и после нажатия остаются в утопленном состоянии. А если кто-то уже нажал вашу кнопку, то ваш палец, пытаясь нажать ее еще раз, чувствует себя довольно глупо. Поэтому кнопку с цифрой семь я всегда нажимаю, предвари-

© 1989, 1991, 2008 Anne Enright
© Александр Авербух. Перевод, 2016

тельно подумав. И пока думаю, мне приходит в голову, что этот чертов лифт может поехать куда угодно.

– О, простите, – сказал он, хотя извиняться было не за что. Американец. В костюме. Довольно высокий.

– Виновата, – сказала я. Естественно, виновата, как же мне да не быть виноватой?!

Кнопка залипла с тихим щелчком, какой бы этаж ему ни был нужен – все равно не мой. Он привалился к стене в дальнем от входа углу, и мы стали ждать, пока закроются двери.

Чертов лифт. Шесть раз на дню, если не больше, езжу вверх и вниз в этой коробке, и всякий раз жду, пока машина решит, что ей делать. Жду, пока она надумает. Потом осматриваю здание из шахты – этаж за этажом. Оно такое древнее, что ему очень пошли бы скрипучие решетчатые ворота, как в фильме о загадочном убийстве. (А в нем буду играть я, блондинка с перманентом, волосы светлые-светлые, уложены волнами, а американец – это тоже будет показано в фильме – уходя из дому, возьмет с собой короткоствольный пистолет.) Но решетчатых ворот здесь нет, а есть две металлические створки, невероятно тяжелые, они пощелкивают и вроде бы поддаются усилию того, кто хочет пройти, но потом передумывают.

Я тихо, вежливо вздыхаю, как бы говоря “Ну вот, значит, стоим мы тут с вами”, и украдкой посматриваю на него. Оказывается, он разглядывает мой живот. Это бывает. Я немного моргаю и изображаю улыбку, самую, как мне кажется, подходящую для беременности, мимолетную и свидетельствующую о том, как я переполнена чувством, суть которого можно было бы передать словами: *Как же удивительно все устроено природой, не правда ли?!* Последнее время у меня от кожи пахнет овощным супом. Вполне доброкачественным, но все же супом – понимаете? Я же вам говорю: беременность – это особое состояние, тут все совершенно непривычно.

Он переводит взгляд выше, смотрит мне в лицо и улыбается. Двери немного приподнимаются в пазах, но потом передумывают. Очень серьезные ресницы. Такие были бы вполне уместны в спальне.

– Ну, и когда же счастливый день? – спрашивает он.

Как будто это его касается. Как будто мы знакомы. Беременная, вы – общественное достояние, законный объект сочувствия и расспросов.

– А, здравствуйте-здравствуйте! – говорят вам в магазине. – Как у *нас* сегодня самочувствие?

Как будто весь мир теперь – сплошная Америка, и вот вам ее типичный откормленный кукурузой представитель, кото-

рый может ехать, куда захочет, без ограничений, а сейчас стоит в хорошем костюме и интересуется моими сроками.

— Что вы имеете в виду? — хочется спросить у него. — Да меня просто пучит. — Или: — Кто вам сказал, что день будет счастливый? Он может стать самым несчастным в моей жизни. Буду вопить от боли или, например, истекать кровью, может, даже умру.

— О, — я смотрю на свой живот, как будто только что его заметила. — Вы об этом? Еще шесть недель.

— Ура! — говорит он в ответ. Будто выступает в группе поддержки спортивной команды. Я уж подумала, что он вот-вот игриво похлопает меня по руке, как бы говоря, "Дерзайте, милочка!"

Поворачиваюсь и нажимаю кнопку "Закрывание дверей". По крайней мере, мне кажется, что именно эту кнопку, хотя, на самом деле — "Открывание". Вечно путаю эти обозначения, какие-то треугольники. И двери, которые ровно в этот момент стали было закрываться, спохватываются — ой! — и начинают раздвигаться.

Мы смотрим из лифта на тесноватую лестничную клетку. Там по-прежнему пусто.

— Ну, удачи! — говорит он и издает смешок типа "ха-ха", покачивается на каблуках, а я тем временем нажимаю — на этот раз правильно — другую кнопку, на которой изображены треугольники, вершинами обращенные друг к другу.

— Ладно, — говорят двери, — теперь закроемся.

Несколько лет назад их выкрасили густой глянцевой краской. До сих пор видны параллельные следы, оставленные волосками кисти. Такую коричневую краску широко использовали в семидесятые годы. Двери закрываются, сталкиваются, тихонько вздыхают, и вы начинаете разглядывать на них места с облупившейся краской или длинный белый волос, оставшийся от кисти и присохший, в форме буквы S. Стоите в трех дюймах от незнакомого человека и ни о чем не думаете. Лифт же между тем соображает, ползти ему вверх или вниз.

Ох уж эти мне принятия решений!

Удачи в чем? Удачи в труде? В ближайшие сорок лет?

Лифт ползет вверх.

— Да, удача не помешает, — говорю я.

Раньше в этом доме помещался отель. Иначе я не знаю, как объяснить, что стены лифта покрыты ковром, настоящим зеленым ковром, до линии чуть пониже потолка, которую я бы назвала верхней панелью. Над ней расположена полоска зеркала из темного стекла, в котором пассажиры отражаются желтыми или, по крайней мере, загорелыми.

Лампочка в лифте настолько слабенькая, что в ее тусклом свете они выглядят совсем неплохо. Кроме того, в это зеркало можно беспрепятственно разглядывать соседей. Или свое отражение, а в это время остальные наблюдают, как вы себя изучаете. Иногда вы встречаетесь с ними глазами. Прямо друг на друга почти никто не смотрит. Я имею в виду, что трудно противостоять желанию посмотреть в зеркало, и мало кто смотрит на стоящих рядом непосредственно через разделяющее пространство. В зеркало – другое дело.

Или в зеркала. Они отражаются друг в друге, ведь все стены лифта, кроме той, в которой расположена дверь, отделаны зеркальными полосками. Так что вы можете встретиться взглядами с другими пассажирами в любом количестве отражений, расходящихся веерами, как крылья, по обе стороны от вас. Американец в углу окружен моими разбросанными животами, но упорно смотрит на единственный, реальный, их породивший.

"Нет, нельзя, – думаю я. – И не думай".

Во всяком случае, я выгляжу сейчас очень странно. Неправильно оцениваю расстояния, и мое отражение приближается ко мне слишком быстро. Такое ощущение, что я налетела на что-то, хотя стою совершенно неподвижно. Руки американца оказались у меня по бокам. Левой он держит "дипломат", а правая медленно разжимается.

И тут, слава Богу, лифт останавливается. Третий этаж. Звякает колокольчик.

– Все будет хорошо, – это как бы на прощание. Двери открываются, но он не выходит. На лестничной площадке никого нет. Двери надолго застывают в открытом состоянии, а мы все это время смотрим в дверной проем. Потом они закрываются, и мы вновь остаемся вдвоем в замкнутом пространстве. Становятся слышны звуки окружающего нас здания и наше дыхание. Лифт же некоторое время не делает ровным счетом ничего.

Я всегда смотрю людям в глаза. Понимаете? Вот такая я. Даже если передо мной человек с ограниченными возможностями или в нем есть что-то странное – я все равно смотрю ему прямо в глаза. И если один глаз поврежден, я смотрю в здоровый, потому что в глазах почему-то видна душа. Или что-то такое. По-моему, этого просто требуют правила хорошего тона. Но это верно не всегда. Некоторые хотят, чтобы смотрели на их тряпки, а не на них самих.

Однажды встретила я на улице трансвестита. Я знала его мать, и вот передо мной его красивые глаза, карие, несмотря на всю эту тушь для ресниц и тени для век. Ну, я не знала, ку-

да еще смотреть, кроме глаз, но еще мне, наверно, хотелось с ним поздороваться. С *ним.* С парнем, которого я вообще-то раньше знала. Но, разумеется, он хотел совсем другого — чтобы я похвалила его платье.

Или возьмем, к примеру, Джима, моего друга, у которого рассеянный склероз. Как-то мы с ним встретились и разговорились. И вдруг я ловлю себя на том, что говорю быстрее обычного, просто тараторю, потому что хочу говорить с ним самим, а не с его заболеванием. Он при этом сползает по стене прямо передо мной, а я: ля-ля-ля, ля-ля-ля. Тут какой-то незнакомый человек ему говорит:

— Может, хотите, я вам стул поставлю?

Я бы предпочла, чтобы этот американец смотрел на меня, вот и все. Даже если бы я сползала перед ним по стене с зеркалом, если бы стала рожать прямо на полу лифта. Я бы предпочла, чтобы он смотрел на меня, на личность, душу которой можно увидеть у меня в глазах. Вот и все. Я кладу руку на живот, чтобы успокоить ребенка, который сейчас затих, сосредоточился на приятных ощущениях от поездки в лифте и, как это обычно с ними бывает, молчит. Но иногда, когда врачи лезут туда со своими иголками и другими инструментами, там случайно остается пузырек воздуха, и, благодаря ему, вы слышите, как ребенок плачет, — действительно, слышите. Где-то я это читала. Плачет, должно быть, от беспросветного одиночества.

— Мы тут просто застряли, — так бы мне хотелось сказать ребенку.

Но что это, черт возьми? Во вторник утром этот парень в лифте по пути с первого этажа на седьмой рассматривает мой живот, а я почти ни о чем не думаю. Или думаю обо всем. Да, я думала обо всем. Я, для начала, думала о жизни нового человечка, о том, что у нас на него, по большому счету, нет денег. Мне надо беспокоиться обо всем этом, о новом человечке, обо всей вселенной, но, разумеется, все это "пустяки". "Ты изводишь себя по пустякам", так говорит мой муж. Все, о чем я думаю, для него либо слишком ничтожно, либо непомерно велико.

Разумеется, он прав. Да, я кое-что поднимаю с пола, потому что иначе *мы будем жить, как в сточной канаве.* Я убираю подальше призовые жетоны из супермаркета, потому что, если они потеряются, *наш ребенок не сможет поступить в колледж.* Мой муж, с другой стороны, живет в таком месте, где ничего с пола не поднимают, и, тем не менее, все прекрасно. Что должно быть замечательно.

— Это совершенно естественно, — говорит он, когда я рассказываю ему о выступающих у меня на ногах венах или — по-

моги нам, Господи! — на заднице. Но иногда, по-моему, он хочет сказать, "Мы ведь всего-навсего, знаешь ли, животные". А иногда, мне кажется, он имеет в виду: "А ты особенно. Ты всего-навсего животное".

Когда проезжаем пятый этаж, я впиваюсь зубами в сэндвич. Ростбиф, непрожаренный, с хреном. Вот, прежде всего, почему я оказалась в лифте — я выбралась из дому и вразвалочку пошла в поисках чего-нибудь — о Боже! — вкусненького. Я поднимаю подбородок, чтобы путь пищи по пищеводу стал несколько длиннее — так мне будет приятней, и, вероятно, это заставляет его сделать короткий выдох, как будто он почти смеется. Повод для меня вполне достаточный, чтобы — с набитым ртом — наконец, посмотреть на него.

— Ну, вот это уж точно прекрасно, — говорит он.

Этот американец смеется надо мной, потому что я не могу сладить со своим аппетитом. И потому, что вид у меня такой глупый и нелепый.

— Вы не против? — говорит этот человек, которого я вижу впервые в жизни. — Можно потрогать?

Я чувствую, как вздрагивает у меня под ногами лифт. Рот все еще полон непрожеванного мяса. Но он уже протягивает ко мне руку. Вид у руки такой, как бывает на рекламных плакатах, например, на той старой рекламе сигарет "Ротманс", вид, пожалуй, неестественно безупречный, как будто кожа покрыта фальшивым загаром. Я поворачиваюсь к нему, вернее, неуклюже разворачиваю к нему ребенка. И смотрю не в лицо, а в пол и немного в сторону.

Хочется сказать: "Кто за все это заплатит"? Или: "Кто будет его любить?" Или: "Как, по-вашему, ему там одиноко?" Мне действительно хочется все это спросить. Я проглатываю мясо, открываю рот, собираясь заговорить, и тут лифт останавливается, и он кладет руку мне на живот. Прикасается к самым моим сокровенным надеждам.

— Спит, — говорю я.

Двери раздвигаются. А мы так и стоим: он — положив руку мне на живот, а я — глядя в пол, как какая-нибудь рабыня. И думаю о его ресницах. И о том что, независимо от того, чем бы во время беременности ни занималась, во что бы ни одевалась и какую бы прическу ни делала, все равно выглядела лохушкой. И о том, что мною воспользовались.

— Спасибо, — говорит он. — Знаете, это самое прекрасное. Самое прекрасное, что может быть на свете.

Что ж, так ведь и следовало сказать, верно?

Что такое цикады?

ХОЛОДНЫЕ женщины, управляющие машиной так, будто сцепление – шепоток, а рукоятка переключения передач – забава. Подкатывают к заправочной станции, выставляют в окно руку с болтающимися на пальце ключами и говорят служащему, от которого пахнет американской мечтой:

– Полный бак.

Они живут на гасиендах с пожилыми мужьями, за домом воняют клетки с бройлерами, по праздникам ездят на Крит, напиваются, утыкаются официанту в белую куртку и твердят "Я люблю тебя, Ставрос!", хоть зовут его Пол. Выезжают в сельскую местность, где живых изгородей больше, чем полей, и пугаются живости своих снов.

Но пусть машины проносятся мимо, а мы останемся со служителем бензоколонки, с плачущим носиком его "пистолета" на конце шланга, из которого на бетон сочится безмолвное унижение, с запахами бензина, навоза и ясного неба с его четко очерченными облаками. Снизу крыша бензозаправочной станции у него за спиной разбита на треугольники, и, когда он переводит взгляд от одного ее дальнего угла к другому, ему кажется, что они поворачиваются. В помещении на полке в стене лежит старая выхлопная труба, в черном пространстве над дверью висит отвердевшая от паутины бейсбольная кепочка. В полу вырыта могила, в которой, ковыряя в днище машины, стоит хозяин со штормовым фонарем. В густом белом свете, кругами расходящемся от окна, через равные промежутки в камень вделаны кольца, к которым привязывали давно уже несуществующих коров.

У него есть приемник на транзисторах. У него есть пишущая ручка из Испании с сеньоритой на корпусе, которая скользит мимо тореадора и быка и останавливается у кнопки, ждущей нажатия его пальца. У него есть шляпа, в которой он ходит только у себя в комнате.

Он – впечатлительный молодой человек.

Что такое цикады? Шум ли они во тьме, когда поворачивается вентилятор и тени на стене совершают убийство? И могут ли цикады цвести? И гуляют ли люди по лесам, давая себе обещания, тогда как "цикады" трубят повсюду о себе красным цветом?

Этот вопрос он задает своему отцу, голос которого пахнет смертью так же, как голос матери – тревогой и хлебом.

Они смотрят в словаре.

— Cicatrize[1], — говорит отец, который всегда отвечает не на заданный вопрос, а на какой-то другой. — Заживлять, метить шрамом. Я всегда полагал, что есть только одно слово, объединяющее противоположности, а именно?.. Рассекать, рассекать на части мечом, оно же — привязываться, например, к верному другу. Если бы ты был постарше, мы бы обсудили с тобой однокоренное с этим слово "ложбинка" или стакан, который наполовину пуст или наполовину полон. Или, может быть, займемся нашим тортом и в конце концов съедим его.

В детстве он как-то спросил, что такое позывные.

— Позывные, — сказал отец, — это песня молодого лебедя, такого, как ты. Может быть, захочешь посмотреть на него.

Ответ он искал в зеркале. Но его глаза выглядели, как его глаза, и для них не было слов вроде "счастливые" или "печальные".

— Почему у капусты нет нервов?

— Хороший вопрос. — Его отец верил в существование хороших вопросов, хотя правил поиска ответа на них не было.

Если его спрашивали, в чем его печаль или с чего она началась, он удивлялся. Печаль была его домом, протекающим клапаном бензинового насоса, тем, как улыбалась его мать. Он двигался сквозь печаль. Печаль ему не принадлежала.

Он тайком читал стихи и думал, что вот-вот сойдет с ума. Закат чувствовал, как веревку у себя на шее. Сеньорита скользила с собственной скоростью мимо человека и быка, и что бы он ни сделал, не могло это изменить.

— Приди в среду днем, надо заняться живой изгородью, — сказала женщина, забирая у него ключи через окно машины. И унеслась за живую изгородь с выхлопами, подобными оскорблениям. В ее машине смешивались дорогие запахи пластика, духов, лака для волос, солнца на приборном щитке. Лицо вокруг глаз было мягко и поблескивало от крема. Ее кожа напоминала ему рисовую бумагу оберток от дорогих конфет, когда подержишь ее во рту и промочишь слюной.

Он репетировал в своей комнате, пока не счел себя готовым, пришел к ней и выполнил работу. И возненавидел ее за этот смех у двери.

— Это всего лишь деньги, — сказала она. — Они не кусаются.

1. Cicatrize — слово, начало которого похоже на cicada — цикады. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Потом он говорил, что у него было идеальное детство, полное свежего воздуха и достоинства, запахов готовящейся пищи, плодов шиповника и болиголова в канаве. Субботними вечерами его сестры ссорились у зеркала возле двери и смеха ради доводили его до бешенства своими замечаниями.

"Дом был полон тайн. Вы бы не поверили, что такое возможно, что у людей совсем нет стыда. Дети отставали в развитии, в собственной грязи сидели старики, никогда не вынимавшие руки из штанов, хранившие деньги под кроватью, терявшие дар речи. И не в том дело, что им было все равно, мерзость, в конце концов, и есть мерзость. Они воспринимали это как свое, родное. За закрытой дверью не было скромности, перемен, смысла".

Сказать по правде, он вернулся не за деньгами, хоть и понимал, что фунт купюрой это одно, а вообще ничего — совсем другое. Назад его привела гордость и слова, сказанные из-под шляпы человеком у него в комнате.

— Дай ей то, чего она хочет.

По траве гоняла футбольный мяч девочка, просто чтобы досадить. Они знали друг друга по школе.

— Твой отец — позорище, — сказала она взрослым голосом. — Позорище в этом старом пиджаке. — Потом она убедилась, что в доме нет матери, и убежала. Та женщина сидела с вязанием на солнце и весь день за ним следила. Спина у нее была прямая, а руки проворны. Окно она держала отрытым, как будто полужидкий куриный помет пахнул свежим воздухом.

Больше всего она тронула его своим молчанием. В кухне все было чисто и чуждо, за ней его ожидал холмик, который предстояло очистить от колючего кустарника и навоза. Дом, стоявший на бетонном фундаменте, как плывущий в море рождественский пирог, относился к разряду долгостроя, поля его не хотели.

Ему нравилась точность вещей, логика их дома, усилия, которые прилагали стоявшие на полке чашки. Какие-то вещи отбились от себе подобных и заблудились: забытая на плите статуэтка "Ребенок-Христос из Праги"[1], сдувшийся и заткнутый за холодильник футбольный мяч. На выступе дальней стены от стоявшего здесь прежде унитаза оставался бачок, хотя самого унитаза не было.

1. Статуэтка ребёнка-Христа из Праги — покрытая воском деревянная скульптура XVI в., хранится в Кармелитской церкви Победоносной Богоматери в Мала-Страна, Прага, Чехия.

Дожидаясь чаю, он забыл, зачем пришел. Она доставала сахар и молоко и возле раковины показалась обычной, обычной и печальной, а сидя в кресле в дальней части комнаты — старой. Каждый звук ложечки, которой он задевал о стенку чашки, вызывал ее недовольный взгляд.

Она спросила о здоровье его матери, включила радио и сказала, что он хорошо поработал, постриг мокрую траву на лужайке, пока она не высохла. Они прослушали конец новостей, и она взяла с комода жестяную банку.

— Я полагаю, тебе можно доверять, — мрачно сказала она, открывая ее. Он воспринял круговерть купюр, как что-то обнаженное и мягкое. Из радио полилась музыка.

У себя в комнате он пытался представить себе сцены с участием мужчины со шляпой. На одной из них тот небрежно брал ее за запястье и раскрывал ей ладонь, как будто он понимал это. Он думал о вкусе рисовой бумаги, тающей на языке, о белье, которое может быть у нее под платьем. Ему было интересно знать, в каком порядке будут развиваться события, если он задержит дыхание. Она безразлично улыбнулась ему. Он не понял.

— Женщины, — сказал отец, — мучают нас возражениями, но из того, что возражать им нравится, не следует, что они неправы.

В дверь кто-то тихо поскребся, и оба они замерли, будто застигнутые на месте преступления. Деньги оставались зажатыми в руке женщины, как в мышеловке. Дверь отворилась, и он увидел толстую старуху, которая не намеревалась переступать порог. Вся ее фигура представляла собой единое целое, так что он не мог сказать, где кончается одна часть и начинается другая. В ладони она сжимала несвежую тряпочку. Ее лицо выдавало смущение.

— Моника, телега с маслобойни уже была?

— Да, — ответила женщина громко. — Только не телега, а цистерна.

— О, нет! — сказала старуха. — Все в порядке, обо мне не беспокойся, — и, не поворачиваясь, закрыла перед собой дверь.

Ее звали Моника. Она стыдливо улыбнулась ему, как соучастнику.

— Глуха как пень, — сказала она, и комната расширилась от возможностей, таившихся в ее голосе. Ее смущали деньги, все еще зажатые в руке. Смотрела же она на его ходившее вверх и вниз адамово яблоко.

"Жила неподалеку от нас одна женщина, из тех, что всех молодых ребят в округе связала в один узел. Видно было, что она чего-то хочет, хоть, может быть, и не от тебя. Амбициоз-

ная — вот подходящее слово. Казалось, будто знает больше, чем ты узнаешь за всю свою жизнь, — так бы она тебе сказала, если бы снизошла, — и это не только из-за секса. С нею в доме жили пожилой муж и мать, очень старая, глухая, все слонялась туда-сюда, путалась под ногами. И вот эта старуха умерла.

Мой отец вернулся после выноса тела, потирая руки. Человек он был мягкий.

— Sic transit, — сказал он. — Sic, sic, sic[1]. — И церемонно снял с себя старое пальто. Достал из кармана четки, положил их рядом с миксером, там они у нас обычно лежали. Помню, как я стыдился и его, и заплаток на этом пальто, и этих четок, и бесполезной латыни. Он сел и сказал:

— Как пали...[2] — и мне захотелось его ударить.

Когда кто-то умирал, женщина, по имени Морин, омывала тело — не Бог весть, какая работа. Могла взять в доме, где был покойник, любой таз и полотенце, хоть, может, они предназначались для мытья посуды. Не знаю, платили ей или нет, возможно, просто это было ее обязанностью.

— Тайны мертвых, — сказал отец, — и дом, пахнущий свежей краской. О, но это еще не все. — И рассказал мне одну из тех деревенских историй, которые я так не любил. Историй неспешных, которые надо рассказывать со вкусом, и прерываясь, чтобы отхлебнуть чаю или поискать печенье.

— Ты ее знаешь? — спросил он, и я сказал, что да, знаю.

— Все равно — хорошая женщина, такие у нее в голове красивые глаза были. Насколько я помню. — Помнил он, разумеется, и маму, и какие у нее были глаза в голове, в отличие от всех остальных мест.

О смерти старухи первым узнал и всем сообщил ее зять. Морин пришла готовить тело к отпеванию и застала этого зятя на кухне за чтением газеты. Дочь старухи ничего не говорила и даже не плакала. На свои соболезнования Морин никакого ответа не получила. Священника в доме не было. Поэтому Морин втянула голову в плечи, тихонько наполнила над раковиной тазик и на цыпочках прошла с ним по линолеуму, стараясь не расплескать воду. Она уже дошла до двери в комнату с телом, но в это время старухина дочь вдруг подняла голову и говорит:

1. Sic transit... Sic, sic, sic — Так проходит... Так, так, так (*лат.*). Выражение представляет собой переделку текста из книги немецкого философа-мистика Фомы Кемпийского (XV в.) “О подражании Христу” (1:3, 6): “О как скоро проходит мирская слава” (“O quam cito transit gloria mundi”).
2. Как пали сильные — цитата из Второй книги Самуила, 1:19: “Краса твоя, о Израиль, поражена на высотах твоих! как пали сильные!”

— Выпей, Морин, сперва чашечку чаю.

Тело, из которого жизнь ушла недавно, но которое все равно разлагалось, лежало на кровати. Простыни уж год, как не меняли, поэтому их изначальный цвет определить было невозможно. Покойная... при жизни не могла управлять своими естественными отправлениями, ее так в них и держали, поэтому кожа у нее была того же цвета, что и простыни. Морин отреза́ла от юбок и колготок покойной слой за слоем, отрывала от тела вместе с присохшим дерьмом. Когда дело дошло до ног, едва не заплакала. Ногти, так давно не стриженные, завернулись под ступни и уходили в кожу.

— Уж эти мне женщины из семейства Горман, — с удовольствием произнес отец. — Так что появилось раньше — курица или яйцо? — и рассмеялся, глядя на меня, как встретившийся на дороге старый бродяга".

Когда он вышел из их дому, солнце светило так ярко, что, казалось, приглушало все звуки. По дороге ему попалась ее дочка с футбольным мячом, который он умело отобрал у нее и, слегка пнув, отправил в канаву.

"После того, как я лишился девственности, все осталось по-прежнему, и все изменилось. Например, я перестал читать стихи. Не то чтобы в них всё — ложь, просто казалось: то, о чем в них говорится, относится к кому-то другому.

Теперь сплю с кем попало и не могу остановиться. Что я могу сказать? Самому обрыдло, но, кажется, это по-прежнему неважно. В жизни у меня порядок. Счета из химчистки огромные. У меня есть деньги.

Мой отец всю свою жизнь знал лишь одну женщину. Одевался, как бродяга. Серьезно. Что он мог знать? Знал о достоинстве, о погоде и разные слова. Все это было так просто. Ненавижу его за то, что вот так втравил меня в это, без надлежащего вопроса и шести ответов на что-то другое".

За любовь

МНЕ тридцать девять. От друзей я знаю, что их жены несчастливы. От друзей-мужчин, естественно. То есть от моих давних дружков. Видимся по дороге домой или когда они бывают проездом в Париже. Да, такая вот наступила пора жизни, что звонят и говорят: "Привет, незнакомка", и мы встречаемся, пьем кофе, рассказываем друг другу старые сплетни, говорим о новорожденных и работе, а потом, ближе к прощанию или на следующий день за рюмкой выясняется, что их жены несчастливы.

И я не знаю, как на это реагировать.

Я спрашиваю "Как жизнь?", и мне говорят, иногда уныло, "Нормально". И я большей частью верю, что человек доволен жизнью или, по крайней мере, пытается в этом себя убедить. Мои друзья работают, любят своих детей, чем-нибудь увлекаются вроде туризма или строительства нового дома, второго, загородного, куда можно было бы ездить на выходные.

— А как Мэрая (или Эни, или Джойс)? — вежливо интересуюсь я.

— Всяко.

Так мне ответил Шей, которого я не видела лет семь и очень люблю, и не только он, но и хвастунишка и позер по имени Питер, чья жена заслуживает всяческих бед, и еще один, Томми, странный парень, чумовой дружок, бывший у меня когда-то, которому Бог дал счастливый брак и четверых "потрясающих" детей. Даже Томми, когда я спросила его о жене, растерялся, как будто не знал точно, как она сейчас поживает.

Надо сказать, не сложившаяся личная жизнь жен, и даже жены Шея, Мэраи, которая никогда мне не нравилась, несколько меня тяготит. Мне Шея жаль, его несчастной любви к ней. И я думаю: зачем обсуждать это со мной?

Разумеется, проще говорить о таких вещах с тем, кого видишь изредка. Детей у меня нет, для друзей я нахожусь как бы на более низкой ступени общественной лестницы, считается, будто я по-прежнему живу в свое удовольствие. Что я все еще такая, какими мы были прежде.

Ну да. Хотя иногда мне тоже начинает казаться, что жизнь не бесконечна. Муж у меня пожилой, оттого и я время от времени чувствую, что уже не молода. Он не богат и не ушел от своей прежней жены — несколько лет назад она умерла. Ему немало пришлось пережить, а потом он встретил меня.

— Ну и как живешь, черт возьми?! — говорит Шей, оглядывая меня с головы до пят, но, главным образом, грудь, благослови его Господь.

— Спасибо, хорошо. Вполне.

Если быть до конца честной, мужья несчастных жен — это все ребята с родины, с которыми я спала. Но главное — не это. Я никогда не придавала особого значения сексу. Важным мне казалось все остальное.

— Выглядишь хорошо, — говорит он, имея в виду, что я не разжирела и не потеряла способности удерживать внимание. Я все еще способна сохранять душевное равновесие или, по крайней мере, пытаюсь. Сидя за столиком, я завожу с официантом разговор о погоде и о том, когда мы будем есть.

Шей молча, одобрительно смотрит на меня, и мне это приятно. Он гордится моими знаниями. Я закуриваю, и он ностальгически вздыхает — ирландцы теперь не курят. Вижу, как его пальцы подрагивают от желания взять пачку.

— Sláinte[1].

— Твое здоровье.

Мой социальный статус мужу безразличен. Ему неважно, что я старомодная ирландка с новообретенным французским лоском. Кардиган от Агнес-Би, деревенская на вид косынка фирмы "Гермес" — красивой, с его точки зрения, меня делает совсем другое. Иногда хочется, чтобы он меня понимал, но, большей частью, я жизнью довольна. Почему муж предпочел другим именно меня — загадка, но я знаю: в нашей жизни много романтики.

— Рад тебя видеть!

— А уж я-то!

— И как оно? — говорит Шей. — Что у нас плохого?

Я ужасно рада его видеть. Мы учились в одном и том же колледже в Дублине, но лучше я узнала его в Лондоне, где мы, эмигранты, долго работали вместе, немало выпивали по вечерам в пятницу, может быть, чтобы не оказаться в одной постели. Что не всегда помогало. Сейчас кажется, что все это было в другой жизни, и, тем не менее, вот он сидит передо мною, такой же огромный, как прежде.

— Да, в общем-то, ничего особенного.

Что я могу сказать? Моему мужу шестьдесят три. Работы у него нет. Он из Сайгона. Глядя ему в глаза, я прекрасно понимаю, что́ у него на уме. Он никогда не повторяется. Однажды рассказал мне, чему стал свидетелем, — рассказывал всю ночь напролет, дело было в моей старой квартире в районе Марэ, и я до сих пор вспоминаю это, как сон.

Рот у него юношеский. Это точно.

Рот у моего мужа сжатый и мягкий, как открывающаяся почка. В сексе он осторожен и внимателен. Он любит смотреть на меня, когда я хожу по комнате. Его прикосновения не похожи на прикосновения других, они легки и умелы. В наших занятиях любовью нерешительности почти нет места. И хоть предаемся мы любви реже, чем прежде, все всегда проходит "удачно".

Вот это то, что я бы хотела сказать Шею, поскольку, разумеется, чувствую в его словах осуждение за сделку, в которую будто бы вступила; за то, что пошла на компромисс со своими

1. Sláinte — будем здоровы (*ирл.*).

желаниями. Но у меня в жизни произошел непредвиденный поворот, и теперь в голову приходят неожиданные мысли. Например, что многие пары, состоящие из странных, неподходящих друг другу людей, в том числе и уродливых, из тех, кого мы видим в метро, счастливы в постели. Может быть, им известна какая-то тайна? И что скованность в сексе, эта, как говорят, всеобщая современная беда, может быть, всего лишь выдумка. Я бы сказала, что это большая ложь о капитализме, но стоит мне заговорить на эту тему при муже, он надолго закрывает глаза.

Этого человека с закрытыми глазами зовут Ли Куанг Хоа. Тело его покрыто разнообразными шрамами. Иногда он вздрагивает и весь сжимается — от резкого движения проходящей мимо собаки, от внезапного шевеления тени. Есть вещи, которых я не понимаю. Его бросает в дрожь от стука кусочка льда о стенки стакана, и, услышав этот стук, он на какое-то время замыкается в себе. Я всегда начеку и сразу это замечаю. Сразу вижу, не боюсь, подхожу к нему и забираю стакан. Вот и все. Без этой услуги он может обойтись: до встречи со мной много лет жил в Париже один.

Но я забираю у мужа стакан, ставлю и пытаюсь представить, что творится у него в голове от такого постукивания. Занимаясь с ним любовью, я редко что-то придумываю: не лижу, не причиняю ему боль. Не беру, например, лед из стакана на тумбочке и не провожу им ему по позвоночнику.

Вот что бывает, когда любовь переплетается с пережитым. Тут приходится соблюдать дистанцию. Или ее соблюдают вьетнамцы. Или пожилые. Или так мы с мужем думаем о близости и нежности — вот такие мы люди. Кто знает? Детей у нас не будет. Мы очень счастливы. О нет. Строго говоря, мы не счастливы. Но мы очень любим друг друга, любовь освещает нашу жизнь и придает ей форму.

Последние несколько лет мы живем на улице Муфета. Каждое утро, когда я ухожу на работу, муж, зажав под мышкой полотенце, идет к городскому бассейну. Я представляю, как он плывет без единого всплеска в недавно залитой голубой воде. Чем-то он напоминает мне пожилых дам, которые сначала гребут от французского побережья, а потом возвращаются, сплетничая, обратно — видны одни лишенные туловищ головы в солнечных очках и с прическами.

Шей не выдерживает, хватает пачку легких “Мальборо”, торопливо сует в рот и издает протяжный стон. Затем, полностью раскаявшись, зажигает спичку.

— Мерзкий вкус, — говорит он.

— Да нет вроде.

Но мерзкий вкус не мешает ему курить. И вот теперь, когда начало встрече положено, я спрашиваю о жене.

— Как Мэрая?

— Всяко, — отвечает он.

— Так.

"Всяко", сказанное ирландцем о жене, может значить что угодно — от плача над кухонной мойкой до психоза в клинической форме. Впрочем, сейчас мне кажется, что о женщине, страдающей психозом, мы бы сказали "несколько не в себе".

— Не знаю, — говорит Шей. — Смена места жительства не помогает. Мы жили в Эпсоме, где головной офис. Потом мне предложили... в общем, меня решили перевести в Германию, но мне показалось, что для нее это будет слишком. Отказаться было сложно. И потом — дети только-только привыкли к новой школе.

Я кручу кончиком сигареты в пепельнице и киваю. Я люблю Шея. У него всегда было большое разбитое сердце. Он из тех ребят, которые выворачивают себе карманы на улице, чтобы показать, что там ничего не осталось и подать нечего. И вот опять он выкладывает передо мной на столик свою бедную душу, швыряет ее, как старый половик, потому что она — все, что у него есть.

— Понимаю, это все моя вина. Или работа виновата. Но я, знаешь, по-прежнему люблю ее.

— Конечно.

— Она хочет снова заняться пением.

— Да что ты?!

— Ну да, ведь она раньше пела.

В самом деле? Я ее помню — миниатюрная, миловидная, мы виделись один раз, и она тотчас меня возненавидела. И сразу сообщила, что занималась гимнастикой, но вот о пении я что-то не помню. Но Шей, конечно, прав. Конечно, она певица. Конечно, знаменитая певица, замаскированная под жену, и Шей виноват: поступил наперекор, испортил ей жизнь. Помню их свадьбу, ее малоразмерную талию под его лапищей. Представляю, как в девятилетнем возрасте она делала флик-фляк.

— Она хорошая, — говорит он. — Серьезно. Умница. Но с ней нельзя просто... — и незаконченная фраза повисает в воздухе.

Без пяти шесть. Вернувшись домой, муж вскипятил, откинул на дуршлаг кусок говядины и снова поставил его вариться. Не дожидаясь моего прихода, он скоро разольет по тарелкам бульон с лапшой и потом выплеснет обратно в кастрюлю. После чего, если меня к тому времени все еще не будет, вклю-

чит телевизор. Он любит научную фантастику. Особенно ему нравится Зена, королева воинов. Если ничего подходящего не показывают, он усаживается читать свои книги, настоящие медицинские и шарлатанские, время от времени отрываясь, чтобы ткнуть себе в какую-нибудь точку на животе или подогнуть и рассмотреть пальцы на ногах.

Находясь в пяти кварталах от него, я кладу ладонь на ручищу Шея и говорю:

— Так бывает.

Он глядит на кончики моих пальцев на своей руке. Потом поднимает крупную голову и смотрит на меня с таким выражением, как будто хочет спросить:

— Что ты об этом можешь знать? Что ты можешь знать, о том, как "бывает"?

— Это ощущение, что вылетаешь за дорожное ограждение. Женщины замечают такие вещи раньше мужчин. Если есть дети. Только и всего. Когда есть дети.

— Вот это мне в тебе нравится, — говорит Шей. — Говоришь все, как есть. "Стареешь, жиреешь, совсем опаскудел, помираешь".

— Ну да.

Итак, теперь это я виновата в том, что жена Шея никогда не вернется на радио со своими джазовыми песенками. На ее пути стою я.

— Чужая мечта, — говорит он, — непростая штука. Ею управлять невозможно.

Мой муж родился в 1943 году и был свидетелем японской, французской и американской оккупации Вьетнама. Насколько я понимаю, его семья не просто пережила все это, но пережила вполне благополучно. Хоа учился в Сайгоне во французском лицее, женился во время войны, которая у нас называется Вьетнамской, у него двое сыновей. Один из них живет на границе с Лаосом, другой видеть своего отца не хочет. В молодости Хоа считал Париж центром вселенной. Проведя три года в правительственном перевоспитательном[1] лагере, думать о Париже перестал вообще.

— Я вышла замуж, — вдруг говорю я. — Я тебе говорила?

1. Перевоспитательные лагеря — официальное название тюремных лагерей, учреждённых правительством Вьетнама по окончании войны 1955—1975 гг. Перевоспитание рассматривалось как месть и вместе с тем идеологическая обработка. В лагерях без предъявления обвинений и суда содержалось 1—2,5 миллиона бывших офицеров, правительственных чиновников и вообще лиц, поддерживавших прежнее правительство Южного Вьетнама. По некоторым данным 165 тысяч из них погибли, тысячи подвергались пыткам и унижениям.

— Господи! — Шей удивлен. — Нет, не говорила. Мне — точно не говорила.

Он рад, я это вижу по обращенному на меня взгляду, который постепенно меняется: из его глаз что-то исчезает.

Шею — и вообще всем им — нравится во мне то, что я не хочу за них замуж, даже влюбляться в них не хочу. Насколько я понимаю, вы либо спите с кем-нибудь, либо нет. Очень просто. Мужчинам такой подход очень нравится, или им так кажется. Единственный, кто это понимает — и вполне, — это мой муж. Как-то вечером он взял меня за руку и отвел в соседнюю комнату.

— Мы сделали это только ради визы.

Это ужасное предательство. Это даже не правда.

— Ну, рассказывай, — говорит Шей. Но я и так слишком много ему сказала. Поэтому я придумываю небольшую историю: как я работала с беженцами, как мы познакомились за столом, на котором были разложены фотографии, вырезки с текстом и клеевые карандаши.

Я могла сказать, что на данной фотографии изображена та или иная жертва, но в Хоа не было ничего от жертвы, хотя, стоя рядом с ним, я чувствовала его боль и то, как он ее превозмогает. Но ничего такого я не говорю, потому что тогда Шей решит, что я какая-нибудь извращенка. Может, так оно и есть.

Он смотрит на меня, слегка презрительно улыбается и не знает, что сказать. Перейдя на ирландский, спрашивает, что о моем браке думают "дома". На самом деле, я полагаю, это не их дело. Мама умерла, когда мне было шесть лет, из чего ясно, что семья у меня неблагополучнее среднестатистической, а воспитывали меня строже обычного.

— Я не говорила, — отвечаю я.

— Не говорила?

— Нет.

— Понятно, — говорит мой друг Шей, любящий маленькую печальную гимнастку, которая каждый вечер загружает посудомоечную машину.

Я думаю о прежней жене своего мужа. Страдала ли она от незначительности своей жизни, пока ее жизнь не стала действительно ничтожной? Не знаю. Иногда я ревную его к этой женщине, родившейся за двадцать пять лет до меня и уже давно умершей. Должно быть, ее он любил сильнее, чем любит меня. И я говорю ему это как-то утром, едва проснувшись. Он сидит у окна, освещенный первыми лучами солнца.

— Она была очень хорошая, — соглашается он, посмотрев некоторое время в небо, и потом еще немного молчит, вспо-

миная. — Я не так уж хорошо ее помню, — добавляет он осторожно и нараспев. — Je ne me rappelle bien d'elle[1].

И до меня доходит, что я понятия не имею, что это такое — любить женщину или хотя бы жениться в Сайгоне в самый разгар войны. Я едва представляю себе, что значит любить мужчину, которого люблю теперь.

— Ну, расскажи, — говорит Шей. — Что его привело сюда?

— Что его привело? — я начинаю смеяться.

Мой муж спит днем. Проснувшись, он складывает в несколько раз пуховое одеяло и кладет в изножье кровати. Многое делает по привычке. Но не кричит и не плачет, если аккуратно сложенное одеяло скомкать. Он не сидит, как могла бы сидеть жена Шея, оплакивая состояние, в котором находится их дом, или свои несбывшиеся мечты.

— Ну, — осторожно говорю я, — ему всегда нравилась Франция. Он франкофон.

Я рассказываю еще немного, и Шей начинает догадываться о возрасте Хоа. И тут, как обычно бывает, когда им начинает казаться, что моя половая жизнь на нуле, Шей становится злобно-насмешливым, всем своим видом давая понять: *поделом тебе...*

Я отвечаю ему улыбкой.

Мой муж всегда спит днем — просто ложится и спит. Бывает, я прихожу и ухожу, не зная, что он дома. Дыхания его неслышно. С таким же успехом он мог бы быть листком бумаги — чистым листком, — лежащим на кровати. Потом он открывает глаза и видит меня.

— И сколько же лет этому парню? — спрашивает Шей. Теперь мы уже напились. Дошло и до этого.

— Довольно много, — говорю я.

И Шей поднимает стакан, предлагая за это выпить.

— За любовь! — говорит он.

Еще через четверть часа он стучит по столу ребром жирной ладони и говорит, что все наши любимые не могут быть беженцами, раковыми или какими угодно больными, но суть-то в том — он особенно напирает на это "но суть-то в том", — что когда-нибудь они могут ими стать, но мы все равно будем их любить, будем на них жениться, несмотря ни на что. С этим я не могу не согласиться и уже готова заявить об этом, но вдох, сделанный мною перед началом ответа, Шей воспринимает как намерение возразить и продолжает говорить, но еще более зло.

1. Я не так уж хорошо ее помню (*франц.*).

С Шеем почти все ясно. Я смотрю на него и жду, когда же погибнет наша любовь — мирская, обычная любовь собутыльников, которую мы питали друг к другу. Он сам, текстура кожи, выражение лица с крупными чертами — все это становится невыносимо грубым. Он ничего не знает, говорит он, вернее, знает очень мало о том, как все это у нас началось и как развивалось, но в подобных случаях, какими бы сложными и хреновыми они ни казались, важно знать, кто что сделал. В конце концов, говорит он, важно знать, что делал твой муж во время войны.

Я закуриваю. Шей видит выражение моего лица и остывает.

После чего гнев переходит в сожаление, далее следуют извинения, и я не устаю повторять, что все нормально, все нормально — ведь это моя вина в конце концов. Теперь Шей сдулся, обвинительная речь его измотала.

— Извини, — говорю я, потому что он, кажется, сильно всем этим расстроен. Кроме того, чтобы избавиться от него, я должна буду в чем-нибудь признаться, неважно в чем. Главное — признать, что совершила ошибку, например, отказавшись жить и оплакивать свою участь в Эпсоме.

И очень хорошо, что мы никогда больше не увидимся, думаю я, обнимаясь с ним на прощание на улице у небольшого кафе. И очень хорошо, думаю я по дороге домой к человеку, который не может, не обмочившись, пройти мимо немецкой овчарки, человеку, у которого в стопе и лодыжке переломы в пятнадцати местах; к обычному пожилому вьетнамцу, который рявкает на меня иногда, как на девчонку-служанку, и по десять минут каждое утро удерживает позу “березка”, будто бы, помогающую от геморроя.

Все это очень хорошо.

Сворачиваю на улицу Рету и, как всегда, рассматриваю здание у следующего перекрестка. Однажды на балкончике одной из угловых квартир я видела там человека с большим пистолетом, который он направлял на людей, шедших по улице, пересекающей Рету. Потом повернулся и нацелил пистолет на меня. Или на кого-то рядом.

Эти угловые квартиры очень хороши — их жильцам можно позавидовать. Это в Пятом округе. Место для такой сцены вовсе неподходящее. И мне она не привиделась. И время странное, и никакого звукового сопровождения не было, и вообще все выглядело чрезвычайно банально. Я тогда отвернулась, не хотела, наверно, привлекать внимание человека на балконе и вскоре самым обычным образом пересекла улицу на перекрестке. Сошла с тротуара, перешла булыжную

мостовую и ступила на противоположный. Я не оглядывалась и не знала, целится он в кого-нибудь еще или ушел.

Я по-прежнему хожу по этой улице почти каждый вечер и всякий раз думаю о пуле, которую он может всадить мне в спину, и о том, что ничего такого со мной пока не случается.

Я иду домой к Ли Куанг Хоа, пытаюсь представить его после смерти, думаю о том, как, опрятный и прекрасный, он будет лежать на нашей супружеской кровати. Открываю дверь и думаю: существует ли он на самом деле? И жив ли еще?

Делла

ДЕЛЛА снова представила себе широкий черный ручей и голых мальчиков с очень белой кожей, играющих на его крутых берегах. Один из них потянулся палкой к воде, но не достал. Было видно, как он согнулся над берегом. На другом над водой склонялось небольшое деревце с мелкими листиками, сероватыми на фоне черной воды. Делла не знала, ни что это за ручей, ни что за мальчик, не знала, упадет он в воду или нет, и видела ли она все это когда-нибудь и увидит в будущем. Все это походило на сон или что-то телевизионное. Возможно, думала она, картина как-то связана с речкой Блэкуотер, но, скорее всего, даже не с той, что протекает в Ирландии, потому что там ребята голышом не купаются.

Ничего важного в этой картине с рекой не было — это она понимала, — ветви с листьями или палка в руках мальчика могли быть и другой формы. Он тянулся к воде просто интереса ради. Хотел посмотреть, достанет или нет.

Она подумала, что, возможно, такая черная вода и березы бывают в России. Или, может быть, мальчишеские тела только напоминают стволы берез, которые всегда выглядят такими свежими и полными надежд. Но они казались печальными, как фотографии ребят, сделанные до Первой мировой.

Сосед Деллы, по-видимому, сам того не замечая, терял зрение. Дело, конечно, не ее, но, может быть, следовало ему на это указать. Они прожили рядом более пятидесяти лет, но не очень ладили. Одно время Делла дружила с его женой, которая давно умерла, сам же он общительностью не отличался.

Кроме того, Делла не могла забыть его обидные замечания, которые он отпускал о ее еще маленьких детях. Пятеро детей Деллы и его двое теперь жили отдельно.

Ее, по крайней мере, время от времени приезжали проведать мать — его же не переступали порог отцовского дома. Делла понимала, что детям сейчас не до нее, и, подолгу предоставленная сама себе, многое забывала и предавалась мыслям о березах и голых мальчиках, которых никогда не знала.

Иногда на кухню из-за общей стены с соседом доносился стук или такой звук, будто царапают металлом по кирпичу, и она думала: "Что он там затеял?". Или бывало так тихо, что она записывала: "16 апреля. Никаких звуков" — пыталась вести учет, что и когда происходит, чтобы вовремя заметить его смерть. И это несмотря на то, что, если уж говорить по правде, иногда забывала, какой на дворе год.

Сложенные листки со своими записями Делла держала за часами на камине. То, судя по скрежету, сосед шпаклевал стену, то вдруг что-то стукнет, то лязгнет. Можно было подумать — да она иногда так и думала, — что он занимается у себя чем-то странным, но кто бы мог подумать, до какой степени. Что он вообще не видит, что делает.

Чтобы прийти к этому выводу, ей потребовалось несколько месяцев. Однажды, может быть, в феврале, они встретились у газетного киоска, и он не поздоровался. И тогда она вспомнила об их предыдущей встрече, тогда он тоже прошел мимо, не кивнув и никак не обнаружив, что узнал ее. То ли обиделся, то ли еще что-то, думала она, но в любом случае, дело неладно. Он всегда был ей так неприятен, что, лишь когда в воздухе запахло весной, она нашла в себе силы сказать при встрече "Здравствуй, Том", да так громко, что он мог бы усмотреть в этом сарказм.

Он вздрогнул и стал озираться по сторонам.

— Делла? — неуверенно произнес он, и тут бы она решила, что сосед уж совсем потерял зрение, если бы не ежедневная газета, зажатая у него под мышкой. Кроме того, тон, которым этот мужчина, живший за кирпичной стеной ее кухни, произнес ее имя, показался ей чересчур фамильярным.

Как-то в апреле она увидела целую пачку старых газет, приготовленную им для мусорщика, и потом среди ночи проснулась от мысли: он их не только не читал, но даже и не раскрывал. Сосед был слеп. Знал он об этом или нет — вопрос другой.

Как жить дальше с таким знанием?! Уж лучше бы у него разум угас, тогда бы, по крайней мере, он не понимал ужаса своего положения. Но звуки за стеной никак нельзя было принять за возню старика-безумца. Он явно что-то искал и никак не мог найти. Делла пыталась представить себе его существо-

вание там, среди постепенно скапливающегося хлама, а ведь даже телефона его не знала, позвонить не могла. А если бы и могла? Скажем, нашла бы кого-нибудь из его детей в телефонной книге — и что бы сказала? Детям-то уж сейчас перевалило за пятьдесят, и у Кольма, и у Морин — свои семьи. Они уж, должно быть, старше, чем ее врач, то есть пожилые люди. Положим, она позвонит и попросит не забывать отца — как неловко! Нет, так не годится.

В справочнике Делла все же поискала телефон соседского сына — Кольма Дилани, — нашла. Вспомнила его в пятилетнем возрасте. Такой был очаровательный мальчик, но самоуверенный до наглости. Впрочем, она и тогда уже подозревала, что эта наглость у него сохранится, а очарования поубавится, и станет он похож на своего отца, всегда скорого на язвительные замечания. Но звонить она все же не стала.

Он всегда вел себя вызывающе, этот мистер Поморгайкин, мистер Натыкалкин, этот слепой, живший по соседству. Однажды — дело было летом 1950 года, после переезда в этот дом еще и месяца не прошло, и Делла катила коляску со своим красавцем-первенцем, чтобы всякий встречный мог увидеть и восхититься, — сосед заглянул в коляску и говорит:

— Да, для бычка абердинской породы — маловат.

В этих словах она усмотрела подтекст. Бедная Делла, простодушная молодая жена, родившая младенца весом более четырех килограммов! Сколько страхов было связано с этим в те времена, да и сами роды — страшно вспомнить, казалось, весь мир вывернулся наизнанку. Мал для абердинской породы. Эта фраза еще долго крутилась у нее в голове. В ней угадывалась и насмешка над разрывами ее половых органов, и над коротким членом ее мужа, который тогда работал в Шотландии, и над ее дурацкой гордостью рожденным ребенком. Но хуже всего было то, что Делла тогда засмеялась вместе с соседом. Что-то ее заставило.

Она бы и забыла об этом случае, если бы шутки в таком духе время от времени не повторялись.

— Ну, ты и вырядилась! — мог сказать ей сосед в присутствии своей жены. Как будто у Деллы только и забот, как бы ему понравиться. Или жена совсем за собой не следит. Что бы он ни имел в виду, смысл получился обидный для обеих.

— О, тебе об этом надо узнать все до подробностей, — бывало говорил он по поводу чего-нибудь безобидного, например, купленных ею свиных отбивных.

— О чем? Что? — Иногда Делле хотелось напомнить ему, что он совершенно ее не знает. Что жить по соседству с ним мог бы кто угодно. Кто угодно мог бы играть с ребенком в са-

дике под окнами, выходящими на улицу, в то время, как он, проходя мимо, интересовался через забор:

— Ну, как отродье?

Теперь, в июне, Делла просыпалась в четыре утра и снова укладывалась вздремнуть в три часа дня. Жить настолько не в ногу с окружающим было крайне неудобно — во время ее дневного сна по телевизору сообщали о выигрышах в лото, а включенный в ранний час он, как выяснилось, показывал самые отвратительные фильмы. Делла сразу выключила, но в сознании запечатлелась сцена — ребята, играющие на берегу реки. Она пыталась остановить ее, сосредоточиться на месте действия, но видела их белые ноги, то, как они свободно и грациозно стоят, глядя на мальчика с палкой, наклонившегося над водной гладью.

Делла в любой момент ожидала прихода смерти, которая почему-то не приходила и, по-видимому, не зависела от того, видит она мысленным взором черную воду или нет. Она сознательно ничего не предпринимала в связи с соседом, руководствуясь злорадным ребяческим соображением, что вот она умрет, и уж тогда ему никто не поможет. Чем же виновата пожилая женщина, если не помогла соседу, а поникла, сидя в кресле, и потом перепуганный телевизор день за днем умолял, чтобы его хоть кто-нибудь выключил? Но Делла не умирала. У нее даже голова не кружилась, когда она вставала с кресла. Только характер шума в ушах менялся. Да еще, естественно, — зыбучие ночи старости, тогда как за стеной у соседа сгущалась тьма, и продолжались непонятные царапанье и стуки. Сосед, этот самый для нее неприятный в мире человек, теперь донимал собственный дом — пытался вывести и его из себя.

— Куда это направилась, — спросил он ее как-то, — в парадных туфельках?

Может быть, думала она несколько десятилетий спустя, он хотел секса. И эта мысль огорчала и мучила ее. Может, ему, этому ужасному человеку, который и собаку не мог пропустить без саркастического замечания, может, ему казалось, что ей не хватает? Но она никак не реагировала. Только тем и отвечала, что ходила беременная или с коляской, тем, что происходило в темноте между нею и ее мужем. Так что такого отношения со стороны соседа она и заслуживала (своим хныканьем, которое он, возможно, слышал из-за стены кухни), и это давало ему право говорить что угодно, о ее туфлях, свиных отбивных или овощах, купленных у зеленщика. От одного этого можно было с ума сойти. Ей стало казаться, что сосед о ней думает, следит за нею, и она решила не ходить мимо его окон.

Делла бы и здороваться с ним перестала, но они ведь соседи, и, кроме того, она жалела его жену, Норин, ужасные качества которой особенно проявились, когда Делла уезжала в Кум. Норин, над которой денно и нощно ехидничал муж, давший ей только двоих, кормила оставшихся на время без матери детей Деллы, которая их рожала, а Норин встречала у порога жизни и души в них не чаяла.

Впрочем, свою жену сосед любил безумно — шевельнуться без нее не мог. Год просидел дома, и жена ему ни слова не сказала — ни о работе, ни о том, что вообще происходит, ни о том, почему он сидит в темноте у них в гостиной. После этого его замечания то ли утратили едкость, то ли не достигали цели. Как бы то ни было, все немного постарели, чтобы относиться к ним слишком серьезно. Делла после пяти беременностей растолстела и, глядя на себя в зеркало, видела в нем свою мать. И все же, несмотря на пятерых детей, чувствовала в себе как никогда много сил. Но вот маленькая дочь Деллы, Магрет, пришла домой в слезах — мистер Дилани сказал, что у нее бюст великоват. Совершенно неуместное замечание, а для постороннего мужчины и подавно. Вся улица покатывалась со смеху: "Ну и отмочил, ха-ха-ха!"

— Так нельзя, — думала Делла и тогда, и сейчас, хоть муж и обозвал ее дурой и истеричкой.

— Думай, что хочешь, можешь хоть со стыда сгореть. Да, у дочери нет грудей. Но Тому Дилани не говори ни слова! Либо смейся над его шутками, либо по улице не ходи.

Делла с мужем не спорила, промолчала, но от Норин стала отдаляться. Это была большая потеря — с женой соседа, с Норин, с этой ужасной женщиной, осталась часть души Деллы. Перед смертью у Норин подруг вообще не осталось, возможно, этот ее Том, который вечно все портил, того и добивался. На похоронах Норин Делла задумалась: могли ли их отношения сложиться иначе? И поняла, что нет.

Однажды Делла услышала из-за стены кухни стук разбившейся тарелки и подумала, что сосед должен быть весь в синяках. За первым падением с правильными интервалами последовало еще три. Это наводило на мысль, что тарелки бьются не случайно. Она не могла понять, как он будет убирать осколки. Придет утром босиком на кухню. Представляя себя на месте соседа, Делла быстро подняла ноги с пола. Разбилась очередная тарелка. Потом еще.

Это было невыносимо. Она поднялась на второй этаж, протерла зеркало в ванной, посмотрелась в него и увидела незнакомую пожилую женщину, не имевшую ничего общего с той молодой Деллой, гулявшей с коляской, или с другой,

среднего возраста, которая смотрела в откровенно-непристойное от горя лицо соседа, шедшего за гробом жены.

— Это было неприлично, — подумала она, — я пошла на похороны, не простив его в душе. Ни к чему хорошему это не приведет.

В этом ли заключалась ее ошибка? Делла рассматривала себя в зеркало, но видела Просто Пожилую Женщину, доброта которой не имеет никакого значения.

Она взяла мыльницу и постучала ею по трубе, идущей к резервуару над унитазом, — получился тихий, совершенно неудовлетворительный стук пластика о пластик. Она осмотрелась, выбрала толстостенную склянку с маслом "Олбас", дотянулась до самого́ керамического резервуара и стукнула три раза.

В тот же вечер она услышала унизительные три стука: первый, второй, третий. Сосед стучал по стене прямо за часами, стоявшими на камине. Делла взяла кочергу и, чувствуя опасный прилив крови к старческому сердцу, ответила, ударив дважды. Тишина, которая за этим последовала, напоминала нерешительное сближение двух голов для поцелуя, когда каждая может уклониться. Ответный стук застал ее уже возле раковины за приготовлением к чаепитию. Хорошего понемножку. Завтра она, как ни в чем не бывало, купит бисквитов и позвонит в дверь соседа.

Она проснулась на рассвете, перебралась в старое кресло внизу и вдруг спохватилась, что у мальчиков, играющих у реки, не видно причинных мест. На картинке, стоявшей перед ее мысленным взором, эти места расплывались, так же, возможно, бывает и с ангелами, которых видят люди. Не то чтобы этих мест не было, просто она не могла их вообразить. У наклонившегося над водой мальчика с палкой, например, причинное место свисало строго вниз, как по отвесу. Она могла думать о нем, но, хоть и не видела, знала, что оно имеется.

С другой стороны, ветви с листьями она видела яснее прежнего, как и оставляемые ими на воде следы, похожие на расстегнутую ширинку. Другие сравнения, приходившие ей в голову, — дохлая собака, например, или живая водяная крыса, или перископ подводной лодки, которая вряд ли могла оказаться в реке, — не годились. Ветви же и листья оставались такими, как прежде. За что всегда должны быть благодарны.

Потому что в этой сцене присутствовало нечто такое, чего она прежде не замечала, — другое качество. Если сосредоточиться на черноте воды и белизне мальчиков (их там чет-

веро или пятеро?), если позволить им быть — разрешить мальчику с палкой тянуться к воде, а остальным, наблюдающим за ним, переминаться с ноги на ногу, если позволить воде течь, и при этом не слишком напрягаться, то картина оживала, и слышалась очень красивая музыка, трудно сказать, какая именно.

— Здравствуй, Том! — сказала она у двери.

— Делла? — сказал он. И она вспомнила, как он произнес ее имя у газетного киоска. Если мысленно воспроизвести этот вопрос с закрытыми глазами, то станет ясно, что сказать так мог только глубоко любящий человек.

— У меня есть бисквиты, — сказала она, вынуждая его пропустить себя в дверь. Что он и сделал, и она увидела царивший у него бедлам.

— Ах, Том! — сказала она. — Может, стоит подумать об "Обедах на колесах"?

— Я уж думал, — сказал он. — Да только они стащили у меня радио.

— Не может быть.

— Они же хитрые. Оставили мне вместо прежнего вот это. Только оно все дырявое.

Он безошибочно добрался до стоявшего на столе самого обычного радиоприемника с отверстиями динамиков. Делла — это следует признать — не могла похвастать остротой зрения, но она, по крайней мере, понимала, что́ видит, а что́ — нет. Том Дилани не мог признать, что ослеп, потому что потерял зрение. Не в его характере было признавать факты. Делле стало так досадно, что она обо всем забыла и заговорила так, будто все эти годы они были близки.

— Слишком я стара, чтобы убирать за тобой.

Впрочем, она нашла некоторое утешение в том, что вымела за дверь черного хода вонючий сор. Оказалось, что это гораздо легче, чем убираться у себя. Лорд Лукан[1] сидел у стола у нее за спиной, похлопывал подушечками пальцев по отверстиям радиоприемника или тянулся к тарелке с бисквитами. К раковине Делла даже не прикоснулась — пусть ею занимается Магрет или хотя бы позвонит в социальную службу. Бедная Магрет, живет в Гласневине без мужа, а у нее ведь трое детей-подростков. А груди, над которыми Том Дилани потешался в 1964 году, сейчас, как вериги, особенно когда она бе-

1. Лорд Лукан (р. 1934) — Ричард Джон Бингэм, седьмой граф Лукан, подозревался в убийстве и бесследно исчез в 1974 г. Одно время его прочили на роль Джеймса Бонда.

жит к автобусной остановке. И тридцать лет из отведенных человеку восьмидесяти с лишним, в течение которых это и прочие подобные соображения имели значение, теперь показались ей такой нелепицей, что Делла рассмеялась в голос.

— Что смешного? — спросил Том Дилани.

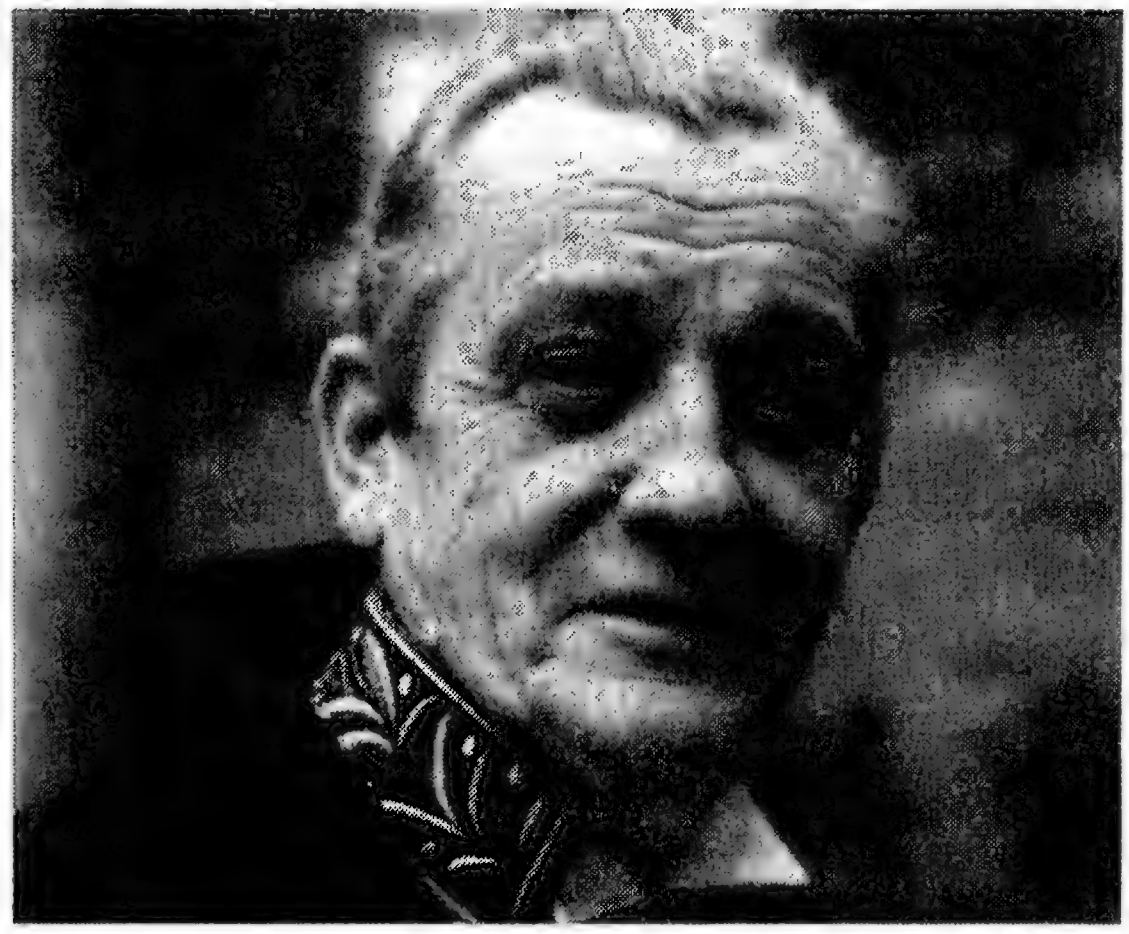
— Да так, — ответила она.

— Не позволяй мне тебя останавливать, — сказал он.

— Ладно, не позволю, — сказала она.

И он отвернулся, довольный, как будто видел ее у себя на кухне вполне отчетливо — далеко не девицу, но женщину, которой он, в конце концов, сумеет показаться вполне привлекательным.

Марсель Паньоль



Зачумленные

Повесть

Перевод с французского Ольги Пискарёвой

Эту историю рассказал нам господин Сильвен, сидя на красном камне перед пещерой Зачумленных.

— В 1720 году, как вы знаете, чума опустошила Марсель. Но, слава Богу, меня там не было.

— Слава Богу! — сказал я.

— Нас, слава Богу, тоже, — произнес Ив.

— А вот к жителям Марселя, — продолжал господин Сильвен, — Бог не был столь милостив.

После смерти великого Людовика XIV регентом королевства стал его брат Филипп Орлеанский. При дворе плелись чудовищные интриги. Но сама Франция и особенно Марсель процветали. Летописи того времени сообщают:

Все сии торговцы столь неимоверно богаты, что знать соседних городов рьяно добивается союза с ними. Торгуют главным образом в левантийских землях: в Сирии, Палестине, на острове Кипр. Из Азии чрез Средиземное море привозят шелка, хлопок, шерсть, кожу и прочие товары...

© Marcel Pagnol
© Ольга Пискарёва. Перевод, 2016

Словом, Марсель был богатейшим городом: все его жители (кроме каторжников, сосланных сюда на галеры, и лентяев) жили в достатке.

Однако в этом городе счастья был один самый счастливый квартал — поистине райский уголок.

Старый порт — древнегреческий Лакидон — это всего лишь бухта, расположенная в конце неглубокой долины, узкая полоска моря, заключенная меж двумя небольшими цепями холмов. Сама долина поднималась вверх, от моря к гряде гор. В восьмистах метрах от Лакидона по правую сторону на склоне горы был уступ, названный позднее холмом Девильe. Понизу рос густой кустарник, а вверху на фоне неба можно было различить поселение, защищенное высокой стеной, над которой виднелись пышные кроны платанов — umbrosa cacumena[1].

Прямоугольную площадь квартала с трех сторон окружали дома, первые этажи большей частью были заняты лавками.

В центре из поросшей мхом стелы выступала голова каменной рыбы, выпускавшая день и ночь прозрачную струю воды, которая изящной дугой обрушивалась в раковину из песчаника.

Через площадь прямо перед домами проходила улица, а вернее дорога, она поднималась справа из города со стороны площади Сен-Мишель, а затем спускалась вниз налево к улице Мадлен.

Здесь жили зажиточные буржуа, привлеченные чистым воздухом и открывающимся из окон красивым пейзажем. Позади домов были разведены обширные сады, в глубине которых у трехметровой каменной стены в конюшнях держали лошадей.

Вполне естественно, что обитатели этого маленького квартала составляли своего рода общину и, хотя их со всех сторон обступал город, они, почти как деревенские жители, вели обособленную жизнь.

Не обладая никакой автономией, они подчинялись марсельским эдилам[2]. Но на деле там властвовал мэтр Панкрас, личность довольно загадочная — никто не знал, откуда он взялся. Все же его почитали как хорошего лекаря, исцелявшего недуги именитых граждан и даже самого епископа. Хотя у него уже появились морщины и седина, в шестьдесят лет

1 Тенистые вершины (*лат.*). (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2.Члены городского управления.

он все еще был красив и, несмотря на невысокий рост, вид имел величавый. Когда он своей белой холеной рукой изящно поглаживал ухоженную бородку клинышком, на безымянном пальце голубоватыми искрами поблескивал бриллиант — неоспоримый признак крупного состояния, которым ныне или прежде обладал его владелец. Очевидно, он был богат, во всяком случае, об этом многое говорило. Ему принадлежал центральный и самый большой из стоявших на площади домов, правда, там жил только он и двое слуг: почтенная Альетта, по слухам искусная кухарка, и Гийу, старик с пегими усами и беззубым ртом, что немудрено, ведь ему стукнуло почти полвека.

Другими уважаемыми людьми в квартале были нотариус мэтр Пассакаль, вислоносый, с черными баками (точнее, серовато-черными от свинцового гребня), и Гарен-младший — забавно, что его так звали в пятьдесят лет, а все из-за долгожительства отца. Долговязый, с крючковатым носом, жиденькими усами и впалыми щеками, вдоль которых залегли две глубокие морщины, он отличался живым взглядом и мог похвастаться ровными зубами. К избранным принадлежал и мэтр Комбарну, суконщик, который слыл очень богатым, ибо состоял поставщиком королевской армии.

Этот статный здоровяк, чью медную бороду еще не тронула седина, был, однако, угрюмого нрава, молчалив, а уж если что-то говорил, то громко и хрипло, и не иначе как наперекор другим. Его недолюбливали, ничто в нем не располагало к дружбе. Но, будучи человеком добродетельным и строгих правил, он каждое утро ходил к ранней мессе в сопровождении жены, трех сыновей и пяти дочерей.

На углу площади у самого парапета в доме, который стоял на краю обрыва, жил капитан. Звали его Мариус Веран, не один десяток раз он пересекал океан, поставляя в Америку чернокожих рабов. Поскольку судовладельцы отдавали ему часть прибыли, а подсчеты вел он сам, то и заработал на этих рейдах больше денег, чем мог бы любым честным трудом. Он был щедр с девицами легкого поведения, которых, случалось, под покровом ночи приводил к себе; а иной раз любил бросить на площади пригоршню монет и с удовольствием наблюдать, как дерутся из-за них детишки... Африканские болезни оставили его без волос, но голый череп украшал длинный зигзагообразный шрам, придававший капитану воинственный вид.

Помимо этих почтенных господ, в квартале жили мелкие торговцы, такие как мясник Ромуальд, — толстый и краснолицый, как все его собратья, умело владевший разделочным но-

жом, но во всем остальном полный тупица; коротышка Арсен, хозяин галантерейной лавки, и булочник Фелисьен, чьи бриоши, обсыпанные жареным миндалем, славились до самого Старого порта. Хотя последний был уже не молод — как-никак тридцать пять лет, — он еще привлекал женщин своей белоснежной (из-за муки, вероятно) кожей и рыжими космами на груди. Были еще рыбник Пампет, хромой плотник Рибар, оружейник на галерных верфях Каликст и еще несколько человек, о которых речь пойдет позже.

В общем, включая женщин, стариков и детей, в квартале насчитывалось около сотни человек, живших в мире и согласии, — пьяные выходки капитана да домашние скандалы, которые, впрочем, случались гораздо реже, чем сегодня, вряд ли стоят упоминания.

С наступлением лета под кронами платанов устраивались партии в кегли, которые часто переходили в бурное столкновение.

А тем временем у парапета, откуда открывался вид на город и сияющую гладь Ласидона, сидели почтенные жители квартала. Они беседовали о политике или о торговле и судоходстве. Время от времени вылетевшие из кегельного турнира приходили их послушать и садились на землю полукругом, подобно зрителям античного театра, тогда как женщины под стук сбиваемых кеглей наполняли у источника свои кувшины.

Мэтр Панкрас всегда готов был ответить на любой вопрос и имел свои, оригинальные и разумные, взгляды на любой предмет; очевидно, человек этот хорошо знал свет и, возможно, даже свет столичный.

* * *

Однажды вечером, в начале июня 1720-го, когда у платанов уже во всю ширь распустились листья, а вырастают они тем больше, чем жарче печет солнце, — явное свидетельство того, что Бог благоволит к игрокам в кегли, капитан увидел, как лекарь на своей небольшой повозке, которой правил Гийу, возвращался из города. Он пошел ему навстречу и предложил распить с ним у парапета бутылочку муската, которую собрался было осушить в одиночестве.

— Охотно, — ответил мэтр Панкрас. — Весьма охотно, меня тревожат неприятные мысли, и было бы неплохо от них избавиться.

— Право же, — произнес капитан, — политика не стоит таких переживаний, вот меня нисколько не беспокоит все то, что говорят о регенте и о возможной войне. Ведь если когда-нибудь англичане...

— Дело вовсе не в политике и не в англичанах, — сказал мэтр Панкрас.

— У вас личные неприятности? — спросил капитан, наполнив бокалы.

— И личные, и общие, — произнес мэтр Панкрас.

Он поднял свой бокал, посмотрел его на просвет и выпил залпом.

Между тем их знакомые, завидев бутылку вина, стали подходить со своими стаканами. Каждый здоровался с доктором, а капитан, рассмеявшись, отправился за новой бутылкой.

— Друзья мои, — сказал он после возвращения, орудуя штопором, — вы должны трижды выпить за здоровье нашего друга мэтра Панкраса, ибо у него неприятности.

— Да? И какие? — спросил нотариус.

— Скорее, опасения, — сказал доктор, — и, возможно, неоправданные. По крайней мере, я на это надеюсь.

И пока капитан разливал вино, он осушил еще один бокал. Затем, видя, что все ждут продолжения, пояснил:

— Друзья мои, я провел весь день в портовом лазарете вместе с господином Круазетом, главным хирургом Галерного госпиталя, и господином Бозоном, другим опытным хирургом, который совершил несколько поездок в Левант и прекрасно разбирается в тамошних, очень опасных болезнях. Городские советники позвали нас, чтобы осмотреть трупы трех грузчиков, — есть подозрение, что они умерли от чумы.

При этих словах все переглянулись, и тень беспокойства омрачила их лица.

— И что же? — спросил мэтр Пассакаль.

— Ну, мои коллеги весьма категоричны! Это не чума, так они и написали в отчете городскому совету.

— А что думаете вы? — осведомился капитан.

— Заключение я не подписал, — ответил мэтр Панкрас после минутного колебания. — Правда, не утверждаю, что эти несчастные умерли от чумы. Но я различил какие-то опухоли, которые заставили меня усомниться...

Он заметил, что друзья испуганно отпрянули от него.

— Не тревожьтесь, — сказал он. — Перед осмотром мертвецов мы переоделись в одежду, пропитанную таким крепким уксусом, что у меня до сих пор жжет кожу. А перед уходом обеззаразили себя по всем правилам медицины. В общем, зря я, наверное, беспокоюсь, после двух бокалов вина мне кажется, что коллеги были правы.

— Корабли завозят столько всякой заразы! — воскликнул капитан. — Я повидал сотню разновидностей лихорадок, и

всегда одно и то же: горячка, красные или черные пятна на коже, гнойники, рвота, попробуй разбери, что это... Если помирает много народу, говорят, началась чума, и тогда остальные мрут от страха.

— Особенно в Марселе! — заметил учитель музыки, который только что подошел.

Его звали Норбер Лакассань, ему было лет тридцать, и он считал себя северянином, поскольку родился в Валансе.

Помимо уроков музыки он обучал искусству гармонии, фуги и контрапункта; марсельцы были не такие уж меломаны, и потому Норбер питался в основном духовной пищей. Но это не мешало ему радоваться жизни и игриво посматривать на прекрасный пол.

— А чем тебе Марсель не угодил? — спросил Гарен-младший.

— Да нет, просто за те пять лет, что я здесь живу, на неделе не меньше трех раз услышишь слухи о чуме в лазарете.

— Так оно и есть, — сказал мэтр Пассакаль. — Но надо признать, что эти страхи основаны не на пустом месте.

— Историки, — сказал мэтр Панкрас, — оставили описания девятнадцати эпидемий чумы в этом городе. Три или четыре длились недолго, но все остальные свирепствовали по году и больше и уносили чуть ли не все население...

— Каждая семья прошла через это... — произнес нотариус. — У меня хранится немало завещаний, которые остались невостребованными, поскольку все наследники погибли одновременно с завещателем...

— Ну а у меня, — сказал Гарен-младший, — в 1649 году вся семья могла исчезнуть, если бы один из моих предков, оружейник королевского полка, по счастливой случайности не очутился во время этой эпидемии в Эльзасе. Одиннадцать Гаренов умерли, и род не пресекся только благодаря потомкам этого вояки, выжившего на чужбине...

— Я понимаю, — сказал учитель музыки, — что эти воспоминания ужасны. Но все же мы живем не в варварские времена, и суда не впускают в порт просто так... Теперь существуют осмотры, санитарные свидетельства, карантин...

— Разумеется, — подтвердил мэтр Панкрас, — мы защищены лучше, чем прежде, наша наука добилась огромных успехов... И нет никаких сомнений, что в случае эпидемии...

— В случае эпидемии, — раздался хриплый и мощный голос подошедшего суконщика, — нет никаких сомнений, что свершится воля Божья, и все ваши старания ничего не изменят... Важно одно: быть готовым принять смерть, как я сейчас, ведь я только что от исповеди...

И, расплывшись в довольной улыбке, он через минуту добавил:

— А что, действительно есть основания бояться... э... этой самой напасти?

— Только подозрение, — ответил мэтр Панкрас.

— Господь убережет своих праведников! — торжественно произнес мэтр Комбарну.

После чего он повернулся и пошел домой.

— Надо же, — сказал Лакассань, — каким счастливым делает его вера! Но будет ли он так же улыбаться, когда пробьет его последний час?

— Ну, — сказал мэтр Панкрас, — я уже приободрился и советую вам пока выбросить все это из головы, ибо наше беспокойство здесь ничего не изменит... Играйте спокойно в кегли, а я пойду, на всякий случай, пороюсь в своих книгах...

* * *

Следующие несколько дней прошли относительно спокойно, хотя и не без смутной тревоги. Марсельцы довольно легко забывают любые неприятности. Впрочем, кое-какие слухи доносились до квартала: поговаривали, что хирург из Галерного госпиталя, один из тех, кто отрицал тогда всякую опасность заболевания, умер от чумы вместе со всей своей семьей. Но поскольку это были лишь слухи, и передавали их люди, которые сами ничего не видели, то в них не особо верили, тем более что каждый вечер, когда возвращался мэтр Панкрас, он на все вопросы отвечал:

— Достоверно пока ничего не известно. Будьте спокойны: если слухи о болезни подтвердятся, я первый вам об этом скажу.

Тем не менее он выглядел обеспокоенным, и в кегли больше никто не играл.

* * *

10 июля мэтр Панкрас прискакал верхом из города раньше обычного. На парапете капитан в одиночестве курил носогрейку.

— Капитан, — сказал мэтр Панкрас, — как можно быстрее созовите всех мужчин. Я должен сообщить важную новость. И постарайтесь, чтобы женщины и дети вас не услышали.

После чего он поспешно направился к дому.

Через час мужчины собрались в большой гостиной лекаря; все были мрачны и молчаливы, так как догадывались, о какой новости идет речь, особенно после слов служанки:

— Мэтр Панкрас сейчас моется уксусной водой, а мне приказал сжечь всю его одежду.

— Всю одежду? — спросил нотариус.

— Всю, что была на нем, — ответила старая Альетта. — Льняную рубашку, отличные чулки из шотландской шерсти, кружевное жабо, прекрасный синий камзол и башмаки с шелковыми бантами... Подумать только, милые вы мои, от всего этого остался лишь пепел в кухонной печке.

Такая серьезная жертва говорила о том, сколь велика была опасность. Повисла гнетущая тишина...

Наконец дверь бесшумно открылась, и на пороге показался мэтр Панкрас. Задрапированный на манер римского сенатора в длинную купальную простыню, он подошел и прислонился к камину. Все, кто сидел, вскочили на ноги.

— Друзья мои, — сказал он, — прежде всего, прошу вас не терять головы, вы мужчины и, уверен, способны хладнокровно принять то, что я вам скажу. Долг и здравый смысл велят мне предупредить вас. К несчастью, теперь стало ясно, что болезнь, о которой все говорят, это и правда чума.

— Значит, так пожелал Господь Бог, — невозмутимо произнес суконщик.

Остальные же окаменели.

— Вы сами видели больных чумой? — приглушенным голосом спросил нотариус.

— Пришлось признать, — сказал мэтр Панкрас, — что те двое грузчиков из лазарета действительно умерли от чумы, потому что третий, который работал вместе с ними, только что умер от нее же... Вскрытие делали двое крупных медицинских светил, которых специально вызвали из Монпелье, и их заключение не оставляет никаких сомнений в природе заболевания. Что же касается слухов о смерти хирурга и всей его семьи, можно не сомневаться, несчастные умерли, заразившись от грузчиков, которых лечил хирург, мне это подтвердили сами городские советники, хотя они до сих пор держат в тайне это серьезное происшествие.

Тут в разговор вмешался Норбер, недавно вернувшийся из города:

— Думаю, что могу успокоить вас, мэтр, я как раз говорил с другом, который работает помощником врача в госпитале. Он подтвердил, что эта болезнь в самом деле объявилась в лазарете, но там такие случаи не редкость. У них есть все средства для борьбы с чумой, и нет никакого сомнения, что за пределы лазарета она не выйдет.

— Нет никакого сомнения, что на этот раз она за них уже вышла, — сказал мэтр Панкрас.

Гарен-младший вытаращил глаза и открыл рот, но заговорить не смог.

— Зараза! — воскликнул капитан.

— Точнее не скажешь, — подхватил учитель музыки.

— И где она уже появилась? — спросил мэтр Пассакаль, сохранявший присутствие духа.

— В двух-трех местах, — ответил врач. — Еще неделю назад на площади Ланш умер матрос по имени Эйсален. А на днях портной Креп умер со всей своей семьей на площади Пале. И, наконец, сегодня утром прямо у меня на глазах некая Маргерит Доптан умерла на тротуаре Бель-Табль. Настоящей эпидемии еще нет, но я точно знаю, что в опасности весь город.

Среди полной тишины мэтр Панкрас сел в кресло и выпил маленькими глоточками чашку бульона, которую принесла ему старая Альетта.

— Город в опасности, — прервал молчание суконщик, — из-за своих грехов и преступлений, которым нет числа и которые копятся слишком давно. До сих пор Господь терпел, но гнев Его разразился и не скоро утихнет.

— Возможно, наш дорогой мэтр Панкрас, — сказал учитель музыки, — видит все в черном свете.

— Я вижу все в черном свете, потому что вчера видел черную-пречерную смерть.

— Если это черная чума, — сказал капитан, — она не минует никого в городе. Достаточно только посмотреть на чумного, чтобы через взгляд передалась зараза.

— Не совсем так, — уточнил мэтр Панкрас, — но действительно тонкие эманации, возбуждающие болезнь, стремительно распространяются при малейшем дуновении ветра.

— Что же нам теперь делать? — спросил мэтр Пассакаль.

— Опасность еще не так велика. К счастью, у нас здесь самая высокая точка города и превосходный воздух, очищаемый мистралем. И все-таки мы должны принять некоторые меры предосторожности. Например, детям стоит гулять только в садах за домами, куда не зайдет никто чужой и не заразит их. А мы сами и наши жены не должны без необходимости спускаться в город и уж тем более заходить в портовые кварталы. Продукты же советую закупать не в центре, а на холмах, чем дальше, тем лучше, поскольку зараза передается и через пищу. И, наконец, те, кто вынужден по делам покидать квартал, отныне по возвращении будут тщательно намыливать себя с ног до головы и обливаться уксусной водой. Эти меры не слишком обременительны и помогут нам всем уберечься, по крайней мере, в ближайшее время. Ну а если положение будет усугубляться, тогда и подумаем, что делать дальше.

* * *

На следующее утро мэтр Панкрас позвал к себе мясника, булочника и бакалейщика. Он дал каждому по несколько золотых и сказал:

— Друзья мои, пора подумать о будущем. Запрягайте лошадей и поезжайте в деревни к северу от города, куда еще не проникла чума. Ты, Ромуальд, — обратился он к мяснику, — должен будешь привезти несколько живых баранов и штук пять засоленных свиных туш. Ты, булочник, — столько мешков отменной муки, сколько выдержит твоя повозка. А ты, — сказал он в заключение бакалейщику, которого все звали не Биньоном по имени, а по прозвищу Пампетом, — закупи овощей, только не свежих, а какого-нибудь сушеного гороха, чечевицы и, главное, пять-шесть бочек, но не вина, а уксуса, самого крепкого, какой сможешь достать.

— У меня в погребе уже стоят четыре бочонка, — ответил Пампет, — и, по-моему...

— А по-моему, — перебил его мэтр Панкрас, — если эпидемия не остановится, мы будем горько плакать, что не запасли достаточное количество... Кроме того, привезите мне руты, мяты, розмарина и полыни; если их настоять на уксусе, то получится жидкость, которую называют уксусом четырех разбойников, семьдесят лет назад во время мора в Тулоне она творила чудеса. Это не лекарство от чумы, но одно из самых действенных защитных средств, оно убивает невидимых крохотных насекомых, которые разносят инфекцию. Теперь отправляйтесь, друзья мои, езжайте врозь, чтобы не слишком привлекать внимание, и, главное, накройте как следует повозки с грузом мешковиной, дабы ничего не было видно...

* * *

Спустя час три повозки выехали и вернулись только под вечер. Все трое закупщиков отлично справились с поручением. Один отправился к мельницам, в сторону Аллоша, другой к Симьяну, а третий к Обани.

По их словам, везде все было спокойно, крестьяне, у которых они закупали провизию, не задавали никаких вопросов. В это же время вернулся и Гарен-младший, ездивший за порохом в город, он рассказал (держась на расстоянии от соседей, так как не облился еще уксусной водой), что видел там почти безлюдные улицы, множество закрытых лавок и встречал людей, одетых в пропитанные уксусом балахоны... Гарен долго бы еще говорил, если б доктор не отправил его поскорее облиться уксусом.

Поскольку сказанное лавочниками уравновешивало рассказ Гарена-младшего, то обитатели квартала не были чрезмерно встревожены, и все преспокойно спали в ту ночь, кроме мэтра Панкраса, который до зари ходил взад-вперед по комнате.

На следующее утро, часов в восемь, когда каждый занялся своим делом, раздался погребальный звон в церкви Палю, потом зазвонили в Сен-Шарль, а затем в Аккуль. Это никого не удивило, все знали, что каждый день хоронят по дюжине человек. Вскоре ветер донес звон колоколов из Фаро, затем из Андума, и, наконец, зазвонили в Каталанах.

Мэтр Панкрас вышел на порог и прислушался. Капитан и учитель музыки тоже слушали, сидя у парапета: к скорбному хору присоединились колокола Жольет, затем Л'Эстака, Сент-Анри и даже дальняя часовня в Ле-Рове благодаря морскому бризу внесла свою лепту в этот печальный концерт.

— Не нравится мне эта музыка, — сказал мэтр Панкрас.

— Что ж, спору нет, — сказал учитель музыки, — менуэты господина Люли куда приятнее для слуха и особенно для ума... Все же я не думаю, что это чума. Мой приятель-медик из госпиталя говорил, что настала пора злокачественной лихорадки, и причиной нынешней вспышки послужили ядовитые испарения ювонских болот. А еще сейчас увеличились случаи осны, которую принесли два полка, вернувшиеся из Тулона, и мой приятель-медик...

— Твой приятель-медик, — вспылил мэтр Панкрас, — набитый дурак, возомнивший себя ученым доктором только потому, что клистиры умеет ставить. Я тебе говорю: в Марселе свирепствует чума, и не меньше чем половина населения неминуемо умрет.

— Я не сомневаюсь в вашей учености, — скромно ответил учитель музыки, — но надеюсь, что впервые в жизни вы ошибаетесь... В любом случае я иду в город получить плату за уроки в этом месяце и к полудню принесу вам свежие новости.

— Дай Бог, — сказал мэтр Панкрас, — чтобы ты не принес нам чего-нибудь другого.

Еле сдерживая смешок, учитель музыки поднялся, вежливо поклонился и удалился легким шагом.

Капитан проводил его тревожным взглядом, затем встал и сложил руки рупором:

— Эй, Норбер!

Учитель музыки резко остановился и обернулся.

— Если подхватишь чуму, не вздумай вернуться и подохнуть здесь.

Норбер округлил руки над головой, подпрыгнул, сделал антраша, затем опустился на одно колено и с кончиков паль-

цев послал воздушный поцелуй собравшимся на площади. Потом, подбоченясь и пританцовывая, пошел вниз по улице.

Мэтр Панкрас провел весь день в кабинете, роясь в книгах по медицине и истории. К полудню старая Альетта, не говоря ни слова, положила на столик у окна прибор и на вытянутом серебряном подносе подала жареную зубатку с укропом.

Проходя мимо хозяина, она тихонько шепнула:

— Остынет...

Мэтр Панкрас, уткнувшийся в толстенную книгу, глухо и рассеянно повторил: “остынет...”, но не шелохнулся.

Погребальный звон все звучал и звучал вдалеке, а лекарь читал: “Возьмите листочек руты с самой верхушки растения, зубчик чеснока, четвертинку грецкого ореха, комочек соли величиной с горошину. Съедайте это по утрам и можете быть уверены, что не заразитесь чумой”.

Он пожал плечами, перевернул страницу и наткнулся на лекарство немецкого лекаря Эстебаха. Рецепт был довольно сложным и показался ему интересным, но автор книги указал в примечании: “Он испытал это лекарство на четырнадцати пациентах, которые тут же скончались: по этой причине мы не приводили к нему других больных”.

Целый день мэтр Панкрас продолжал читать, обхватив голову руками и даже не взглянув на прекрасную рыбу, которая ждала его на своем укропном ложе...

Он прочел, по меньшей мере, двести рецептов, и везде одно и то же: противоядие, козелец, можжевельник, нашатырь, потогонная сурьма, репчатый лук, измельченные слизняки... Авторы книги говорили про “успешные результаты”, “облегчение страданий” и “поразительные случаи выздоровления”. Однако в заключение признавали, что “единственные действенные лекарства — это молитва святому Роху и благословение святого Франциска”.

С наступлением вечера наш лекарь захлопнул книгу, встал и подошел к окну.

Дети на площади играли в мяч, в кошки-мышки и в классики... Он с грустью смотрел на них: невинные ребятишки, полные жизни и веселья, и всем им угрожает такая страшная смерть. Вдруг дети перестали играть и застыли, с тревожным любопытством глядя в одном направлении, а потом, как по команде, разбежались по домам и захлопнули двери.

Мэтр Панкрас открыл окно и высунулся посмотреть, что их так испугало.

По улице со стороны площади Сен-Мишель приближался жуткий кортеж.

Первыми шли двое в длинных серых балахонах и черных перчатках, их лица скрывали капюшоны с прорезями для глаз. В правой руке они держали факел, а левой безостановочно трясли медным колокольчиком. Сзади по мостовой цокали лошадиные подковы и скрипели колеса... По мере того как шествие приближалось, мэтр Панкрас сначала услышал монотонное пение, а вскоре различил и слова *Miserere*.

Жители приникли к окнам, а ужасная процессия растянулась на всю площадь.

Всего было четыре телеги, их сопровождали кающиеся братья, одетые в черное, со зловещими капюшонами на голове. Каждый нес факел и пел страшные слова.

Трупы на дрогах были свалены в кучу: ведь их швыряли как попало, иногда даже из окон... Там свисала рука, тут болталась нога, рядом с ней запрокинутая голова с торчащим вверх подбородком и открытым ртом... Многие были без одежды. А на последней телеге сзади сидел, привалившись спиной к куче трупов, покойник, одетый в охотничий сюртук, синие кожаные сапоги и с белым кружевным жабо под черным как уголь подбородком.

Когда один из бормочущих монахов проходил под окном мэтра Панкраса, тот окликнул его:

– Куда вы направляетесь, брат мой?

– На кладбище Шартрэ, – ответил монах. – Ни на Сен-Шарль, ни на Сен-Мишель больше нет места.

– Как же так, чтобы за такое короткое время?..

– Да вот так, добрые люди мрут как мухи, мы даже не успеваем их исповедовать... И мое испытание подходит к концу, у меня под мышкой вздулся здоровенный бубон. До кладбища я наверное дойду, а назад вернусь вряд ли.

Когда он говорил, из угла его рта сочилась черноватая кровь. Панкрас резко закрыл окно и помчался обтереть лицо уксусом под удаляющиеся звуки погребальных песнопений... соседей звать не пришлось: они всей толпой явились сами, ища у него защиты. В дом не умещалось столько народу, даже передняя была переполнена, и мэтр Панкрас пригласил всех пройти в сад и там обсудить сложившееся положение.

Пока все располагались, подошел и нотариус мэтр Пассакаль, облаченный в пропитанную уксусом простыню, поскольку только-только вернулся из города. Он был бледен, на лице застыла жутковатая гримаса, но взгляд оставался по-прежнему ясным и сияющим – мэтр Пассакаль был человеком мужественным.

– Дорогой друг, – обратился он к лекарю, – я решил все выяснить сам, закрыл лицо маской, пропитанной уксусом,

чтобы по возможности избежать заражения, и обошел несколько кварталов города. Вас повергло в ужас проходившее здесь шествие: так знайте, я видел таких не меньше полусотни, по дюжине повозок в каждом. За два дня эпидемия молниеносно охватила полгорода, от Каталан до Эстака, для уборки трупов с улиц власти привлекли пятьдесят каторжников с галер, пообещав им за это свободу. Я встретился с моим другом Эстелем, городским советником: он и его коллеги в отчаянии. Тридцать два хирурга и шестнадцать лекарей умерли за три дня. Из Монпелье, Тулона, Экса, Авиньона вызвали других. Сегодня утром приехало шестнадцать новых медиков. В три часа дня один из них уже умер... Все монахи города с достойной восхищения самоотверженностью выполняют свой долг. Я видел, как они, преклонив колена посреди улицы, исповедовали умирающих. Вот в общем-то и все, что я хотел рассказать... Я не уверен, что тоже не заразился, поэтому собираюсь запереться на три дня в погребе, куда уже приказал отнести кое-что из съестного. Лишь на четвертый день, когда буду уверен, что здоров, я выйду оттуда. Если же, к несчастью, этот бич все же задел меня, позвольте мне умереть в одиночестве и не рискуйте жизнью ради моих похорон: просто замуруйте дверь и отдушину.

— И вам не страшно умереть без покаяния? — спросил суконщик.

— Я возьму на себя эту смелость, — сказал мэтр Пассакаль, — чтобы не подвергать риску детей, и верю, что всемилостивый Иисус, который так их любит, соблаговолит сам отпустить грехи старому пройдохе-нотариусу.

С этими поразительными словами долговязый мэтр Пассакаль развернулся и зашагал к погребу, где его ждали четыре жареных цыпленка в окружении шести бутылок вина.

— Вот поистине благороднейший человек, — сказал мэтр Панкрас, — он подал нам достойный пример. А теперь присядьте на траву и послушайте, что я вам скажу.

Уже несколько дней я мучаюсь одним очень важным вопросом: не должен ли я как врач отправиться в город помогать тысячам больных? Вполне вероятно, я расстался бы там с жизнью: но разве это не самая лучшая кончина для медика?

— Нет, нет! — раздалось множество голосов.

— Останьтесь с нами! Останьтесь с нами! — умоляли женщины.

— Погодите, — сказал Панкрас, — я должен заранее объяснить, какое решение принял и почему.

Я хорошо знаю, что такое чума, потому что сам ухаживал за тысячами несчастных во время мора в Гамбурге, в Герма-

нии... Кроме того, я говорил об этом бедствии с многими другими лекарями и ознакомился со всем, что было написано на данную тему и не только на французском, но и на латыни, английском и немецком языках. Так что у меня есть свои сложившиеся взгляды, и они совпадают с мнением господина Буайе, главного флотского медика из Тулона. "Чума, — писал он, — это беспощадная заразная болезнь, она неизлечима, и есть лишь два надежных способа уберечься от нее: огонь и бегство". Того же мнения придерживался и греческий историк Фукидид. Существуют сотни лекарств: но все они, как абсолютно точно доказано, лишь ускоряют смерть больного, что само по себе неплохо, но далеко не то, чего мы хотели бы достигнуть.

Словом, я считаю, что лечение зараженных чумой — это забота о мертвых, тогда как наша задача заключается в спасении живых.

Собравшиеся оживленно зашептались, послышались вздохи облегчения и даже смешки.

— Но возможно ли, — продолжил Панкрас, — уберечься от бедствия?

И, выждав несколько мгновений, твердо ответил:

— Да.

Тут из отдушины в погребе раздался голос мэтра Пассакаля:

— Эстель мне сказал, что каноники монастыря Сен-Виктор из предосторожности заделали все входы и выходы в обитель, и там никто не заболел.

— Я как раз собирался сказать, — воскликнул Панкрас, — что во время эпидемий монахи-затворники порой даже не слышали о чуме, которая свирепствовала вокруг. Итак, друзья мои, мы последуем их примеру. Возможно, такое поведение не очень достойно монахов, чье призвание — не щадить себя во имя христианского милосердия, но вполне подходит семейным людям.

И для начала мы должны по всеобщему согласию установить строгую дисциплину: с сегодняшнего дня отсюда никто не выйдет.

— А как же святая месса? — возмутился недовольный суконщик. — Каждый день я должен с семьей ходить в церковь Мадлен и хочу заметить тем, кто там не часто бывает, что теперь самое время ходить туда каждое утро да не просто ходить, а бежать!

И он пристально посмотрел на мэтра Панкраса, которого нельзя было назвать образцом набожности.

— Знайте же, — сказал лекарь, — от мессы на некоторое время придется отказаться. Господь видит наши помыслы и пой-

мет, что это не от недостатка рвения: он-то уж точно ведает, что церковь, как, впрочем, и любые места, где скапливается народ, это опасный рассадник заразы. Мы все знаем вас как очень благочестивого человека, но подумайте, если, возвращаясь с мессы, вы занесете к нам чуму, будет ли это по-христиански?

— Я уверен, — твердо сказал суконщик, — только отъявленный безбожник может думать, что заразится чумой, слушая святую мессу! Истинные христиане не должны бояться этой напасти! Ну а я, пока меня носят ноги, ни единого раза не пропущу обедню. Такого не случалось со мной со дня первого причастия, не случится и завтра!

— Стало быть, — сказал мэтр Панкрас, — вы решили принести нам сюда болезнь и смерть?

— Не в моей власти что-либо решать, — надменно произнес суконщик. — Решает только Господь Бог, и все ваши попытки избежать Его воли не только нелепы, но и кощунственны. Если Ему угодно наслать на нас чуму или смерть, то противиться Ему — безумие, и я не собираюсь поддерживать эту вашу нечестивую и бессмысленную затею. Итак, предупреждаю, завтра утром я со всей семьей пойду в церковь, потом заеду в квартал Сен-Барнабе навещу брата, о котором уже пять дней ничего не слышал, и вечером вернусь домой, нравится вам это или нет.

Договорив, он нахлобучил на голову шляпу и вышел.

— Благочестие этого дурня, — сказал мэтр Панкрас, — может нам всем стоить жизни.

— Ну уж нет, — сказал капитан, — надо просто запереть его в подвале со всей семьей...

— Именно так мы и поступим, если он вернется завтра вечером, — сказал мэтр Панкрас.

— А почему не сейчас? — спросил Гарен-младший.

— Потому что, надеюсь, его образумит увиденное, — сказал лекарь, — и он сам прибежит к нам за спасительным уксусом. Поговорим теперь о том, как все обустроить, ведь мы будем жить почти на осадном положении. Достаточно ли у нас съестных припасов?

— С водой, во всяком случае, перебоев не будет, — ответил мэтр Гарен. — Источник никогда не давал еще столько воды...

— Им бы лучше не пользоваться, — сказал лекарь. — Эта вода вытекает из пруда в монастыре картезианцев, который наполняется водами Ювоны, — стоит одному больному упасть в эту реку или просто омыть там свои бубоны, и она будет заражена. Мы станем пить только воду из колодца.

— У меня колодец метра четыре в глубину, не меньше, — сказал мэтр Гарен, — этого хватит на добрую тысячу кувшинов.

— А мой, — сказал бакалейщик Биньон, — всего двухметровый, но у него постоянный уровень воды в течение всего года... правда, когда я слишком много вычерпываю для поливки, он понижается, но за ночь восстанавливается.

— Итак, — сказал мэтр Панкрас, — за воду можно не бояться. А что у нас с пищей?

Вперед вышел бакалейщик Биньон.

— Благодаря последним закупкам мои погреба заполнены. Из Тулона еще задолго до беды мне привезли дюжину бочек с анчоусами и десяток ящиков соленой трески. У меня целый погреб засыпан картофелем, есть пять бочонков оливкового масла, здоровенные банки пряностей, пять-шесть мешков гороха (он немного подпорчен долгоносиком, но его можно перебрать) и двести фунтов чечевицы. И, кроме того, — смеясь, сказал он, — дубовые тыквы.

Этих так называемых тыкв он купил небольшую партию у испанского капитана. Они представляли собой деревянные шары, похожие на пушечные ядра и почти такие же жесткие. Но если распилить их пополам, то можно было полакомиться вкусной и питательной мякотью. Однако покупателей Патриса отпугивал вид странных штуковин, гулко стучащих друг о друга, и большая часть партии осталась нераспроданной.

— С такой толстенной кожей, — говорил бакалейщик себе в утешение, — они и за четыре года не испортятся!

А его сын, весельчак по натуре, подбивал отца открыть фабрику по изготовлению бильбоке.

— И много их у вас осталось? — спросил мэтр Панкрас.

— Два погреба забиты до самого верха, — ответил сын Биньона.

— Возможно, они спасут нам жизнь, — сказал лекарь. — А у тебя сколько муки, булочник?

Красавчик булочник призадумался, он довольно туго соображал, и наконец ответил:

— Целая дюжина мешков, и в каждом по сто фунтов будет.

— Сколько из этого получится фунтов хлеба?

— Примерно вдвое больше, — ответил булочник. — А вот дров мне, пожалуй, не хватит! Запасов всего на неделю...

— При необходимости, — сказал мэтр Панкрас, — пустим на дрова наши полы. Но пока еще до этого дело не дошло!

— И потом, — сказал Гарен-младший, — зима была не такая суровая, и в погребах у всех остались запасы.

— У меня еще на пару возов! — послышался из отдушины голос нотариуса.

— Как вы себя чувствуете? — крикнул ему Панкрас.

— Жарковато немного, — ответил нотариус. — Но я думаю, это из-за двух бутылок вина, которые я сейчас выпил, они здорово меня разгорячили.

— Это определенно из-за вина, — крикнул Панкрас. — Постарайтесь теперь поспать!

— Не могу! — крикнул в ответ нотариус. — Уж очень интересно все, о чем вы говорите! Давайте! Давайте! Спросите у мясника, что есть у него!

Толстяк Ромуальд смущенно вышел вперед и пробормотал скороговоркой:

— Половина бычьей туши, теленок и три барана. В расчете на сто человек недели на две нам хватит. Или даже на три, если мясо не испортится...

— У меня в погребе есть ледник, — сказал лекарь, — отдаю его в твое распоряжение.

— А если это продлится больше трех недель? — спросил нотариус.

— В конце концов, — ответил лекарь, — в конюшнях стоят два мула — мой и ваш, и две лошади мясника.

— Вы собираетесь съесть моих лошадей? — в ужасе спросил мясник.

— Мы собираемся выжить, — ответил лекарь. — Да и ты тоже хочешь жить. А если их съедим, купим тебе потом новых, еще лучше.

Затем в порыве великодушия каждая хозяйка перечислила все, что у нее имелось. В те времена принято было набивать битком шкафы и кладовки, потому что в снабжении, даже в крупных городах, случались перебои, не то, что сейчас.

Добрые старушки похвалялись таким несметным количеством горшочков варенья, что Гарен-младший заподозрил их в обмане (и напрасно), а молодые матери семейств наперебой перечисляли свои припасы: тридцать туазов сосисок, десятки окороков, мешки с каштанами, кукурузной мукой, горохом, чечевицей, фасолью — всего столько, что мэтр Панкрас довольно потирал руки.

— Ну что ж, друзья мои, — сказал он, — думаю, если быть экономными, мы сможем продержаться месяца четыре, как минимум. К тому времени поспеют овощи, которые мы посадим в огородах, а это даст нам еще два месяца, если, конечно, понадобится: следовательно, мы спасены!

Тут вперед вышел капитан.

— А я? Почему вы у меня ничего не спросили? — обиженно сказал он.

— Холостяки обычно не держат большие запасы... — ответил Панкрас.

— Да, но вы забыли главное, — сказал капитан. — Я могу предоставить в распоряжение общины четыре бочки отличного вина, считай почти тысяча бутылок, два бочонка рома, небольшой бочонок водки и сотню с лишним бутылок менее крепких напитков: мараскин, агуардиенте, шнапс, киршвассер и виноградную водку, а это лучшие в мире лекарства.

Его слова были встречены одобрительным шепотом.

— А сейчас, — сказал мэтр Панкрас, — советую вам пойти хорошенько пообедать. Но потом возвращайтесь, я каждого осмотрю, чтобы удостовериться, что мы не запираем волка в нашей овчарне... До скорого.

Вдалеке все еще раздавался погребальный звон, но план лекаря внушил всем надежду.

Когда жители разошлись по домам, вдруг снова послышался голос мэтра Пассакаля, он позвал капитана, и тот подбежал к отдушине.

— Что такое? Вам стало хуже?

— Нет, — громко ответил нотариус. — Наоборот, кажется, иду на поправку. Но, наверное, дело пошло бы скорее, если бы вы принесли мне одну из тех бутылок, о которых сейчас говорили!

— Здравая идея, — одобрил капитан и помчался к своему погребу.

После обеда мэтр Панкрас осмотрел сначала детей: это не заняло много времени, они уже две недели не покидали квартал. Затем настала очередь мужчин: почти все выходили в город, и доктор скрупулезно проводил осмотр.

Он просил их раздеться, лечь на стол и при свете четырех факелов исследовал сперва кожу. После этого нюхал их дыхание, осматривал язык, горло, измерял пульс, прощупывал живот, подмышки, пах. Каждый раз, когда он приговаривал: “Этот здоров”, подходила старая Альетта и растирала счастливца уксусом четырех разбойников; тот спрыгивал со стола и разражался смехом.

К полуночи настал черед женщин, а следом и девушек. Четыре кумушки пришли держать факелы. Надобно заметить, что мэтр Панкрас совершал этот осмотр чрезвычайно тщательно: по целой минуте и дольше поглаживал кожу заливающейся румянцем девушки, а после, склонившись к ней почти вплотную, отыскивал малейшие следы царапин или самого крошечного прыщика, ведь чума — болезнь очень коварная, и первые ее симптомы трудноразличимы. Наконец к трем часам ночи все закончилось, и к всеобщей радости лекарь сообщил, что чума к ним в квартал не попала.

Однако, Гарен заметил, что мэтр Комбарну и его семья пропустили осмотр, да и учитель музыки еще не вернулся.

— Меня беспокоит этот молодой человек, — сказал Панкрас, — его отсутствие — плохой признак. А что касается суконщика, завтра посмотрим.

Все разошлись.

Мэтр Панкрас уже стал раздеваться, как из погреба вдруг послышался жалобный стон... Его ужаснула мысль, что он забыл о нотариусе, который, возможно, лежит в агонии на куче дров... Он тревожно прислушался. Это точно был голос нотариуса, но тот не стонал, а пел:

О, красавица, когда же
Ты откроешь свой секрет?
Ах, дозволь в твоем корсаже
Мне нащупать счастья след...

* * *

В шесть утра старая Альетта с трудом добудилась хозяина.

— Мэтр, суконщик уезжает!

Панкрас вскочил с постели, в ночной рубашке кинулся к окну и настежь распахнул его.

Мэтр Комбарну подтягивал поводья лошади, запряженной в тележку.

На переднем сиденье расположилась его жена, а сзади на голубеньких подушках устроились пять дочерей.

— Мэтр Комбарну, не образумились за ночь? — спросил Панкрас.

— Напротив, — ответил суконщик, — укрепился в решимости презреть чуму и смиренно положиться на Божью волю, не изменяя своим правилам.

— В таком случае, раз уж вы едете к брату в Сен-Барнабе, лучше бы вам там и остаться.

— С какой стати? — огрызнулся суконщик.

— Потому что ради нашей безопасности мы будем вынуждены принять против вас и вашей семьи меры, которые вам не понравятся.

— Хотел бы я на это посмотреть, — самодовольно усмехнулся суконщик.

— Увидите, — сказал мэтр Панкрас, — и, скорей всего, уже нынче вечером!

Сказав это, он закрыл окно, а суконщик щелкнул кнутом.

Все утро Панкрас отдавал последние распоряжения. Сперва он велел пробить бреши в общих стенах садов, чтобы можно

было проходить из одного в другой. А сам тем временем пошел проводить опись погребов вместе с капитаном, который записывал в старый судовой журнал, сколько и каких припасов в них хранится. Напоследок он приказал спустить с чердаков старые соломенные тюфяки, перемазать их навозом и кроличьей кровью, а потом разложить на улице так, как если бы их выбрасывали из окон... К вечеру все ставни были захлопнуты и двери закрыты на засовы.

Позже Панкрас отправился к погребу навестить забытого всеми нотариуса. Он склонился над отдушиной и к своему ужасу услышал придушенный хрип.

– Несчастный, – подумал он, но все же позвал нотариуса.

После третьего окрика хрип прекратился, и раздалось невнятное мычание. В полумраке Панкрас различил нотариуса, тот сидел на тюфяке и сладко зевал.

– Где я? – спросил он, удивленно хлопая глазами.

– В вашем собственном погребе, – ответил Панкрас. – Как вы себя чувствуете?

– Голова трещит, во рту противно!.. – сказал нотариус. – И не могу понять, почему тут все пропахло ромом.

Целый день обитатели квартала трудились, как пчелы, а дети играли в садах под присмотром бабушек: те запугивали их сказками о злом сером волке, который никого не трогал, пока спал, но стоило кому-нибудь вскрикнуть, и он тут же прибегал. Таким образом, дети играли в тишине, если же вдруг кто-то громко смеялся, все испуганно бежали прятаться в конюшни...

К вечеру мужчины собрались посоветоваться, как встретить суконщика.

– Нельзя его впускать, – сказал Гарен. – Я уже заложил перекладиной его дверь. Раз уж ему так хочется подхватить чуму, пусть идет умирать куда подальше.

– Он поднимет шум, – сказал лекарь. – И, конечно, пойдет жаловаться властям, а по-моему, не стоит привлекать к нам внимание... Пускай считают, что мы умерли или уехали.

– И что же тогда с ним делать? – спросил Биньон.

– Их семеро, – сказал нотариус, – нельзя же всех убить!

– Мы никого не собираемся убивать, – сказал Панкрас.

– Пока не собираемся, – сказал капитан. – Не забывайте, что заболевший черной чумой точно умрет, а у его соседей еще есть шанс выжить. Надо полагать, тот, кто рискует заболеть, вправе убить того, кто обречен.

– Это, пожалуй, разумно, – сказал мэтр Панкрас. – Но мэтр Комбарну, насколько мне известно, еще не заболел. И если вечером он вернется, прежде всего, мы попытаемся его убедить. Но если он будет упорствовать в своем намерении

нас заразить, тогда запрем его у Гарена в погребе, который находится в конюшне. А вздумает кричать — заткнем рот кляпом. Впрочем, уверен, он не будет сильно сопротивляться — ведь если его силком посадят под замок, получится, что он не изменяет своим принципам, и на нем нет греха перед Богом.

— Пойду подготовлю толстый мешок ему на голову, — сказал капитан, — и веревки, чтобы связать его.

— Ну а я пойду освобожу погреб, — сказал Гарен, — потому что убежден, этот фанатик...

Но он не успел договорить — вошла старая Альетта.

— Приехал мэтр Комбарну, я видела его через окошко на кухне.

Мэтр Панкрас взбежал на второй этаж, нотариус, Гарен и капитан последовали за ним.

Панкрас медленно открыл ставни...

Повозка суконщика остановилась слева от двери его дома. На сиденье никого не было, но на дне лежали друг на дружке женщина и четыре девочки... Их лица в черных и красных пятнах страшно вздулись, мать все еще сжимала в руках малышку, похожую на перемазанную смолой куклу...

На ступеньках перед дверью стоял, скрючившись, мэтр Комбарну... Он жутко стонал, потом вдруг упал на колени, и его синяя шляпа покатилась по тротуару...

Изо всех сил он попытался дотянуться до замка огромным сверкающим ключом, но рука его упала, как плеть, и выронила ключ, зазвеневший о каменные ступени...

— Помогите! Помогите мне! Откройте! — простонал он.

— Мэтр Комбарну, — с дрожью в голосе сказал Панкрас, — вы больше сюда не зайдете...

— Откройте ради Бога, — просил несчастный, — помогите мне!

— Ради ваших ближних, — сказал мэтр Панкрас, — не пытайтесь войти: здесь только здоровые люди, включая женщин и детей... Вы подхватили заразу по собственной вине, не заражайте других.

— Господь оставил меня... — глубоко вздохнув, простонал суконщик.

— Не говорите так, — сказал капитан, — как раз сейчас он призывает вас к Себе.

— Моя жена и мои дети мертвы...

— Бог не захотел разлучать вас! — сказал нотариус.

— Дайте мне хотя бы попить, — в отчаянии взмолился суконщик.

— Я вам спущу укрепляющее средство, — сказал Панкрас, — но, честно говоря, уже ничего нельзя сделать.

— Я это прекрасно знаю... — прошептал суконщик. — Ужасно, такой человек, как я, должен вот так умирать на улице...

— Возможно, это даже лучше, чем умирать дома, — сказал капитан. — Крыша не мешает вашей душе, и она вознесется прямо на небо!

Между тем Гарен-младший спускал на веревке кувшин прохладного белого вина... Умирающий с огромным усилием пополз по тротуару и наконец дотянулся дрожащей рукой до кувшина... С трудом поднес его к губам. Но только сделал первый глоток, как горлом хлынула черная кровь...

— Мэтр Комбарну, — сказал Панкрас, — если у вас остались еще силы, попытайтесь сесть на ступеньки моей лестницы, прислонив спину к двери.

— Зачем? — выдохнул умирающий.

— Это станет последним в вашей жизни благим делом, — сказал Панкрас, — потому что ваши останки будут отпугивать бандитов, которые, может быть, придут нас грабить, и так вы спасете жизни трем десяткам знакомых вам детей...

Тогда громадный угрюмый суконщик, корчась и извергая при каждом движении кровавое месиво, дополз до ступенек... И неподвижно там замер.

— Все кончено. Он мертв, — сказал капитан.

Но тот собирал последние силы своего истерзанного тела. И вот невероятным усилием ему удалось развернуться: сотрясаемый ужасными спазмами, он прислонился спиной к двери и в последний раз сложил на груди руки.

Альетта, которая высунула голову из-под руки хозяина, неожиданно вскрикнула:

— Ангел! Смотрите, ангел!

Ни Панкрас, ни капитан его не видели: но они изумленно смотрели, как на черном вздувшемся лице страдальца расцвела светлая улыбка счастья.

Когда стемнело, мэтр Панкрас хорошенько снарядил Гарена-младшего и мясника: выдал каждому по три рубашки, халаты до самых пят, парусиновые перчатки, капюшоны, доходившие им до груди, с прорезями для глаз и, наконец, обильно полил их уксусом четырех разбойников. Они взяли по длинному крюку, которыми дровосеки ворочают бревна, и вышли.

Лошадь, по-прежнему запряженная в погребальную повозку, прислонилась к стволу платана и преспокойно спала стоя.

Они подвели ее к двери Панкраса, крюками стащили на землю пять трупов и мастерски разместили их вокруг мертво-

го суконщика, уронившего голову на кружевное окровавленное жабо.

* * *

Жизнь затворников устроилась с почти военной строгостью. Похоронный звон, сменивший заутренний, будил их с первыми лучами солнца, и день начинался с осмотра всех членов общины. Лекарь сидел под большим инжирным деревом нотариуса и осматривал каждого по очереди. Подозрения вызывал даже легкий жар, а малейшая царапина считалась предвестником бубона. Больного тут же изолировали в подновленном к такому случаю погребе, поливали, как корнишон, уксусом и держали там не меньше трех дней.

После врачебного осмотра женщины, стараясь не шуметь, занимались хозяйством.

Самые маленькие дети играли в саду под присмотром девушек, со старшими под инжирным деревом нотариус проводил школьные занятия, а географию ему помогал преподавать капитан. Тем временем Гарен-младший, скуки ради, зарисовывал новую модель мушкета, мясник мариновал мясо (чтобы оно дольше хранилось), бакалейщик распиливал свои дубовые тыквы, а булочник замешивал тесто. Дым из трубы мог их выдать, поэтому он затапливал печь только ночью раз в трое суток, и то дождавшись ветра, который развеивал дым.

Те, у кого не было другого дела, занимались огородом, воду приходилось вытаскивать из колодца вручную, не пользуясь вечно скрипучими роликами. Вскоре взошел горох, а затем и чечевица с фасолью к вящей радости мэтра Панкраса.

В полдень все собирались на обед в огромной конюшне лекаря, переделанной в трапезную.

После дневного сна, который продолжался до пяти часов, женщины шили и вязали, мужчины играли в карты, шашки, шахматы, а старые кумушки рассказывали детям сказки.

На чердаке мэтра Панкраса — в самом высоком доме квартала — всегда находился дежурный, наблюдавший из окошка за тем, что творится в городе и порту. Наблюдатели сменялись каждые два часа и шли докладывать об увиденном доктору.

Первое время они видели вереницы телег, идущие строем отряды людей — капитан, глядя в подзорную трубу, опознал в них раскованных каторжников. Каждый нес на плече длинный багор с железным крюком на конце.

Корабли больше не заходили в порт, зато многие оттуда уплывали. Вскоре похоронных кортежей стало меньше, ули-

цы опустели. И через площадь квартала уже никто не проходил, хотя бывали тревожные случаи...

Голодные бродяги, вооруженные пиками, а иногда и пистолетами, забредали туда в поисках пищи и наживы. Они подходили к фасадам домов, вдруг в ужасе останавливались и со всех ног убегали: верный суконщик с черным лицом, кишащим червями, в окружении останков своих родных служил общине верой и правдой.

Такая жизнь продолжалась почти месяц, и, хотя жителям ничто не угрожало, с каждым днем они все больше впадали в уныние. Мрачный погребальный звон, не прекращавшийся до захода солнца, изводил их целый день, а необходимость говорить шепотом пробуждала чувство вины. У детей, вынужденных сидеть тихо, пропадал аппетит, и это удручало их матерей. Старики, больше всех страшившиеся смерти, первыми теряли рассудок.

Однажды исчезла мамаша Пижон, которой уже перевалило за восьмой десяток: ее нашли под кроватью, куда она забилась и отказывалась выходить. Когда ее попытались достать, она так ужасно закричала, что пришлось отступиться, и дочь была вынуждена два раза в день носить ей еду в это нелепое убежище, где она так и лежала плашмя в своих экскрементах.

А в один из дней вполне разумный папаша Ромуальда начал ходить на четвереньках и изредка лаять: он объяснил мэтру Панкрасу, что чума никогда не трогает животных, и всем надо последовать его примеру. Панкрас, посчитав этот случай неизлечимым, согласился, но попросил его лаять потише, и тот любезно согласился.

Кроме того, скука и страх очень скоро стали дурно сказываться на нравах обычно столь добропорядочных людей: мужья и жены напропалую изменяли друг другу, впрочем, никто особенно не огорчался по этому поводу, кроме мясника Ромуальда, его бесило, что он стал рогоносцем, но Панкрас привел ему в утешение такие прекрасные философские доводы, что мясник, уступив свою жену булочнику, стал жить с молоденькой служанкой бакалейщика. А та была и рада, потому что с самого начала эпидемии боялась умереть девственницей... Такой разврат удручал добродетельного нотариуса, тем более что и сам он стал жертвой этой напасти: вдруг очутился в постели с женой рыбника, которая не отличалась ни особой красотой, ни юностью, зато была бойкой и предприимчивой.

Мэтр Панкрас утешал его, объясняя, что страх смерти всегда пробуждает инстинкт продолжения рода: человек, считая себя обреченным, радеет о том, чтобы оставить потомство и таким образом восторжествовать над смертью.

* * *

Вечером на сороковой день затворничества, когда все прогуливались перед ужином по саду, раздался топот ног по лестнице и на пороге с сияющим лицом показался дежурный. Это был сын Биньона.

— Победа! — вскричал он. — Эпидемия прекратилась!

Все разом встали.

— С чего ты взял? — спросил мэтр Панкрас.

— Они на радостях жгут костры!.. — ответил сын Биньона. — Самый большой в Старом порту, и вокруг танцующие фигуры!

Несколько женщин пустились в пляс, крича от счастья.

— Тише! — сказал Панкрас. — Ликовать еще рано. Прежде надо сходить посмотреть!

Он направился к лестнице, но его опередил капитан.

Выходящее на крышу окно было открыто, Панкрас ловко взобрался к нему по приставной лестнице и высунул голову, как раз на уровне сапог капитана.

На огромном темном пятне города виднелось несколько краснеющих, как угли, точек. А чуть ближе, в Старом порту распустился пламенный букет.

Капитан раздвинул подзорную трубу и пытался ее настроить...

— Что вы видите? — стукнул его по сапогу мэтр Панкрас.

— Громадное пламя, — ответил капитан. — И перед ним одни бросают в огонь других.

— Я так и знал, — сказал Панкрас, — это костры... сжигают трупы, потому что не хватает времени их закапывать.

В мрачной задумчивости они спустились по лестнице, где на ступеньках их ждали мужчины.

На следующий день рано утром в дверь мадам Николь постучали. Сначала сдержанно, затем все сильней и сильней... Некоторые обитатели квартала повскакивали со своих кроватей, кинулись к закрытым окнам и, не осмеливаясь их открыть, приникли к щелям в ставнях. На улице кто-то кричал:

— Откройте! Это я, Норбер!

Все узнали голос учителя музыки, которого считали мертвым, но ему никто не ответил.

— Я знаю, что вы прячетесь за ставнями, — завопил он. — Откройте, или я выломаю дверь.

Мэтр Панкрас приоткрыл окно, расположенное прямо у него над головой.

— Ради Бога, — сказал он ему, — не кричите так и не поднимайте столько шума.

— Ради Бога, — сказал учитель музыки, — позвольте мне забрать свои вещи или киньте их в окно. Я ухожу из города и вам советую поступить так же: через три дня они собираются сжечь весь квартал!

— Что вы говорите?! — Панкрас стал белее полотна.

— Откройте, я вам все расскажу, — ответил учитель музыки, — и, возможно, спасу вам жизнь...

— Стало быть, намерения у вас благородные, — сказал Панкрас. — Но вы наверняка занесете нам чуму!

— Я переболел чумой и лишь чудом выкарабкался. А вы прекрасно знаете, ею нельзя заразиться дважды.

— Если так, вы действительно больше не заболеете, но ваша одежда, наверное, кишит мельчайшими насекомыми, которые несут заразу всем вашим друзьям.

— Вероятно, вы правы, — сказал учитель музыки, — потому что под предлогом того, что я больше ничем не рискую, меня заставили в течение двух месяцев убирать гниющие на тротуарах трупы. И что мне теперь делать?

— Во-первых, — сказал лекарь, — вы разденетесь догола и оставите все ваши пожитки на парапете. Затем я вам передам мыло, и вы намылите себя с ног до головы, особенно тщательно — волосы. Потом я спущу большую склянку с уксусом, и вы будете целый час натирать им тело и мыть ногти рук и ног... Наконец, я сброшу вам пакет с чистой одеждой, и уж тогда вы сможете войти, не рискуя подвергнуть нас всех опасности.

— Извольте, — ответил учитель музыки.

И он начал раздеваться.

Процедура эта растянулась почти на час, и немало женщин и девушек следили за ней сквозь закрытые ставни, ведь Норбер был довольно недурно сложен, из-за чумы он похудел, но это лишь подчеркнуло его природное изящество.

На пустынной площади у источника он тщательно скреб все тело. А когда закончил, Панкрас, прижимая к носу тряпку, пропитанную уксусом, открыл ему дверь и проводил в кабинет.

Их разговор продолжался больше часа. Остальные мужчины ждали в саду, молча расхаживая взад-вперед, опустив головы и сунув руки в карманы. Некоторые женщины маленькими группками стояли по углам и разговаривали вполголоса. Другие собрались вокруг старой Альетты, которая пыталась подслушивать под дверью лекаря. Но ничего вразумительного она не услышала, а, когда Панкрас открыл дверь, упала прямо к его ногам. “Чума разрази любопытную бабу!” — рявкнул он, и Альетта, задыхаясь от ужаса, бросилась прочь.

В полной тишине собеседники прошествовали к середине сада, и учитель музыки поднялся на крышку колодца.

Все встали перед ним полукругом, а Панкрас и нотариус присели на край колодца.

— Друзья мои, — начал учитель музыки, — у меня для вас печальная новость: мэтр Панкрас был прав, город обречен. Я слышал, вам уже кое-что известно, благодаря подзорной трубе капитана. Но это просто цветочки по сравнению с реальным положением дел. А реальность такова, что трупы выбрасывают из окон и ими завалены тротуары. Все, кто могли, уехали в предместья, но много людей осталось, и каждый день население сокращается по меньшей мере на одну двадцатую. Мертвецов больше не хоронят, их бросают в огонь, но всех сжечь не успевают, несмотря на помощь сотни с лишним каторжников, которых каждую неделю приходится заменять новыми, потому что приговор — от чумы не защита. Здесь вы, может быть, и в безопасности, но ненадолго.

— Это почему же? — резко спросил нотариус.

— Потому что эдилы решили сжечь все зараженные дома и даже целые кварталы... Позавчера спалили Турет. Вчера более тридцати домов на площади Ланш, а сегодня, говорят, добрались до Плен-Сен-Мишель, где чума свирепствовала особенно сильно!

— Это же в двух шагах отсюда! — сказал капитан.

— Ну да, — сказал учитель музыки. — Более того, поговаривали и о нашей площади. Согласно полицейским сводкам, вы все мертвы, и, полагаю, дня через два-три вы увидите у стен домов охапки хвороста и факелы.

— Тогда мы выйдем, — сказал нотариус, — и они ничего не подожгут.

— Верно, — сказал учитель музыки. — Они не столь жестоки, чтобы сжигать здоровых людей. Но сперва у вас стащат все съестное, ведь нехватка еды вызывает голод, и власти конфискуют все запасы. Затем мужчин обяжут работать вместе с каторжниками — хоронить тысячи разложившихся трупов. Вам выдадут крюк, капюшон с отверстиями для глаз, перчатки и наградят приятным прозвищем “стервятники”; правда через неделю вам уже будет все равно, вы сами покроетесь гнойниками и бубонами, и бродячие собаки станут грызться за ваши останки: вот что вас ожидает, если вы будете иметь глупость остаться здесь.

Он еще не договорил, а женщины уже плакали, прижимая к себе детей; мужчины, бессильные что-либо сделать, оставались неподвижны, старики растерянно смотрели на них.

Первым очнулся капитан.

— Юноша прав, — сказал он. — Остается дать деру.

— Мы в первый же день должны были так поступить... — сказал нотариус. — Я мог бы отправиться в свой домик в Эксе...

— Чума уже и там! — сказал учитель музыки. — Следовало бы закрыть школы, суды, церкви...

— Стало быть, — сказал капитан, — есть только один способ: найти лодку и отправиться на Корсику.

— Мой дорогой капитан, — сказал Панкрас, — это был бы идеальный выход из положения. Но где вы найдете лодку?

Капитан сделал неопределенный жест, качнул головой и умолк. Гарен- младший, булочник, мясник по очереди предлагали бестолковые планы, как это и происходит в безнадежных ситуациях...

Мэтр Панкрас, всегда сохраняющий хладнокровие, размышлял.

— Проще всего, — сказал он, — отправиться к холмам. Сначала мы дойдем до деревушки Аллош, там у меня есть родственник... Если чума проникла и туда, будем двигаться дальше... А, боюсь, так оно и есть. В таком случае остаются только холмы. Возможно, мы найдем убежище в каком-нибудь гроте, на безлюдном склоне, где никто не станет нас искать.

— Но что мы будем есть? — спросил учитель музыки.

— У нас пока достаточное количество съестных припасов. К тому же есть еще четыре лошади и два мула...

— Они ужасно тощие, — заметил мясник.

— Никто сейчас не собирается их есть, мы запряжем их в телеги и повозки, дабы перевезти провизию. Отдадим им все сено, которое у нас осталось, и последний мешок овса. За день соберем вещи и к полуночи отправимся в путь.

— Как у вас все просто! — сказал учитель музыки. — Думаете, можно вот так взять и уехать? Во-первых, когда увидят ваши груженые телеги, на вас тотчас нападут вооруженные шайки, которые снуют по городу в поисках пищи и грабят погреба зараженных домов.

— В полночь? — спросил нотариус.

— Особенно ночью, — ответил учитель музыки.

— У нас двадцать три ружья, — сказал мэтр Гарен, — тридцать пистолетов и более сотни фунтов пороха.

— С первым же ружейным выстрелом к ним в подкрепление прибегут новые банды мародеров. Кроме того, все выходы из города охраняются, чтобы не дать заразе перекинуться на другие области...

— И как тогда быть? — вскричал одолеваемый страхом бакалейщик.

— Выходить по одному, спрятав под одеждой продукты, — ответил учитель музыки. — Каждый удирает сам по себе.

— А женщины? — спросил Панкрас.

— А дети? — негодовал мэтр Пассакаль. — Вы хотите бросить детей?

Среди женщин поднялся ропот.

Учитель музыки развел руками, закрыл глаза, пожал плечами, но ничего другого не предложил.

Наступило долгое молчание, которое нарушил мэтр Панкрас:

— Пройдемте в мой кабинет.

Он увлек за собой нотариуса, учителя музыки, оружейника и капитана.

* * *

Как только они ушли, женщины начали судачить об учителе музыки, он, де, всегда старался привлечь к себе внимание и наверняка не болел чумой, а небось провел два месяца у какой-нибудь своей старой любовницы, пока она его не выставила за дверь. Его обвиняли в том, что он испорченный мальчишка, паяц. И вообще, заключили некоторые кумушки: незачем никуда бежать, умнее всего сидеть тут да пережидать, как до сих пор и делали.

Мужчины уже стали склоняться к их мнению, когда у двери появился рыбник Пампет, дежуривший наверху.

— В квартале Плен-Сен-Мишель бушует пожар, — сказал он.

Все вздрогнули, ведь именно об этом рассказывал учитель музыки. Женщины заплакали, мужчины потянулись к дому мэтра Панкраса, и тут он сам показался на пороге.

Пампет доложил ему о случившемся.

— Наш друг говорил об этом, — сказал Панкрас, — уготованная нам участь не оставляет больше сомнений, но еще не все потеряно. Хорошенько послушайте меня и смело, без лишних слов выполняйте то, что я вам скажу... Сейчас мы немедленно погрузим на повозки съестные припасы и укроем их мешковиной. Сверху лягут полураздетые мужчины, женщины и дети — как будто это чумные трупы — уж я позабочусь придать им жуткий вид. Остальные пойдут сзади — в капюшонах с факелами и колокольчиками в руках, распевая *Miserere*. Я уверен, наше шествие не станет привлекать грабителей, а, напротив, обратит их в бегство. Что же касается стражников у застав, они нам не помеха, ручаюсь, если каждый сыграет ту роль, которую я ему поручу, мы преспокойно минуем все преграды.

Без промедления подготовьте поклажу и постарайтесь, чтобы женщины не загромоздили повозки бабушкиными комодами, семейными реликвиями и прочей дребеденью, как они обычно норовят сделать. Я сам проверю вещи и не позволю взять ничего лишнего. Приступайте!

* * *

Приготовления к отъезду продолжались весь день. Смазали колеса, накормили лошадей, погрузили на телеги мешки с провизией, бочки с вином, порох, пули и ткани. Затем мэтр Панкрас взломал погреба несчастного суконщика.

— Теперь он больше не нуждается в своих товарах, — сказал он, — тогда как нам они очень помогут.

Вслед за этим он выбрал среди женщин дюжину самых искусных мастериц и расположился с ними в своей столовой, превращенной в огромную швейную мастерскую: сперва они изготовили штук двадцать черных капюшонов, потом длинные балахоны, рукавицы, точнее, перчатки с одним большим пальцем. Наконец, глядя на гравюру, которую им дал мэтр Панкрас, они под руководством нотариуса сшили четыре военных мундира или нечто похожее на них по меркам Гарена-младшего, Биньона, Пампета и булочника и сутану учителю музыки.

Тем временем вернулся отлучавшийся на часок Панкрас: при виде его мастерицы вскрикнули, и даже сам мэтр Пассакаль был ошеломлен.

И немудрено — вошедший был одет в парадную форму офицера. Его небесно-голубой камзол, белые лосины, красные кожаные сапоги с серебряными шпорами, шпага с эфесом из чеканного золота, белый плащ, подбитый парчой и отделанный беличьим мехом, излучали такое великолепие, что портнихи, поднявшись, не осмеливались сесть.

— Это и вправду вы? — спросил нотариус.

— К сожалению, уже нет, — ответил мэтр Панкрас, — но я был таким.

— Это же форма капитана гвардии короля!

— Верно, — сказал мэтр Панкрас, — но с небольшим отличием: желтый бархатный воротничок моего камзола указывает на то, что я был главным хирургом Французской академии в звании капитана...

Раздался восхищенный шепот, и лекарь тихо добавил:

— Я даже имел честь во время голландской кампании (он снял шляпу с пером) заботиться об августейшем здоровье Его Величества Короля.

В уголке его глаза блеснула слезинка, и нотариус в свой черед обнажил голову.

— Его Величество, — взволнованно произнес лекарь, — был обеспокоен непрекращающимися кишечными газами, неистовая сила которых пугала его лошадь: мне удалось их обуздать, и с того дня я неотлучно состоял при его Августейшей Особе, вплоть до трагического дня его смерти.

В наступившей тишине Панкрас решительным тоном вдруг сказал:

— Прошу вас, вернитесь к работе и займитесь офицерским камзолом нашего капитана, его следует украсить двумя серебряными галунами...

После краткого обеда вновь поспешно взялись за работу: совсем близко поднимались в небо огромные клубы дыма, и трава в саду побелела от пепла. Никакой настоящей опасности еще не было, но запах пожара подстегивал к бегству.

Тем временем Панкрас и мэтр Пассакаль зашли в контору нотариуса, где иногда, бывало, играли в шахматы.

Но на сей раз они не прикоснулись к резным фигурам из слоновой кости.

Для начала мэтр Пассакаль тщательно очинил два гусиных пера; затем добавил щепоть рафинированной сажи в чернила. Наконец, вырвал из регистрационной книги лист отличной плотной нотариальной бумаги и принялся переписывать своим красивым ровным почерком строчки, составленные Панкрасом: это было оформленное надлежащим образом разрешение на выезд для предъявления начальнику заставы Ла Роз.

Он подсушил чернила щепоткой золотого порошка, стряхнув его от одного края бумаги к другому.

После этого порылся в одной из папок и достал договор купли-продажи, подписанный в этой же конторе городским советником Мустье, и скопировал подпись с такой непринужденностью и совершенной точностью, что вызвал восторг Панкраса:

— Потрясающе! Можно подумать, что каждый день вы только этим и занимались.

— Не каждый, конечно, — скромно ответил нотариус, — но в любом ремесле есть свои особые навыки.

Мэтр Пассакаль такими навыками владел изрядно, так как вслед за этим достал свинцовую печать с гербом города Марселя и искусно приложил ее внизу страницы к красному кружку разогретого воска, от которого отходила голубая лента.

Потом он осмотрел работу и, оживленно потирая руки, сказал:

— На редкость хорошо получилось. Сам господин городской советник Мустье не заподозрил бы подделку.

Он свернул ценный документ, перевязал его голубой лентой, более широкой, чем первая, и передал Панкрасу.

— Ну а сейчас, — сказал тот, — перейдем к подделке чумных трупов, занятие обещает быть забавным.

Они прошли в его кабинет, где учитель музыки и бакалейщик по его приказу уже подготовили добрую дюжину плошек со всеми необходимыми ингредиентами. Здесь были жженая пробка, клей, варенье, мед, порошок шафрана, гипс, сажа, пакля и растертые краски всех цветов.

С помощью этих ингредиентов мэтр Панкрас мастерски размалевал лица и тела сорока человек, доказав тем самым, что, если он и не умеет лечить бубоны, зато успешно их наводит. Это было сделано так блестяще, что мнимые больные пугали друг друга, когда же первая пара вышла в сад, несколько женщин упали в обморок, а папаша Ромуальда, все еще бегавший на четвереньках, жалобно залаял.

Когда зачумленные были готовы, занялись кающимися грешниками: они надели балахоны, капюшоны и перчатки, затем им раздали колокольчики, снятые с входных дверей. Изготовили из смолистых сосновых веток и зажгли факелы.

Стемнело, над Плен-Сен-Мишель алело зарево, и беглецы при полной тишине в последний раз ели в большой конюшне, двери ее пришлось наглухо закрыть, поскольку сад заволокло едким густым дымом.

Лже-зачумленным было неудобно есть: высохшая краска стянула кожу лица, а бубоны то и дело отваливались и падали в суп.

Ужин был непродолжительный. Многие женщины плакали при мысли, что придется оставить дом и мебель, и норовили забрать с собой все; проверив поклажу, лекарь выкинул кошку, два старых фамильных портрета и пять кукол одной старой святоши, у которой и детей-то никогда не было. Она громко причитала, но несколько дружеских слов и пощечина успокоили ее рыдания.

После ужина послышался треск пожара, хотя огонь все еще был довольно далеко. Мэтр Панкрас невозмутимо завершил инсценировку.

Тележки выстроили в ряд напротив ворот, на них улеглись зачумленные. Панкрас, пренебрегая стыдливостью, велел некоторым раздеться догола; затем живописно расположил свисающие ноги, как следует вымазанные сажей, перекинул через борт две-три руки, окровавленные густым вареньем, кое-кому подправил лица: заложил за щеку корку хлеба и на образовавшемся горбе нарисовал жирную крас-

ную точку с черным ореолом. А кому-то засунул в ноздри мякоть маслин, чтобы вытекали черные струйки.

Капюшоны пропитали уксусом, зажгли факелы и открыли ворота.

Панкрас, одетый в свой великолепный мундир, сел на самую первую, небольшую, повозку, которой правил старый Гийу, и шествие бесшумно двинулось в путь.

Капитан в унтер-офицерской форме, повесив за спину подзорную трубу, шел двумя шагами позади, за ним следовали четверо солдат с мушкетами на плече. И, наконец, священник с открытой книгой в руке шел перед телегами, которые медленно катились между двумя рядами кающихся братьев, несущих факелы.

Вниз по дороге спустились в полной тишине, никого не встретив, впереди тянулся бульвар — путь к свободе, но, прежде чем ступить на него, мэтр Панкрас обернулся и взмахнул рукой. Заунывно зазвонили колокольчики, и из-под капюшонов раздалось глухое пение псалмов.

* * *

Учитель музыки не врал. Город выглядел брошенным, масляные фонари, обычно освещавшие улицы, больше никто не зажигал. Но при слабом свете факелов они вскоре различили трупы, валяющиеся прямо на тротуаре или в канаве, лежащие в неестественных позах у входов в дома... Видели и грабителей: но с приближением шествия их силуэты вмиг исчезали в ночи.

Добрый час они двигались по длинной, обсаженной платанами улице, телеги тряслись по булыжной мостовой.

Опасаться, похоже, было некого — если и попадались живые люди на пустынных улицах, то при виде шествия тут же разбегались. Поэтому тревога беглецов постепенно унялась, лже-трупы на телегах стали шепотом перешучиваться, щекотать молоденьких покойниц, а те еле сдерживали кокетливое хихиканье. Когда приблизились к Шато-Гомбер, где Панкрас ожидал встретить пост караула, он отправил капитана восстановить порядок в погребальной процессии и приструнить мертвецов.

И правильно сделал: на повороте улицы он увидел четыре зажженных фонаря и светящееся окошко маленького деревянного строения.

К ним навстречу вышли двое солдат с ружьями наперевес:

— Стой!

Панкрас остановился.

— Стой! — прокричал и он, повернувшись к процессии.

Затем подошел к солдатам и резко спросил:

– Где ваш офицер?

– Спит, – ответил солдат. – Но он нам и не нужен – прохода нет! Под страхом смерти никто не имеет права выходить.

– Спит! – с негодованием вскричал Панкрас. – Город в агонии, мор угрожает всей Франции, а он спит?

Обескураженные солдаты не осмеливались отвечать, но один из них поднял свой фонарь и сделал два шага к доктору. И тут, разглядев сверкающий мундир, еще более роскошный в ночи, он повернулся к остальным и прокричал:

– На караул!

И они тотчас выполнили команду.

– Если он спит, – воскликнул Панкрас, – мы его разбудим. Проводите меня к нему.

Им не пришлось заходить в караульное помещение, так как спящий проснулся от выкриков и выскочил, одергивая на ходу мундир, рядом с ним шел еще один солдат с фонарем.

Стоило ему увидеть Панкраса, как он встал навытяжку точно по уставу. У него была только одна нашивка, поэтому лекарь обратился к нему свысока.

– Лейтенант, – сказал он, – мне горько сознавать, что человек, несущий такую огромную ответственность, позволяет себе спать!

– Господин офицер, – смущенно ответил тот, – я уже четверо суток в карауле, человеческие силы не безграничны. И к тому же, когда я невзначай засыпаю, меня здесь заменяет прапорщик.

И он указал на приближающуюся в темноте фигуру.

– Итак, прапорщик, где вы были? – строго спросил Панкрас.

– Господин офицер, – ответил прапорщик, – у человеческой природы, кроме границ, есть еще и потребности.

– Недурно сказано! – усмехнулся Панкрас. – И уже не так сурово добавил: – Господа, пройдемте со мной, не стоит, чтобы ваши люди слышали наш разговор.

Он решительным шагом направился к сторожке и тщательно запер дверь. Около невзрачной кровати на дощатом столе горела свеча.

– Господа, – сказал он, – чтобы не напугать жителей, миссия, которой я руковожу, должна остаться в тайне. Чума, опустошающая Марсель, – еще не самая опасная форма этого заболевания: но хирурги выявили несколько случаев заражения ЧЕРНОЙ чумой. Если она распространится, то для нашего города, а возможно, и для нашей страны все будет

кончено. Мне дали в сопровождающие вот этих каторжников в капюшонах и поручили похоронить зловещие трупы, сбросив их в старую угольную шахту неподалеку от Аллоша.

— А почему их не сожгли? — спросил прапорщик.

— По мнению врачей, прежде чем они сгорят дотла, выделится достаточное количество паров, чтобы заразить весь город.

Он достал из камзола свернутый документ и аккуратно развернул его на столе.

— Вот приказ, — сказал он, — оставляю его здесь, он адресован вам самим бальи[1], человеком, обладающим непререкаемым авторитетом, и к тому же моим старинным приятелем.

Свеча осветила штемпели, печати, подписи и буквы, выведенные красивым нотариальным почерком мэтра Пассакаля.

— Боюсь только, — добавил мэтр Панкрас, пока двое офицеров с почтением рассматривали пропуск, — как бы мой дорогой Андрол Лажерон, наш бальи, самоотверженно работающий в госпиталях, не заразился и не умер сам. Это стало бы огромной потерей для нашего города и для королевства.

Он вышел, а лейтенант бросился поднимать шлагбаум.

— Если вам дорога жизнь, держитесь подальше от этих повозок, — крикнул он подчиненным.

Кортеж двинулся в путь, и офицеры провожали его взглядами.

— Я сожалею, — сказал лейтенант, — что офицер вашего ранга подвергается такому значительному риску.

— Это очень любезно с вашей стороны, — ответил Панкрас. — Но в подобных обстоятельствах риск должен быть равным для всех.

Он угостил их щепоткой табака и сел в повозку. Шестеро солдат взяли на караул, а офицеры салютовали шпагами.

Итак, он сел в повозку, помахал рукой офицерам, и шествие скрылось в ночи, а караульные, испугавшись черной чумы, кинулись к бочке с уксусом.

Как только они отъехали так далеко, что их нельзя было увидеть с заставы, Панкрас велел прекратить пение, опустить колокольчики и потушить факелы. На пустынной дороге было вполне достаточно слабого света звезд. Наконец он

1. Королевский чиновник в дореволюционной Франции, глава судебно-административного округа (бальяжа).

распорядился ускорить шаг, опасаясь преследования, если вдруг у офицеров появятся сомнения в законности пропуска.

Они шли два часа и на рассвете достигли намеченной цели.

Справа от дороги раскинулся сосновый бор; Панкрас заметил тропинку лесорубов и направил туда повозку, и вся процессия углубилась в лес.

Вскоре они выехали на большую поляну, заросшую густой травой и цветущим маком.

— Стой! — крикнул Панкрас и спешился.

И пока кающиеся братья стаскивали перчатки и капюшоны, зачумленные слезали с повозок, а женщины снимали мешковину. Все, как дети, смеялись от радости и кидались друг в друга бубонами. А лошади, забыв об удилах, жадно щипали траву.

Внезапно послышался возглас: галантерейщик, углубившись в лес, отыскал водоем, и все отправились мыться.

Мэтр Панкрас присел на крупный камень и протянул ноги в сапогах Гийу, тот помог ему разуться и растер его онемевшие пальцы. А тем временем старая Альетта приготовила хозяину повседневную одежду.

Рядом с ним сели на траву нотариус и Гарен.

— Друзья мои, — сказал Панкрас, — мы выполнили первую часть нашего плана. Однако первый же инспектор, заехавший на заставу, может вывести наших славных офицеров из заблуждения, поэтому я освобождаюсь от этого слишком легко опознаваемого наряда. Скорее переоденьте солдат и спрячьте в тюки их одежду, она может нас выдать. Мы сейчас на расстоянии полумили от Аллоша; смотрите, сквозь деревья видна армада ветряных мельниц, стоящих на холме... Значит, там дует спасительный мистраль. Он обеспечивает как процветание городка, так и здоровье горожан. Я убежден, что чума туда не дошла и не дойдет никогда. Давайте же попросим приюта у местных жителей.

— Боюсь, они нас не впустят, — сказал нотариус.

— А мы предложим им продержать нас в лесу на карантине, — сказал капитан, — тогда им больше нечего будет бояться.

— Вообще-то там живет мой большой друг и молочный брат, — сказал Панкрас. — Леонар Гондран, мельник. Он довольно влиятельный в городе человек и, я уверен, вступится за нас.

Зачумленные возвращались с пруда чистые и повеселевшие и требовали что-нибудь поесть. У них разыгрался зверский аппетит. Галантерейщик заиграл на флейте, и люди,

жуя на ходу, принялись танцевать среди маков, чтобы размять одеревеневшие ноги.

Открыли небольшой бочонок анчоусов, бидончик с маслом, две здоровые банки с вареньем, которое намазывали на сухари, женщины сварили картофель. Все ели с большим аппетитом, а солнце теснило тучи на горизонт. Как только оно показалось полностью, все встали. Нотариус забрался на большой камень и торжественно возблагодарил небо, затем все вновь двинулись в путь, беседуя, как на воскресной прогулке.

Панкрас думал, что, несмотря на столь ранний час, они должны бы увидеть в этой зеленой сельской местности каких-нибудь крестьян, приступивших к работе, и было бы неплохо их расспросить. Но им никто не повстречался, и лекарь начал опасаться, что чума побывала и тут.

Он ошибался. Не чума прогнала крестьян.

Их прогнал страх.

Путники шли уже больше часа и, наконец, подошли к самому холму с мельницами наверху.

— А вот и Аллош! — сказал лекарь. — Возможно, мы спасены. Подтянитесь и улыбайтесь.

Спустя несколько минут они различили группу людей, которые с возвышенности наблюдали за их приближением.

Капитан раздвинул подзорную трубу и, приглядевшись, сказал:

— У них ружья, — сказал он.

— Честно говоря, я этого опасался, — сказал лекарь. — Их следует успокоить. Если мы будем петь, они не станут нас бояться.

И он тут же запел веселую провансальскую рождественскую песню, его все поддержали, а учитель музыки, пятясь задом, отбивал такт.

Наблюдатели на холме не шевелилась.

— Ни с места! — вдруг раздался громкий голос

В двадцати шагах от певцов из-за изгороди вышел мужчина. Все остановилось, и лекарь направился к нему.

— Не подходите близко, — сказал мужчина. — Куда вы идете?

— Мы направляемся в Аллош, — ответил Панкрас.

— А откуда вы?

— Из пригорода Марселя, — ответил лекарь.

— Значит, вы занесете нам чуму, — сказал мужчина. — Мы не можем вас принять.

— Мы здоровы, — сказал Панкрас. — Мы жили в квартале, не затронутом болезнью. Я врач и могу вам сказать...

— Все, что вы мне можете сказать, не имеет никакого значения. Марсель — рассадник заразы. Вас нельзя впускать. Не

пытайтесь приблизиться. Пройдете дальше вон той высокой оливы — в вас начнут стрелять.

— У нас тоже есть ружья, — сказал мэтр Гарен, сделав шаг вперед.

— Я это прекрасно вижу, — сказал мужчина. — Но если наши часовые заиграют в горн, сюда нагрянут пятьсот человек и перебьют вас всех до единого. Что поделать! Наверное, это жестоко, но ведь и чума жестока; здесь тысяча женщин и детей.

— Я вас понимаю, — сказал лекарь. — Но мы могли бы встать лагерем на одном из этих полей под вашим присмотром, и если через неделю ни у кого из нас не появится ни малейшего признака чумы...

— Это невозможно, — сказал мужчина. — Если мы позволим вам разбить лагерь, через две недели здесь будут сотни людей, потому что они прибывают постоянно... Вам придется уйти назад.

— Извольте, — сказал лекарь. — Но перед уходом я хотел бы поговорить со своим молочным братом, Леонаром Гондраном. Это возможно?

— Так вы молочный брат Гондрана, владельца мельниц?

— Да, — ответил лекарь. — Прошу вас, передайте ему, что с ним желает поговорить маркиз де Малоссен.

Стражник обнажил голову.

— Я немедленно отправлюсь к нему, господин маркиз, — сказал он и бросился бежать.

Все сильно удивились, узнав, что лекарь — дворянин и принадлежит к одному из древнейших родов Прованса.

— Как! — воскликнул нотариус. — Вы — маркиз де Малоссен, который в течение долгого времени был лекарем короля?

— Ну да, — ответил Панкрас. — Я имел великую честь заботиться об августейшем здоровье Его Величества, нашего доброго короля Людовика XIV, и великую горесть следить за протеканием его последней болезни. Его смерть так сильно удручила меня, что я покинул двор после похорон, чтобы посвятить себя науке.

Люди сгрудились вокруг него, гордые тем, что их лечил лекарь Великого Короля. Теперь они были спокойны за свою судьбу.

По истечении часа вдалеке показались два навьюченных мула в сопровождении двух мужчин: часовой привел Гондрана, который, увидев маркиза, кинулся к нему. Это был седой старик пятидесяти лет. Однако он еще не потерял зубов и казался полным сил, совсем как в молодые годы.

Анна Ямпольская

Итальянский рассказ: грани бриллианта

Тексты, собранные в этой мини-антологии, принадлежат к популярнейшему жанру итальянской литературы. Алессандро Барикко не нужно представлять отечественному читателю: ценители итальянской литературы прекрасно знают его романы “Замки гнева”, “Море-океан”, “Шелк”, “City”, “Такая история”, “Гомер. Илиада” и другие, а также театральный монолог “Легенда о пианисте”, перенесенный на киноэкран Джузеппе Торнаторе и поставленный в ряде российских театров. В то же время другие стороны творчества Барикко, плодовитого эссеиста и новеллиста, остаются в тени. Мы попытались исправить эту оплошность и включили в подборку “Синдром Будмана” — один из лучших рассказов Барикко, изящный, ироничный, выстроенный с классической музыкальной гармонией.

Имена Паоло Коньетти и Валерии Парреллы в России пока не известны. Миланец П. Коньетти опубликовал несколько сборников рассказов (“Учебник для успешных девушек”, “Что-то маленькое, что сейчас взорвется”, “София всегда носит черное”), отмеченных рядом престижных литературных премий, и даже опубликовал пособие о том, как писать рассказы. Коньетти отличает тяга к документалистике, любовь к природе и к американской литературе: помимо художественной прозы он написал путеводитель по Нью-Йорку, книгу “Дикарь”, рассказывающую о долгих походах в горы, снял целый ряд документальных фильмов. Рассказ “Механика двухтактного двигателя” позволяет составить представление о своеобразной, сдержанной манере Коньетти, о его прозе, предпочитающей полутона. Обращение к миру подростков также характерно для этого писателя: как подчеркивается в мотивации жюри, присудившего Коньетти в 2009 году литературную премию “Ло Страньеро”, он сумел, как никто другой, передать чувство растерянности, охватывающее моло-

© Анна Ямпольская, 2016

дых итальянцев перед лицом будущего, в котором все кажется временным и ненадежным.

Рассказ Валерии Парреллы “Бег” — совсем иной по настроению. Голос его героини — это голос южанки, которая живет чувствами и при этом трезво смотрит на жизнь, обладает редкой душевной мудростью. Нехитрая история Анны подкупает, ей веришь с первой и до последней страницы, веришь преподанному ей уроку благородства и честности. В рассказе, построенном как монолог, ощущается и свойственный В. Парреллe интерес к театру: на протяжении многих лет она не только с успехом публикуется как прозаик (достаточно упомянуть дебютный сборник рассказов “Муха плюс кит”, принесший ей премию Кампьелло, или роман “Какая еще любовь”, награжденный премией имени Дж. Т. Лампедузы), но и работает как драматург и сценарист, смело сочетая в своих спектаклях традицию и эксперимент (“Привет, мужчина!”, “Антигона”).

Переводы рассказов выполнены в рамках итальянского переводческого семинара при Высших литературных курсах Литературного института имени А. М. Горького.

Алессандро Барикко

Синдром Будмана

Перевод Татьяны Быстровой

“МИНУТКУ, дорогая... Я уже заканчиваю”, — ласково произнес судья Будман, не сводя глаз с письменного стола.

Жена судьи, Энн, урожденная Принстон, сестра знаменитой наездницы, была безропотно предана мужу и покорно покинула комнату, чтобы занять гостей. В кабинете снова воцарилась тишина.

Четырнадцать лет, три месяца и одиннадцать дней судья Будман, известный и уважаемый в графстве джентльмен, по привычке коротал время до ужина, раскладывая пасьянс. За эти годы он ни разу не отказал себе в столь невинном удовольствии. Случалось порой пропустить ужин, но пасьянс — никогда.

В тот вечер судья решил разложить “Индийскую императрицу”, и это — немаловажное обстоятельство в сюжете разыгравшейся трагедии, ведь именно оно (как заметит потом доктор Бенедикт) и положило начало печальному угасанию судьи. И правда, “Императрица” — не просто пасьянс, это — чудовищный пасьянс. В нем участвуют четыре колоды, по-

© Alessandro Baricco
© Татьяна Быстрова. Перевод, 2016

этому даже разложить на столе семьдесят три первоначальные карты, чтобы получилась геометрически правильная и красивая фигура, не так-то просто: для этого нужно время. И если обычный пасьянс — всего лишь очередная попытка померяться силами с Фортуной, "Императрица" — нечто совсем иное: это настоящая дуэль, со всей подобающей ритуалу сложностью правил и торжественностью момента.

Сказанное отчасти объясняет, почему судья с таким пристальным вниманием склонился над столом августовским вечером 1945 года. Любой опытный игрок не преминул бы заметить, сколь многообещающей была картина, открывшаяся его взору. Все предвещало, что это как раз тот самый редчайший случай, когда пасьянс сойдется. Предвкушая победу, судья Будман протянул руку к колоде и перевернул карту. Семерка треф. Будь там пятерка бубен, десятка червей или пиковый валет, жизнь его и дальше бы плавно катилась к спокойной старости. Но там лежала семерка треф, и судьба сделала резкий вираж и медленно, но верно устремилась к трагедии. Судья долго вертел карту, блуждая взглядом по гигантскому пазлу, накрывшему весь стол. Ничего не поделаешь, семерка совершенно никуда не укладывалась. Он тщательно просчитал каждый вариант, пытаясь понять, не упустил ли он что-нибудь минуту назад. Ни-че-го. Вероломная "Императрица" снова одержала верх.

Судья Будман был человеком железных принципов и высокой моральной стойкости. Все суды графства могли бы это подтвердить, и потому совсем не удивительно, что за четырнадцать лет, три месяца и одиннадцать дней ему ни разу не пришло в голову передернуть карту, раскладывая пасьянс. Поразительно, но именно в этот вечер, ничем не отличавшийся от остальных, судьба распорядилась так, что судья впервые в жизни решил сжульничать. Передернуть карту — это же сущий пустяк. Этически и технически простой и безобидный жест. Однако в голове у судьи такая возможность не предусматривалась. Мысль возникла из ниоткуда, сама собой, словно по велению свыше. Свершилось то, чему свершиться было суждено. Судья поднял глаза к потолку, взгляд его скользнул по большим напольным часам (они показывали шесть пятнадцать), удостоверился, что в соседней комнате никого нет, и, повинуясь простой человеческой слабости, засунул семерку треф обратно в колоду. Затем немного помедлил и взял следующую карту. Валет. Пиковый валет.

Минут через десять судья Будман уже присоединился к гостям и рассыпался в приветствиях и извинениях за свое маленькое, но непростительное опоздание. От внимательного взгляда

не ускользнуло бы его неестественное оживление, столь свойственное неверным мужьям, пока их не поймали с поличным.

Лишь несколько дней спустя судья Будман смог убедиться, что каким-то странным и неочевидным образом с поличным его все-таки поймали. Все началось, когда в газетах появилась пока еще не совсем понятная новость: американцы сбросили на Японию мощнейшую бомбу. Потребовалось какое-то время, прежде чем судья Будман смог сопоставить все факты и распознать в этом начало своего конца. Город назывался Хиросима, бомба оказалась ядерной, а сбросивший ее самолет B-29 получил прозвище Enola Gay, в честь матери командира экипажа. Но главное — бомба взорвалась 6 августа ровно в 8.16 утра по токийскому времени, и взрыв этот обозначил новую эпоху страха и насилия. В ту самую секунду, за тысячи километров от взрыва, судья Будман избавился от трефовой семерки и вынул из колоды пикового валета. Многим это показалось бы интересным совпадением, и только. Но судья Будман был странным человеком, и, как уже отмечалось, крайне принципиальным. Он не сомневался: не сжульничай он в тот вечер, Хиросима бы продолжала жить своей жизнью. Бомба взорвалась по его, и только его, вине.

Нелегко быть человеком, ставшим причиной первой ядерной катастрофы. И правда, вскоре судья стал страдать бессонницей и временным помутнением рассудка. Затем случился инфаркт, и после долгого периода восстановления он впал в состояние физической и психической прострации. Нежная любовь жены и сыновей Саймона и Питера оказалась бессильной перед этой напастью, усилия их ни к чему не приводили. Судья был безразличен ко всему: единственное, что могло на время вырвать его из состояния апатии, — это болезненное и бессознательное любопытство к новым подробностям катастрофы над Хиросимой. Никто из членов семьи ничего не знал о драме, которая разыгрывалась в сердце судьи, поэтому они, как могли, потакали новой маниакальной странности. На какое-то время лечение судьи было доверено семейному врачу доктору Райту и многочисленным антидепрессантам. Когда же судья стал подавать явные признаки умственного расстройства, стало очевидно, что пора обратиться к хорошему психиатру. Судью поместили в известную психиатрическую клинику. Он не сопротивлялся. Лишь попросил, чтобы над кроватью в его комнате повесили картинку, которую он задолго до того вырвал из известного журнала. На цветной фотографии, сделанной на одном из островов Тихого океана, красовался атомный гриб.

Врача, взявшегося за лечение судьи, звали Венедикт Бенедикт. “Фамилия через ‘Б’”, привык он повторять с тех пор, как пошел в школу. Его отец, Ауло Бенедикт, долгие годы пытался заработать на жизнь производством пианол — приставных устройств, превращающих обычное пианино в механическое. Много лет он работал по собственному уникальному патенту, пока не довел свои пианолы до совершенства. Это произошло в 1940 году, как раз тогда, когда спрос на механические пианино полностью сошел на нет, сначала в Европе, а затем и во всем мире. Он прожил трудную жизнь, что отчасти объясняет ту мягкую иронию, с которой 4 августа 1913 года, в сером офисе мрачного бюро записи гражданских актов, он выбрал для своего единственного сына самое худшее из тысячи возможных имен — Венедикт, то есть “благословенный”. Сын в отместку стал психиатром.

Именно в этом качестве, как уже было сказано, он занимался лечением судьи Будмана с 1946-го по 1951 год. Он сразу понял, что данный случай представляет собой огромный научный интерес. Будман, что бы ни думали о нем внуки Дик, Тил, Полт, Марианна и Луиза Анна Аделаида, не был сумасшедшим. По крайней мере, он не был сумасшедшим в клиническом смысле. Чувство вины, укоренившееся в разуме судьи, было вызвано не столько самим событием, сколько его абсурдной интерпретацией. Рассудок пациента помутился вовсе не из-за мелкого жульничества с пасьянсом; всему виной была уверенность судьи в том, что между этим невинным жестом и величайшей трагедией человечества есть тайная, но несомненная связь. Доктор Бенедикт почувствовал, что такой весьма своеобразный образ мышления не просто сиюминутная прихоть расстроенного воображения: в нем проявлялась бессознательная тенденция (в общем и целом достаточно распространенная): приписывать цепочке случайностей невидимую связь с важнейшими мировыми событиями, объединять незначительные мелочи и великие открытия, частные явления и всемирные катастрофы. Истоки подобных убеждений представлялись очень загадочными, а клинические последствия были очень тяжелыми: все свидетельствовало о том, что доктор столкнулся с новым синдромом, заслуживающим научного анализа и детального изучения. Именно благодаря доктору Бенедикту этот синдром теперь известен как “синдром Будмана”.

Ему-то и посвятил доктор всю свою жизнь. За преданность и постоянство он получил кафедру в Орегонском университете, снискал уважение мирового научного сообщества, открыл внушительный счет в банке, развелся с женой, а

кроме того, стал страдать болями в области двенадцатиперстной кишки, так никогда и не переросшими в язву. В последние годы у него проявлялся загадочный тик: он вдруг резко сжимал четыре пальца правой руки, окоченевший же средний задорно торчал вверх. По странному совпадению в итоге получался недвусмысленный вульгарный жест, что, понятное дело, придавало болезни мучительно карикатурную окраску.

Только из принципа (как блестяще показал Йозеф Адельграсс в своей замечательной книге "Доктор Бенедикт. Жизнь и труды") доктор Бенедикт озаботился тем, чтобы разыскать нужное количество клинических примеров и вывести доказательство существования синдрома. Он твердо знал, что судья Будман — не единичный случай, а верхушка огромного айсберга. Пока что он был один. Необходимо было найти остальных.

Доктор разослал коллегам специальные анкеты и взял в свои руки это непростое расследование. Шесть тетрадей, увидевших свет стараниями упомянутого профессора Адельграсса, фиксируют шаг за шагом результаты каторжного труда и свидетельствуют о том, как нелегко пришлось доктору на первых порах.

14 марта

Г-н Берт Малоне:

— Не приходилось ли вам чувствовать некую связь между вашей личной жизнью и важнейшими историческими событиями?

— Моя личная жизнь уже сама по себе историческое событие!

— Простите?

21 апреля

Г-жа Аурелия Крофт:

— Случалось ли вам замечать, что вы сделали что-то незначительное, ничтожное, и этим невольно спровоцировали серьезную мировую катастрофу?

— Послушай, дружок, ты заплатил за то, чтобы потрахаться! А если хочешь еще и поговорить, то так сразу и скажи, да подкинь еще сотню, ясно?

Но очень скоро стали поступать первые важные доказательства. Доктор получил письмо от кузнеца из Огайо, который

поведал: стоит ему побить жену, как тут же поезд компании "Бартон рейлвейз" сходит с рельсов. К письму прилагались документальные подтверждения: вырезки из газет и фотографии избитой жены. Профессор математики из Штутгарта обнаружил, что каждый раз, когда он мастурбирует, в Южной Италии происходит сильнейшее землетрясение. Некий сэр, чье имя будет лучше сохранить в тайне, покончил с собой, не в силах справиться с чувством вины из-за крушения "Титаника": в день и час гибели лайнера он вышел из номера отеля "Титаник", прихватив комплект гостиничных полотенец. Аптекарь из Эссекса вызывал эпидемии в странах третьего мира: такое случалось каждый раз, стоило ему наступить на канализационный люк. Теперь он ведет тихую жизнь в ирландской деревне. Когда жена знаменитого французского хирурга жарила баклажаны, на Дальний Восток обрушивался чудовищный тайфун, а русский пианист полностью отказался от исполнения "Баллады" Шопена (опус 23) после того, как понял, что за его появлением на публике с этой программой с обескураживающим постоянством следует смерть известной кинозвезды.

За два года доктор Бенедикт смог собрать 218 случаев, бесспорно подходящих под синдром Будмана. Они и положили начало довольно серьезной статистике, которая послужила основой для его первой открытой статьи на эту тему, впоследствии опубликованной в мартовском номере авторитетного журнала "Международный психиатрический вестник" за 1954 год. Реакция коллег была довольно прохладной. Тот же профессор Адельграсс в уже упомянутой монографии отмечает, что статья доктора Бенедикта отличалась хлипкой аргументацией и некоторой поспешностью выводов. Опираясь на изученный материал, доктор приводил два основных объяснения природы синдрома и указывал ведущие направления возможной терапии:

1) В основном синдром поражал индивидов, страдавших (в более или менее явной форме) склонностью к упорядочиванию. Они связывали ничего не значащие проступки с важнейшими событиями, в чем проявлялась их повышенная потребность контролировать реальность путем установления наглядных отношений в сфере случайных совпадений. В итоге у пациента развивалось вполне конкретное и весьма болезненное чувство вины, что воспринималось им как своего рода подтверждение истинности обнаруженной связи. Боль и комплекс вины, которые возникали после того, как становились известны разрушительные последствия проступка, подсознательно переживались индивидом как расплата за осво-

бождение от чувства тревоги, возникшего вследствие аморфного и неконтролируемого хаоса мыслей.

2) В подавляющем большинстве изученных случаев (181 из 218) проступок, который явился причиной синдрома, сопровождался чувством вины: по крайней мере, именно так переживал его пациент. И то, что последствия содеянного оказывались довольно драматичными и становились известны широкой публике, служило механизмом, который работал на разоблачение вины и наказание виновного. Несоразмерность проступка и наказания за него (как, например, в случае судьи Будмана) указывало на скрытую форму мании величия или на сильное чувство неудовлетворенности собственной жизнью. Многие из страдающих синдромом были уверены или подразумевали, что они — воплощение самого Господа Бога.

Эти хрупкие и в некоторой степени очевидные постулаты вдохновляли доктора Бенедикта на дальнейшие исследования в последующие десять лет, вплоть до начала шестидесятых. Погружаясь в материал и обновляя данные, он продолжал публиковать статью за статьей, и постепенно научное сообщество заинтересовалось его работой. Пока первые вестники будущего признания слетались к доктору, он экспериментировал, пробуя различные методы терапии на добровольцах, доверившихся его профессионализму. Это был самый впечатляющий этап его работы. За короткие сроки он добился таких потрясающих результатов, что стал всерьез считать себя очень успешным психиатром. К нему обращались самые странные пациенты со всех концов земного шара, и у всех так или иначе проявлялся синдром Будмана. Из поступавших запросов доктор Бенедикт выбирал только самые интересные случаи. Летом 1961 года среди прочих к нему обратился антиквар из Сиэтла. Его звали Провиденс Провиденс. Лишь детский инстинкт сопричастности подтолкнул доктора дать согласие и взяться за его лечение. Казалось бы, решение яйца выеденного не стоило. Но как мы увидим дальше, это было совсем не так.

Провиденсу Провиденсу был пятьдесят один год. Его жена, убежденная католичка, была на шесть лет младше его, сын Артур избрал карьеру военного, а дочь Энн преподавала физкультуру в колледже города Мейна. Обычная счастливая семья. Все предвещало главе семейства спокойную старость. Но будем придерживаться фактов: нельзя умолчать, что 12 июля 1960 года антиквар из Сиэтла обнаружил, что идет по пятам молодого человека, имени которого он так никогда и не узнал. Провиденс Провиденс проводил юнца до входа в

кинотеатр “Старз” и последовал за ним внутрь, где после недолгого, но выразительного объяснения приобрел первый гомосексуальный опыт прямо на деревянных сидениях вышеназванного заведения. Было пять вечера. В ту же минуту всего в пятидесяти метрах от кинотеатра пуля вошла в позвоночник сенатора Уоллеса Ридда, владельца известной сети отелей. Нет ни малейшей причины связывать невообразимый и достойный сожаления инцидент в кинотеатре с чудовищным убийством. И правда, Провиденс Провиденс, сильно потрясенный случившимся, никак не связал между собой два происшествия. Необычайное совпадение пришло ему на ум только через полтора месяца, когда тело начальника местной полиции обнаружили в петле под мостом Джефферсона. Врачи констатировали, что смерть наступила вечером 22 августа: как раз когда Провиденс Провиденс находился в гараже и испытывал невероятное наслаждение уже во второй раз, разделив новый гомосексуальный опыт с двадцатишестилетним представителем нью-йоркской страховой компании. Провиденс Провиденс стал небрежно относиться к работе. В компании друзей он казался каким-то отрешенным, а дома стал необъяснимо робок и молчалив. Целых шесть месяцев он втайне от всех пытался побороть необъяснимое влечение и даже наложил на себя строгий обет. Но поскольку неоднократно доказывалось, что слаб человек в теле своем, наш герой трижды ловил себя на том, что продолжает называться “постыдным прегрешением”. Расплачиваться за его грехи с обескураживающей неизбежностью пришлось адвокату Джеффу Косману, недавно выставившему свою кандидатуру в сенат. Он погиб вследствие дорожно-транспортного происшествия, обстоятельства которого так и остались тайной за семью печатями. А также Биллу Райту, высокопоставленному чиновнику городской администрации Сиэтла, ставшему жертвой теракта с явным мафиозным следом, и военному советнику президента полковнику Кёртену Каллембергу, которого выловили из вод озера Блэтт, причем к его ногам была привязана сорокатрехкилограммовая наковальня. Провиденс Провиденс с дотошностью ученого зафиксировал все три совпадения. Похоже, что с каждым разом должность жертвы становилась все выше. Он еще успел отметить эту особенность, прежде чем рассудок покинул его.

Доктор Бенедикт взялся за этот случай в феврале 1962 года. Верный своим принципам, он первым делом решил сразиться со страхом беспорядка и хаоса — фобии, которая, как он обнаружил, сопровождала его пациента с самого детства. Потом он нанес удар в самое сердце проблемы и всего за че-

тырнадцать месяцев лечения смог убедить пациента принять собственную гомосексуальность и больше ее не скрывать. Семья отреагировала сдержанно-недоуменно. Провиденс Провиденс вернулся к работе и вновь обрел некое психическое равновесие. Для полного выздоровления не хватало лишь маленького, но очень важного штриха, того, что на языке доктора Бенедикта обозначалось как "повторное проживание шоковой ситуации".

— Доктор, вы что же, хотите сказать, что я должен снова отправиться в какой-то забытый богом кинотеатр с одним из этих славных юношей, благослови их Господь?

— Да, впрочем, сауна тоже вполне подойдет.

Провиденс Провиденс откладывал поход месяцами. Легкий холодок страха наполнял его душу, заставляя затормозить всякий раз, когда блаженство было уже совсем близко. Но доктор Бенедикт с цинизмом ученого продолжал нещадно подгонять его. В конце концов ему удалось переломить страхи своего пациента. 22 ноября 1963 года Провиденс Провиденс вышел из мужской комнаты Линкольн-центра Сиэтла покрасневший, позабыв заправить рубашку; в душе его все пело, словно он наконец-то вернулся к жизни. Часы показывали 12.30. В эту самую минуту пуля вошла в мозг Джона Фицджеральда Кеннеди, президента Соединенных Штатов Америки.

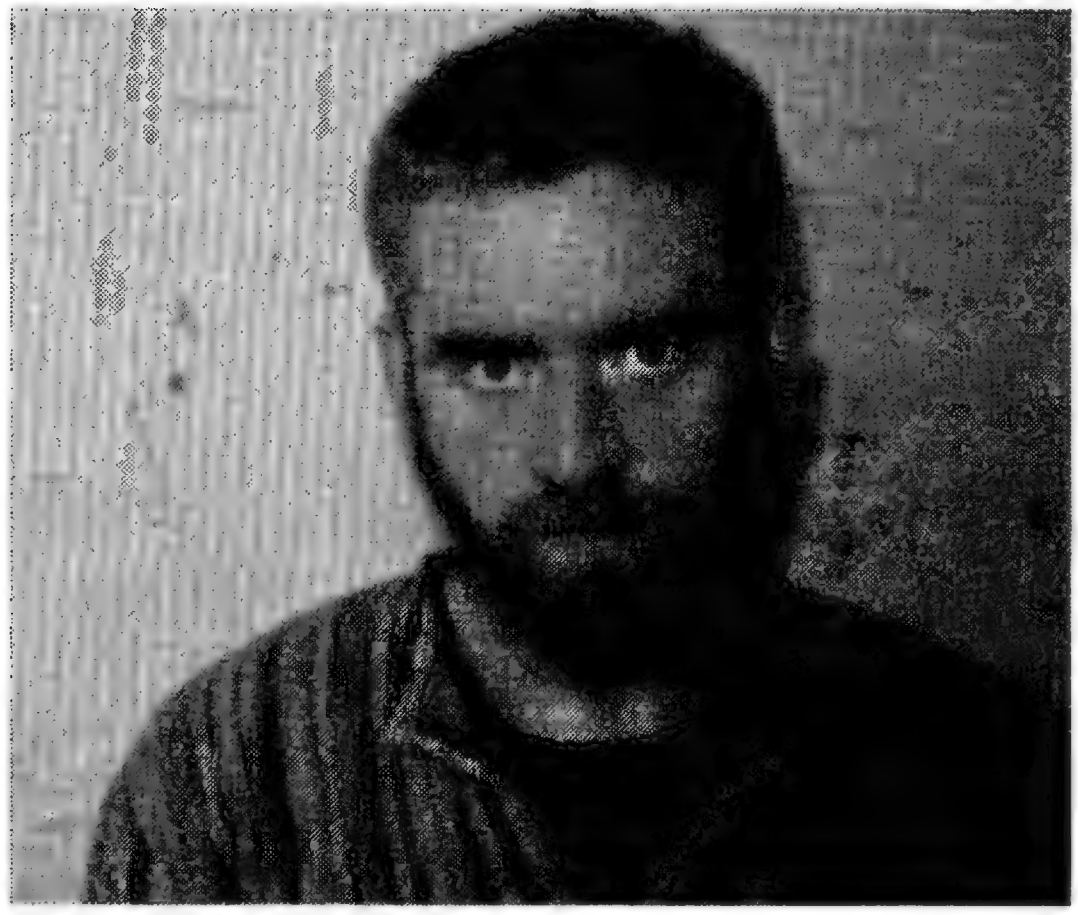
Доктор Бенедикт вежливо, но решительно отказался давать комментарии по поводу столь странной развязки "казуса Провиденса". Но нужно отметить, что спустя несколько месяцев после изложенных событий он неожиданно забросил пациентов и университет и уединенно зажил в летнем домике в Корфе, графство Дорсет. Там год за годом он продолжал потихоньку работать, и его новый труд должен был поставить точку в изучении синдрома Будмана. Те немногие, кто общался с ним в этот период, отмечали постепенное физическое и психическое угасание доктора. Все согласились, что он пал жертвой тяжелейшей депрессии, которая сопровождалась жестокими приступами безотчетной тревоги. В частности, у него постепенно развилась умопомрачительная фобия — он стал бояться писать. Бенедикт буквально трясся от ужаса при мысли об ошибках, которые могли случайно проскочить в его письме, вменяя им чудовищные разрушительные способности. Очень скоро доктор уже ничего не мог написать: он до смерти боялся пишущей машинки и в панике бежал при виде ручки и карандаша. Пришлось нанять машинистку. Этому конкретному эпизоду в уже упомянутой монографии профессора Адельграсса посвящена целая глава, а именно, предпоследняя. Там он выдвигает смутную гипотезу, подкрепленную горячи-

ми свидетельствами очевидцев, что у доктора Бенедикта стали проявляться признаки синдрома Будмана: якобы он перестал писать с того самого дня, когда из-за допущенной им описки перевернулся лондонский автобус (при этом погибли шесть человек). Впрочем, эта версия была радикально переосмыслена в статье Годдарка, опубликованной два года назад в Англии. Это породило столь бурную полемику, что отзвуки были слышны повсюду, так что напоминать ее суть не имеет ни малейшего смысла. Известно, что труд доктора Бенедикта, над которым он работал последние годы, дошел до нас в виде книги в шестьсот тринадцать машинописных страниц, при этом ни черновиков, ни пояснительных материалов обнаружено не было. Все ученые признают очевидную фрагментарность и незавершенность данного текста. Несколько фрагментов, где прослеживается какая-то логика, совсем невразумительны и не содержат важных наблюдений. Большая часть монографии начисто лишена смысла.

Несмотря на это, синдром Будмана теперь официально признан научным сообществом и упоминается во всех основных трудах по истории психиатрии. Работы доктора Бенедикта, незначительно отредактированные, до сих пор являются лучшим инструментом по описанию и лечению этого синдрома. На них выросли сотни учеников, которые активно занимаются терапевтической деятельностью в разных уголках планеты и добиваются отличных результатов. Четыре года назад в Копенгагене была основана премия “Бенедикт” за самые блестящие результаты в области терапии синдрома Будмана. Интересно отметить, что в этом году лауреатом премии стал не кто иной, как доктор Грэмми, внучатый племянник по материнской линии неоднократно упомянутого судьи Будмана.

Что же до доктора Бенедикта, то он отравился крысиным ядом 26 апреля 1986 года (некоторые не преминули отметить, что это событие странным образом совпало с датой чудовищной катастрофы на Чернобыльской АЭС). Перед тем как покончить с собой, доктор Бенедикт собственноручно написал — по тщательно выведенным с почти детским старанием буквам нетрудно представить, как долго и скрупулезно писал он эти слова, — коротенькую записку. Здесь мы впервые приводим ее содержание целиком: “Ключ от гаража во втором ящике справа, на кухне. Поклонитесь от меня госпоже Поддер и поблагодарите ее за гардении. Мой номер телефона 4423–8781. Меня зовут Венедикт-камин-чист-трубочист. Катитесь все к черту. К черту, к черту, к черту. Жизнь — это сплошной бардак. Умереть так же просто, как выпить стакан воды”.

Паоло Коньетти



Механика двухтактного двигателя

Перевод Диляры Туишевой

ВОСКРЕСЕНЬЕ, колокол торгового центра пробил десять часов утра. Как веки после долгого сна, медленно поднялись рольставни. Двери заглотили счастливые семьи с детьми и тележками, успевшие столпиться у входа в ожидании открытия. Семьи, приехавшие на машинах по автостраде, заполнили парковку. Чертыхаясь и сплевывая, Диего толкал мотоцикл в сторону отцовской мастерской навстречу людскому потоку. Сегодня был его день рождения. Он страшно устал: смертельная жара, рюкзак за спиной, ночка выдалась не из легких. Отмечал? Как бы не так! Да и мотоцикл — одно название, но в мыслях и иногда в разговорах Диего зовет его именно так, хотя почти на нем не ездит — все больше чинит. Вот и сегодня Диего встретил рассвет и свой шестнадцатый день рождения посреди пустыря, из последних сил пытаясь завести колымагу, но не вышло даже с разбега. В конце концов, смирившись, он пошел пешком.

Стоял июль. Историю родного городка Диего знал по рассказам взрослых, сам он ничего не видел. Раньше торговый

© Paolo Cognetti, 2007
© Диляра Туишева. Перевод, 2016

центр был заводом. С тех времен сохранилось немного, среди прочего – отцовская автомастерская, скрытая за парковкой и дорожной насыпью. Здесь Диего узнал все о двигателях. Когда-то его отец был токарем по металлу, но однажды завод закрыли, и отец пошел работать в автомастерскую. Начал простым механиком, потом, когда фирма развалилась, выкупил ее, и на несколько лет затянул ремень потуже. Дальше случилось чудо. Сперва построили автостраду, потом кольцевую развязку, потом торговый центр.

Диего тогда еще не родился. Про те времена он слышал не раз, но каково тогда было, ему трудно представить. Пустой завод, безденежье, полное затишье. А что сейчас? Сплошные пробки, от которых никуда не деться, с заказами отец не справляется, хотя пашет без выходных. Сын работать в мастерской отказался, поэтому пришлось нанять помощника.

Диего появился у них за спиной, когда отец только начал вводить новичка в курс дела. Оба стояли, склонившись над открытым капотом старого “меркури”.

– Двадцать лет тут вкалываю, и всякий раз мурашки по спине, когда слышу этот звон, – сказал отец.

– Какой звон? – не понял помощник.

– Колокола, – вмешался Диего, едва отдышавшись. – Заводского колокола, его оставили.

Отец повернулся и посмотрел на Диего, ладонью прикрывая глаза от утреннего света: похмелье. Ничего не сказал. “Ну, что заглох? Давай, скажи что-нибудь!” – пробурчал про себя Диего. Он прошел через мастерскую, швырнул рюкзак в угол, где играл в детстве, а позже прятал украденные и перекрашенные мотороллеры, и откуда его наверняка скоро вышвырнут, потому что он не хочет быть механиком, как отец. Он положил мотоцикл на бок, слил бензин через трубку, затем снова поднял его и начал разбирать на части: глушитель, свеча, карбюратор. Детали положил рядом на тряпку, чтобы позже их почистить.

Отец вернулся к работе. Он продолжил прерванную лекцию о четырехтактном двигателе. “Меркури” 1977 года выпуска, как раз когда он переехал в этот городок, когда еще старался избавиться от говора, собирал фотографии спортивных автомобилей и работал в две смены на заводе. Машина – тщательно отреставрированный музейный экспонат, реликвия, которой навсегда запретили ездить. “Или жить”, – подумал Диего. Такой любви к машине он понять не мог. Помощник тоже не понял. Он вообще не был похож на того, кто ловит на лету. Огромный комбинезон, мотня до колен, штанины подвернуты. Он все время морщил лоб и постоянно пе-

респрашивал одно и то же, но Диего знал, что отца это не беспокоило. Тугодумы как раз лучшие ученики. Может, им нужно больше времени, чтобы что-то понять, зато после уже ничто не может сбить их с толку. Помощник отвлекся, поднял глаза и осторожно взглянул на календарь с полуголыми красотками, потом перевел взгляд на часы, висевшие на стене, затем на мотоцикл Диего. Он показал пальцем на тряпку, почерневшую за считаные минуты. Отец тоже заметил.

— Масло вытекает, — сказал он. — Движку конец! Скажи спасибо Богу, что Он сделал тебя левой ногой!

Про ногу это его любимая хохма. Кажется, издевки входят в программу обучения. Помощник прыснул со смеху — фраза пришлась ему по вкусу, ее он запомнит, как и все остальное, что ему здесь говорят. Диего же никогда не прислушивался к отцу, только если речь не шла о двигателях. Он сплюнул, со всей силы пнул бездыханный мотоцикл, тот завалился на бок.

В это время неподалеку, в одном из домов, построенных в то время, когда в городок вернулась жизнь, Симоне перевернул ванную вверх дном в поисках зеркальца. Сразу после утренней службы в церкви он прибежал домой, в коридоре расталкивая и сбивая сестер с ног, вломился в ванную и заперся изнутри. Порылся в их шкафчике, набитом прокладками, бутылочками с жидким мылом и очищающим молочком, мазями против прыщей, депиляционным кремом и прочей ерундой неизвестного назначения. Еще немного и эти сокровища займут его с отцом шкафчик — последний оплот мужской солидарности, где один хранит электробритву, а второй комиксы. Симоне — старший из четырех детей, единственный мальчик. Он достаточно знает женщин: стараться их понять — пустая трата сил и времени. Например, летом их не узнать: едва заканчивается учебный год, они меняют свитера с высоким горлом на короткие маечки. Когда начинаются каникулы, их взгляды становятся кокетливыми и внимательными. Они больше не стесняются смотреть на те части мужского тела, существование которых раньше игнорировали. “Не забивай себе голову, живи и радуйся”, — думал Симоне. Наконец он нашел, что искал: круглое зеркальце. Подышал на него, протер и посмотрел на свой затылок. Провел рукой по недавно стриженным волосам, вспоминая слова, сказанные сегодня утром в церкви его подругой по урокам катехизиса. Девушка перегнулась через парту за его спиной и прошептала: “Ты знаешь, что у тебя красивая шея?” Потом села обратно и захихикала с подружками. Пошутила! А вдруг

нет? После мессы Симоне дождался девушек у выхода из церкви. Как только его подруга осталась одна, он подошел к ней. Прямо там, у церкви, они договорились о свидании.

"Красивая шея", — снова и снова повторял Симоне, крутясь перед большим зеркалом. Осада сестер за дверью не ослабевала, еще немного, и они вломятся. "И не только шея..." — улыбнулся про себя Симоне. На крохотном пятачке между ванной и раковиной он изображал танец, двигая вправо-влево бедрами, задирая руки, ощущая, как накрахмаленная выходная рубашка сжимает спину, словно в объятьях.

"Сегодня твой день, — произнес Симоне, — твой день, чемпион!" Он подмигнул отражению в зеркале. Затем потянулся к двери, чтобы повернуть задвижку. Не успел он коснуться ключа, как дверь распахнулась, и он чуть не упал под натиском сестер. Три пары рук и ног отчаянно боролись за право первыми попасть в ванную, но победила старшая сестра. Она навалилась всем телом на дверь, подперла ее коленом, налегла посильнее и, наконец, заперла замок на два оборота.

— Черт, никого не волнует, что мне сегодня на работу! — крикнула она.

Девушка прислонилась к стене перевести дух. На ней было что-то вроде костюма ковбойши: сапоги, штаны с кожаными вставками, белая рубашка, узлом завязанная на талии, на шее — красный платок, такого же цвета вышитое на нагрудном кармане имя Соня. Увидев перевернутый вверх дном шкафчик, она чуть было не закричала, но вместо этого молча поставила бутылочки и тюбики на место. Потом взяла тени и карандаш для глаз — накраситься в лифте. Сняла рубашку и нарвала туалетной бумаги, чтобы набить ею лифчик. Посмотрела на часы — до выхода оставалось еще минут десять. Девушка распахнула окно, села на крышку унитаза и закурила. Сверху ей было видно, как во дворе мальчишки гоняют мяч. Она подняла глаза на балконы. Выше начинались крыши, вдали вилась сверкающая полоска мчащихся по автостраде машин.

Около полудня Диего вбежал в торговый центр. Он понесся, перепрыгивая через детские коляски и продуктовые тележки, мимо отделов электроники, одежды, игрушек, товаров для дома. Он бежал по фальшивым улочкам и площадям, сделанным под старину: со столиками, скамейками, фонарями и кадками с цветами. Диего старался не попадаться на глаза охранникам. Он передал одному из продавцов, у которого был обеденный перерыв, черную коробку из-под фотопленок. Полученные деньги, не пересчитав, положил в карман. Про-

ждал кого-то с полчаса, сидя на бортике фонтана. Несколько раз набирал чей-то номер, злился, слыша автоответчик. Потом ему надоело, и он пошел на первый этаж, где располагается самый популярный ресторан торгового центра. По всем четырем этажам здания оттуда распространялся запах американского барбекю. Диего прошел мимо очереди в кассу, через зал с кожаными диванами и остановился у дверей в кухню — подстеречь Соню. Он и вправду застал ее врасплох. Когда она вышла из кухни с тремя бокалами пива и огромным блюдом картофеля фри, Диего закрыл ей глаза руками. Соня от неожиданности замерла.

— Угадай кто! — спросил он.

— Идиот! — воскликнула Соня.

Пиво в бокалах закачалось и полилось через край, горка из картофеля фри развалилась. Как только Диего убрал руки, Соня обернулась. Его ладони, испачканные в машинном масле, оставили вокруг ее глаз два черных круга, похожих на маску грабителя. Он поспешно спрятал руки за спину.

— Пришел поесть? Не вовремя ты. Давай не сегодня. Начались летние распродажи, полно народу, — сказала Соня.

— Ну-ка, улыбнись пошире! — попросил Диего.

Соня вздохнула и закатила глаза, изображая раздражение, хотя на самом деле ей было очень приятно: он заметил, что она сняла брекеты, которые носила два долгих мучительных года, и стоило ему обратить на это внимание, как настроение у нее моментально улучшилось. Она оглянулась — кажется, никому не было до них дела, и шепотом произнесла:

— Постой здесь, сейчас посмотрю, может, найду тебе местечко.

— Вообще-то я искал твоего брата, — ответил Диего, вмиг разрушив собственные чары.

— Ясно, — сухо ответила Соня. — Он был тут пять минут назад. Наверное, устал тебя ждать.

Она повернулась на каблуках и направилась к стойке. Диего успел протянуть грязную руку к миске и стащить оттуда несколько картофелин. Набив ими рот, он сказал:

— Приду поесть потом, ладно? Забыл сказать: круто накрасилась сегодня!

Соня ушла не обернувшись. Она шагала, слегка вихляя бедрами, по воображаемой полосе, как учили старшие официантки, надеясь, что Диего провожает ее взглядом. Подойдя к стойке с пивом в руках, Соня поняла по лицам посетителей: что-то не так.

Диего пошел искать Симоне. Обойдя игровые залы, бары, кафе, пробежав по эскалатору три пролета, он наконец обна-

ружил приятеля сидящим на скамейке напротив магазина нижнего белья, в руках — стакан кока-колы и пакет попкорна. В магазине девушки мерили купальники.

— Куда ты запропастился? — спросил Симоне. — С днем рождения!

— Забей, — Диего сел рядом.

— Что случилось?

— Ничего. Очередной дерьмовый вечерок, как обычно.

Симоне прекратил пялиться на девушек. Отпил колы, взглянул на руки друга, потом на его грязные ботинки. Выражение лица Диего было под стать его внешнему виду.

— Не помирились? — спросил Симоне.

— Сам знаешь, какой он, когда напьется.

— Что, опять?

— Сначала прикончил бутылку белого, потом бутылку красного — все за один ужин в одно горло. Мать достала торт, а он открыл шампанское. Потом как хлопнет рукой по столу: "Угадай, что сегодня случилось? Я нашел помощника!"

— Кого это? — поинтересовался Симоне.

— Кого-то. Какая, на фиг, разница! Чьего-то сынка, — ответил Диего.

— Ну, а дальше?

— Я ему говорю: молодец, страшно рад за тебя и за твои чертовы машины.

— Зашибись, — произнес Симоне. Он не был уверен, что хочет слышать продолжение, зная, что у истории могло быть два конца. Хотя сегодня синяков не видно.

Диего продолжал:

— Я ему: "Какого черта, сегодня мой день рожденья, можно хоть раз поговорить о чем-нибудь другом?" Ну а он, понятное дело, другого и не ожидал. Как подскочит, как заорет: "У тебя такая рожа, будто ты жрешь дерьмо и живешь в сарае!" Мать расплакалась, а ему хоть бы хны. Орал как резаный еще минут десять, пока не опрокинул шампанское на торт, так что сливки на нем стали похожи на жидкое дерьмо. Торт был со свечками, кстати.

— Ну а ты что?

— А что я? Если бы я ответил, он бы вставил мне по полной. Я встал, поблагодарил за чудесный праздник, взял подарок и свалил. И не вернулся бы, если бы этот чертов мотоцикл не сдох сегодня утром.

— Ты что, катался всю ночь? — удивился Симоне.

Диего не ответил. Он зачерпнул в ладонь попкорна и зашагал к эскалатору. Симоне посмотрел в последний раз на девушек в магазине, но разглядывать их больше не хотелось.

Они с Диего дружили с самого детства — сколько точно лет, Симоне не помнит. Когда-то их отцы вместе работали на заводе. Уж он-то знает, когда другу нужна помощь. Догоняя Диего, он вспомнил кое-что важное:

— А подарок? — спросил он, когда, наконец, поравнялся с ним.

— Удочка, — ответил тот.

— Чего-чего? — не поверил своим ушам Симоне.

— Выдвижная удочка, углеродная, с чехлом и разными примочками. Древнее отцовское снаряжение. Он ею не пользуется лет десять. Решил, наверное, сэкономить на подарке. Или намекнуть на что-то. Или поиздеваться. Хрен его знает. Может, в его башке удочка как-то связана с мастерской. Иду ее испробовать. Хочешь, пошли вместе.

— Куда? — спросил Симоне, следуя за ним к выходу из торгового центра.

В эту минуту в туалете американского ресторана Соня пальцем пробовала воду. Масляные пятна не отмывались. Она совсем не расстроилась из-за того, что следы, оставленные Диего, такие стойкие. Она размышляла, намыливая лицо: как было бы здорово, если бы Диего оставил следы в другом, менее заметном месте — например, на запястье или на шее — там она смогла бы их сохранить. Она прикрыла бы следы платком или рукавом, ощущала бы их, пока работает, смотрела бы на них во время перерыва. Ее позвали с кухни. Соня макнула туалетную бумагу в горячую воду и попросила подождать минуту. Она терла кожу вокруг глаз и думала: окажись ее фантазия реальностью, оставь Диего следы там, где бы ей хотелось, она, по крайней мере, знала бы, что ко всему этому она не имеет никакого отношения. Она бы решила, что все вокруг — закусочная, портреты индейских вождей, глупая форма ковбойши — всего лишь часть их общего плана. Было бы гораздо легче с голым пупком лавировать между диванчиками, убирать со столов остатки еды, мило улыбаться, выслушивая жалобы жен, глупые шутки мужей, капризы детей, подчиняться последнему из поваров, последней кассирше, последней уборщице, поскольку для нее — последней из последних — все было бы намного проще, знай она, что там, за стенами этого ресторана, у нее есть любимый парень.

История, которую знает Симоне, началась так: много лет назад, может, лет сто назад, в какую-то далекую эпоху здесь был завод. На завод отовсюду приезжали работать люди, для них строили дома. Когда завод закрылся, кто-то уехал, кто-то остался. Оставшиеся стали свидетелями упадка, который затя-

нулся на годы. Городок дряхлел, пустел и все больше напоминал город-призрак: без работы, без денег, без детей.

Но однажды ранней весной началась стройка. Где-то далеко отсюда разработали проект: было решено, что участок новой автострады пройдет по уже существующей трассе — железной дороге, по которой раньше ходили товарные поезда прямо до центра промышленной зоны. Этот проект поделил завод на две части. Южную, обращенную к городу, должны были законсервировать и затем перестроить, а северную собирались снести.

События развернулись одним туманным мартовским утром, когда несколько безработных глазели на выстроившиеся за ограждением бульдозеры: они вот-вот должны были приступить к сносу пятиметровой стены, за которой начинались заросшие поля. А внутри на огромном, как площадь, дворе бригада рабочих вот уже который день подряд откапывала фундамент здания. Бригада уже докопалась до дна, когда вдруг божество старого завода решило восстать. Земля потемнела, наполнилась влагой, из глубины стремительно поднялась вода и в считаные часы заполнила вырытый котлован.

Снос завода приостановили. Разработали проект осушения, но на его осуществление не нашлось то ли денег, то ли времени, а может, по большому счету, это было никому не нужно. Автостраду все равно построили на высокой насыпи, за которой навсегда скрылись старый завод и новое озеро. И хотя городок вернулся к жизни, появилась работа, а с ней люди, дома и дети, об этих руинах навсегда забыли. Для немногих, кто помнит о них, эта история стала легендой, передаваемой из поколения в поколение.

Симоне ни разу не задумывался, насколько правдива эта история. Конец, он знал, у нее точно правдивый, потому что он собственными глазами видел заводские развалины. Как и всех, кто бывал там до него, его притащили туда ребята постарше, которые, повзрослев, перестали быть частью мальчишеской компании. Да и сам Симоне давно уже не думает об этом. История осталась в детстве вместе со сказками на ночь, затерялась в памяти, как и говорящие звери, храбрые герои и лесные эльфы.

В тот июльский день, следуя за Диего по дренажному рву вдоль насыпи автострады, Симоне плохо понимал, куда и зачем они идут. Главное — не задеть вездесущую крапиву и не отдать себя на съедение комарам, которых он то и дело прихлопывал рукой. Спросить бы у Диего, но разве докричишься через гул проносящихся машин?

Диего вытащил из ежевичных кустов рюкзак, надел его на плечи и пошел дальше по дну рва, пока не наткнулся на лист ржавого железа. Поднял его, под ним оказалась сточная канава. До Симоне дошло: потайной ход. Он пролез вслед за Диего, задвинув крышку на место. Они оказались в темноте, внутри узкой сырой бетонной трубы, под толщей земли, которая сотрясалась под тоннами металла, мчавшимися по шоссе. Симоне полз на коленях, помогая себе локтями, впереди он видел только ноги Диего. Вдруг Симоне охватил страх. Он испугался не темноты, не замкнутого пространства, не обвала, который похоронил бы их заживо, навсегда сделав частью автострады, — когда-нибудь их обнаружили бы потомки, как первобытных людей в ледниках. Воспоминание или страх, живущий там, куда не возвращаются годами, страх, который забывается, чтобы однажды, как этим июльским днем, пробудиться. Затхлый воздух. Песок во рту, в носу. Грохот фур на автостраде. И наконец-то свет — Диего открыл люк. Симоне пулей долетел от насыпи до самого завода. Испачканный, мокрый, как новорожденный, он снова оказался в безопасности.

— Завод! — крикнул он облегченно. — Так и стоит тут, прикинь! — засмеялся Симоне.

— А где ему быть? — хмуро отозвался Диего.

— Когда мы были здесь последний раз? Хоть убей — не помню.

— Пять лет назад. В июне, в конце начальной школы. Потом начались каникулы, и вы все испарились.

Диего стряхнул песок с одежды и головы. Снял футболку. Потом снова надел на голые плечи рюкзак и пошел в сторону цеха.

— Пять лет! Наш завод! — кричал Симоне.

Завод представлял собой уцелевшую половину некогда единого здания, с большим внутренним двором, сторожевыми башнями и проходами, как в настоящей крепости. Внутри мощные, два метра в ширину, колонны подпирали металлические балки, тянувшиеся от одной стены до другой. На полу валялись обломки полуразвалившейся крыши. Идя вслед за Диего, Симоне вспоминал давно забытое. Когда-то рассказы отца будоражили его детское воображение, которое по ночам погружало в яркие сны: рабочие, ослепленные летящими искрами, разгружают вагонетки с углем и железом у жерла вулкана. Грохочущие станки, свист пара охлаждающей жидкости. Блестящие лица работяг. Тогда Симоне представлял себе завод как высшее существо с мышцами из плоти и крови, скелетом из стали, где люди и машины составляли единый, искусственно созданный, бессмертный механизм. Волнительные образы

из прошлого, словно мультфильмы про роботов, на которые натыкаешься, щелкая по кнопкам пульта.

— Зашибись, — произнес Симоне, чтобы удостовериться, что он уже взрослый. — Наш штаб!

Он отошел от Диего, пробрался по бетонным руинам и горкам почерневшего стекла к углу, где находился главный штаб их банды. Нечто похожее на шалаш с пластмассовой крышей, внутри вместо столов и стульев огромные мотки электрокабеля и сбитые доски. Пол вокруг вычищен. На стене еле видны шесть выцветших угольных подписей: на каждом кирпиче своя подпись, а на самом верхнем — дата. День из далекого прошлого.

— Наша клятва, — произнес Симоне, — глянь, тут и имена написаны.

Диего был не настолько впечатлен. Он прошел мимо Симоне, забрался на стол и начал тщательно осматривать стену, пока Симоне, как в старые времена, делал перекличку. Он вспомнил, как они проводили здесь летние каникулы, тайные собрания, как он врал матери, только бы попасть на заброшенный завод. Они играли в бандитов, придумывали похищения и нападения на инкассаторские машины. Воевали против вымышленных врагов, собирались в партизанские отряды, устраивали полицейские облавы.

— Ты помнишь Сальво, Сальваторе? — спросил Симоне.

— Нож есть? — не заметил вопроса Диего.

— Зачем тебе?

— Давай, не сломаю же.

— А Бориса помнишь? — продолжал Симоне, протягивая складной нож Диего. — Где он, не слыхал?

Диего нашел на стене кирпич, обозначенный крестиком. Отсчитал от него семь кирпичей вправо и семь вверх. Лезвием ножа поддел нужный, вытащил его из стены и запустил руку в образовавшееся отверстие. Пошарив, вынул завернутый в пищевую пленку темный сверток.

— Диего, это что за... — Симоне не отошел еще от нахлынувших воспоминаний, но понял, что Диего держит в руках кусок гашиша.

— У меня много разных нычек, — сказал Диего. — Как можно нормально торговать, имея в кармане всего сто грамм курева, сам понимаешь.

— То есть, не понял.

— До недавнего времени я водил сюда девчонок. Но оказалось, что тут водятся крысы. Естественно, когда в самый неподходящий момент вылезает такая гадина, все летит к чертям собачьим.

Диего засмеялся. Он положил сверток на стол и развернул обертку. Нагрел зажигалкой нож, отрезал от бруска кусок толщиной с палец. Только сейчас Симоне заметил вещи, которых тут раньше не было: расстеленное на полу одеяло, свечка в банке из-под пива, кострище.

— Чокнутый, — пробормотал он.

— Точно, — ответил Диего. Он завернул гашиш обратно в пленку и положил его на место, вставил кирпич и спрыгнул со стола. Симоне не верил своим глазам.

— Ну ты даешь, это же наш штаб!

— Мой, а не наш, — ответил Диего.

— А как же Борис, Сальво, Нико, Маттиа? Ты читать умеешь?

— Ну и где они? Ты, случайно, не знаешь? Не бойся, они не обидятся.

— Нам было по десять лет, мы поклялись кровью!

— Вот моя кровь, — Диего разжал кулак и сунул Симоне под нос кусок гашиша. — Вот моя жизнь, понял? Пора вырасти, дурачок.

Симоне посмотрел ему в глаза. Его затрясло от злости. Разозлила не история с куревом и с девчонками и не клятва, а то, что все это время Диего приходил сюда один, без него. Кто знает, сколько раз за последние пять лет. После встреч с ним Диего шел сюда по рву, по канаве, проводил здесь вечера в одиночестве, сидел у костра, как в былые времена. Диего помнил прошлое, пока Симоне рос, потихоньку все забывая. Нет, Диего не предатель. Это они предатели. Симоне расстроился, он чувствовал собственное бессилие — сам себе сделал больно, а винить некого.

— Двинуть бы тебе хорошенько, сразу встанут мозги на место, — сказал он.

— Валяй! — ответил Диего.

Не раздумывая, Симоне бросился на друга. Но никто не учил его драться, не учил, что в драке удары нужно наносить быстро, так что замах получился довольно вялым, да еще реакция замедлилась от досады. Диего нагнулся, уклонился от удара, обхватил Симоне за пояс и повалил его на землю. Пока тот безуспешно пытался вывернуться, он зажал его шею в тиски и уперся коленом в спину, уткнув Симоне лицом в грязный пол. Тот начал задыхаться — хватка чересчур сильная — и наконец взмолился о пощаде.

За годы заводское озеро сильно изменилось, став частью пейзажа. Берега заросли, помутнела бурая от ржавчины вода, дно покрылось водорослями. Вьюны поползли вверх через

здание, вспарывая полы и стены — завод походил на затерянный в тропических лесах храм.

Побитый, униженный так, как бывают унижены только побитые мальчишки, Симоне сидел в одиночестве, ковыряя ножом мокрую землю вокруг папоротника. Набрав в ладонь горсть, он просеивал ее между пальцами, как давным-давно учили в летнем лагере. Первый червяк был взят в плен и брошен в консервную банку, найденную в кустах.

Недалеко от него Диего, который подтащил к воде лист железа, достал из рюкзака кожаный чемоданчик, положил его на железо и открыл, чтобы рассмотреть подарок. Он в жизни не держал в руках ничего подобного, но он всегда хорошо понимал язык предметов. Важно задавать им правильные вопросы, внимательно слушать, когда они объясняют правила сборки и для чего служат, важно выполнять их требования. Без этого особого инстинкта нет талантливого механика, как без слуха нет музыканта, только Диего ни за что не признается, что обладает им.

Он взял катушку и ловко закрепил ее на удилище, словно всю жизнь только этим и занимался. Взял тонкую леску, протянул ее через кольца и закрепил на шпуле. Выдвинул удочку на всю длину, сделал петлю, повесил поплавок, крючок, грузило, оставив между ними пару метров, чтобы удить на глубине. Диего все делал правильно, только его мысли были заняты отнюдь не рыбалкой. Диего думал об отце. О его руках. О руках, когда-то совершавших те же движения. Мужские руки — по крайней мере занятые физическим трудом, — бывают двух видов: сильные и умелые. Руки работяги, огрубевшие от обращения с тяжелыми предметами, и руки ремесленника — мягкие, привыкшие к хрупким материалам. Отцовские — не те и не другие. Они всегда казались Диего огромными, шершавыми. Он помнил, какими прохладными были отцовские руки, когда у него был жар и отец щупал ему лоб, и какими жесткими и тяжелыми, когда он отвешивал подзатыльники. Руки у отца сильные, он с легкостью откроет любую банку. В них скрыта грубая сила, но они способны и на нежное прикосновение. Волшебные инструменты, обманчивые, как руки фокусника. А какие руки у него? Диего положил удочку на землю и стал рассматривать свои ладони и растопыренные пальцы. Как раз в этот момент к нему подошел Симоне. Он принес консервную банку, в ней копошились четыре червяка, чуть присыпанные землей. Симоне поглядел на озеро, потирая вскочившую на лбу шишку.

— Откуда ты знаешь, что там водится рыба? — спросил он.

“Мои руки ни о чем не говорят, — думал Диего. — Им всего шестнадцать, они еще не решили, какими станут”.

— Во-первых, извини, — сказал он. — Во-вторых, спасибо за червяков.

— Считай, они тебе в подарок на день рожденья, — пошутил Симоне.

Диего поднял удочку с земли, достал из банки червяка и насадил его на крючок. Червяк сопротивлялся изо всех сил, извиваясь и хватаясь за пальцы, пока крючок не проткнул его насквозь, выдавив внутренности. Диего обтер руки о штаны и отвел пружинистую удочку для заброса: леска натянулась, как тетива, наживка нырнула метрах в двадцати от берега.

— На, подержи, — сказал Диего уже через полминуты. Он передал удочку Симоне, а сам сел на лист железа. Достал отрезанный кусок гашиша, зажигалку, две последние сигареты и маленький чиллум[1], который всегда носил в кармане.

— Мне скоро уходить, — сказал Симоне. — Нужно помыться, посмотри на кого я похож.

— Как мы заспешили... — сказал Диего, потроша первую сигарету. — К кому, если не секрет?

— К девушке, в церкви познакомились. Ее зовут Валентина.

— Куда ее поведешь?

— Для начала договорились встретиться на празднике в клубе при церкви. А там посмотрим: если все пойдет хорошо, куда-нибудь сходим.

Озеро застыло под лучами солнца. Диего выпотрошил вторую сигарету и нагрел гашиш.

— Постой, никак не пойму. Тебе придется тащиться на праздник в церковь ради девчонки, с которой ты познакомился в приходской школе? Выходит, тебе подавай, что попроще?

Симоне обернулся. Посмотрел, как Диего смешивает табак и гашиш. Обида после драки осталась.

— У тебя никогда не было девушки, которая ходит в церковь? — спросил он.

— Да была, наверное. Не знаю, — ответил Диего.

— А ты сам-то там бывал?

— Вряд ли.

— И никогда не ходил на занятия в церковную школу?

— Нет.

— Ну и какого черта ты тут умничаешь?

Симоне отвлекся от удочки и не заметил, как поплавок ушел под воду. Он опомнился, когда катушка уже защелкнулась, а удилище согнулось в дугу. Симоне инстинктивно по-

1. Чиллум — прямая курительная трубка. (*Прим. перев.*)

дался телом назад, но его неловкие движения все испортили: леска порвалась, и Симоне упал на сидевшего позади Диего, гашиш и табак вылетели у того из рук и упали в грязь. Все произошло слишком быстро. Секунду назад они болтали о девчонках, а теперь лежали друг на друге, молча глядя на озеро, — каменные изваяния с открытыми ртами.

— Что это было? — опомнившись, воскликнул Диего.

Он вскочил, спихнув с себя Симоне.

— Что за черт? — Диего схватил удочку и внимательно посмотрел на катушку в том месте, где порвалась леска.

Пока Симоне пытался собрать рассыпанный гашиш, ползая на четвереньках по земле, он глядел то на озеро, то на удочку и наконец решил перейти к решительным действиям: достал самую толстую леску, закрепил тройной крючок, нанизал на него оставшихся червей. Без поплавка пришлось использовать другую технику: забрасывать и быстро подтягивать к себе леску, чтобы наживка оставалась на поверхности воды. Диего проделал этот маневр два, три, четыре раза, пока, запутавшись в водорослях, червяки не превратились в месиво. От наживки не осталось и следа. Перед его носом блестел пустой крючок. Нет червяков — нет рыбы.

— Будешь курить? — спросил Симоне. Он уже забил чиллум тем, что удалось собрать.

— Там больше земли, чем гашика, — ответил Диего. Он посмотрел на озеро, где пропал поплавок, ему захотелось туда нырнуть и продолжить охоту с голыми руками. Хотя нет, глупо как-то.

— К черту всё! — заорал он, швыряя удочку на землю. — К чертям собачьим рыбалку! И день рожденья туда же!

Диего бухнулся на землю, забрал чиллум у Симоне. Пнул чемоданчик так, что тот отлетел далеко в заросли папоротника. “На тебе, твой подарок, мне он сто лет не нужен”, — думал он.

— Слушай, может, пойдешь со мной? — предложил Симоне, поднося зажигалку к чиллуму. — Может, у Валентины есть подруга.

— Нет, спасибо, — ответил Диего. — Сегодня явно не мой день.

Он закрыл глаза, глубоко затянулся. Задержал дыхание так, что заболели легкие. Затем выдохнул клубок темного дыма, передал чиллум Симоне и растянулся на земле. В эту минуту перед его глазами проплыли все его прежние подружки, выстроившись в ряд, как в американских полицейских участках на опознании преступника. Девчонки болтали, сидя на высоких стульях, на груди у каждой висел порядковый номер.

Блондинки знакомились с брюнетками. Они демонстрировали друг другу маникюр, о Диего никто не сказал ни слова; они и не подозревали, что за ними наблюдают.

— Знаешь, чего я хочу? — спросил Симоне. — Хочу снова собрать нашу банду. Что скажешь? Можем позвать наших ребят или найти новых, помладше, у них больше драйва.

— Да ну, на фиг, — пробормотал Диего, проваливаясь в сон.

— Будем зваться заводской бандой. А еще круче — бандой с заброшенного завода.

— Слушай, тебе не пора на праздник?

— Да нет, посижу еще. Если ты остаешься, я тоже. Девчонки подождут.

— Девчонки... было время, когда я только о них и думал, — сказал Диего. — Все время вертелся перед зеркалом. А теперь мне все равно. Я забыл, как выгляжу.

— Не много потерял.

— Да иди ты... — успел произнести Диего перед тем, как заснуть.

Спустя несколько часов, когда, казалось, наступил новый день, Диего открыл глаза и увидел июльское небо. Он понял, что уснул. Симоне ушел, но ему не было одиноко. Он слушал, как жужжат мухи, как в заводском цеху гудит ветер, прислушивался к своему глубокому после сна дыханию, звучавшему как басовый переход в главной мелодии. Он сорвал травинку и сунул ее в рот. Диего представил, что он умер, что лежит мертвый и окостенелый. Мертвое, закопанное, разложившееся тело, растворившееся в земле, питающее деревья и червей.

Он смотрел на проплывавшие над заводом облака — на город шла гроза. Вот почему так суетились насекомые. Стая птиц — знать бы, как они называются, — улетала прочь от дождя. Но одна птица выбилась из клина — видно, ей было тяжело лететь в общем строю. “Она или самая старая, или самая молодая”, — подумал Диего. Не такая, как все. Он представил, как выглядит сверху земля, которой он, мертвый и окоченелый, теперь принадлежит. Поля, изрезанные автострадой, на горизонте сереет город.

Проспать бы месяц. Или дольше. Проснуться, чтобы сразу исполнилось лет двадцать. Было бы легче думать о будущем. Отец к этому времени, скорее всего, превратится в безобидного пьяницу, Симоне сделает ребенка своей девчонке из приходской школы, потом они поженятся. Наверное, и сам Диего рано или поздно сдастся и до конца своей жизни

будет работать механиком. Так или иначе, всему найдется решение.

Потом Диего вспомнил про рыбу. Он вспомнил историю озера, которую ему рассказывали в детстве, представил на минуту, как прозвучала бы сегодняшняя история для ребенка. Вышла бы неплохая сказка о том, что нельзя поставить себе на службу бога-заступника. Он представил рыбу, застрявший в ее пасти крючок, как она вся в крови бьется в кромешной темноте озерного дна.

— Сестра! — крикнул Диего. — Сестра, прости меня!

В восемь вечера после работы Соня зашла в магазин одежды померить джинсы. До зарплаты осталось меньше двух недель. Последние деньги потрачены на мятные леденцы и сигареты. Соня стояла в примерочной, в неуверенности покусывая деревянную палочку от леденца. Она глядела на как будто не свое тело, похудевшее в зеркале для полных женщин. Джинсы с заниженной талией сели отлично, изящно облегая бедра. "Я забила на летние каникулы и устроилась на работу в чертов ресторан не ради того, чтобы научиться носить три тарелки в одной руке и считать дни до конца месяца", — думала она.

Соня выглянула из примерочной, чтобы удостовериться, что поблизости нет продавщицы. Поверх джинсов она натянула форменные штаны. Сняла с шеи платок и продела его в петлю для ремня, накрыв магнитную бирку. Взяла вторую пару джинсов, которую специально принесла вместе с первой, и вышла из примерочной. Состроила грустную мину — мол, джинсы очень понравились, но, увы, не в этот раз!

— Классные! — воскликнула Соня. — Сидят как влитые!

— Приходи в конце месяца! — улыбнулась продавщица, забирая джинсы и откладывая их в сторону. — Надеюсь, твой размер еще останется, а то сегодня почти все разобрали.

Соня вздохнула. Она смотрела, как штаны кладут обратно на полку, стараясь изобразить бескрайнюю грусть. Повернувшись к запасному выходу, она сказала:

— Выйду здесь, а то на автобус опоздаю!

Продавщица кивнула на прощанье, а Соня приготовила свою самую лучезарную улыбку для охранника.

На автобусном кольце у главного входа она встретила Диего, смирившегося с тем, что домой придется-таки вернуться. Сидя на скамейке, он пинал все, что подворачивалось под ноги, то и дело сплевывая на землю.

— Какие люди! — воскликнула Соня. — Почему не пришел поесть?

— Извини, но у вас там слишком много народа, — ответил Диего.

— Да ладно, брось. Хотя я тоже не в восторге от нашего заведения.

Под козырьком на остановке сидели только они двое. Диего глядел на заплеванный асфальт, Соня высматривала автобус. Над ними расплылось оранжево-черное небо, расколотое надвое закатом и приближающейся грозой. На парковке последние посетители загружали машины покупками и разъезжались по домам.

— Я бы предложил тебе покурить, да сигареты закончились, — сказал Диего.

— Одолжить?

— Нет, все-таки ты слишком умная для меня!

Соня улыбнулась. Даже в глупой шутке есть доля правды: чтобы сказать что-то подобное, нужно напрячь воображение. Соня открыла сумочку, чтобы достать пачку. Пока она рылась в сумочке, Диего украдкой посмотрел на ее бедра.

— Это что, магнитная бирка? — спросил он.

— Черт! — улыбка сползла с ее лица. Опять все испортила: показала, кто она на самом деле — жалкая магазинная воровка. Соня перестала искать сигареты, подумав, что домой лучше пойти пешком.

— Давай-ка зайдем в мастерскую, — сказал Диего. — Сниму в два счета. Ты же не хочешь, чтобы ее увидела вся округа?

Они пошли в мастерскую через парковку. В эту минуту мимо автобусной остановки пронесся на своем мопеде Симоне, пассажирское сиденье пустовало. За последние несколько часов он прочесал всю округу: приход, футбольное поле, церковный двор, площадь перед собором. Валентины нигде не было. Ему сказали, что на праздник она пришла в мини-юбке и майке, ушла уже ближе к вечеру с парнем из другого прихода. Мужская обида наполнила его сердце, поведав новые истины о сущности женщин: “Я всего лишь опоздал. Разве можно винить мужчину за опоздание? Как можно думать о том, чтобы не опоздать, если брату нужна твоя помощь? Я ошибся”, — размышлял Симоне, спеша добраться до заброшенного завода прежде, чем начнется дождь. Бросить друга, когда ему плохо, да еще в его день рожденья, уйти на цыпочках, пока тот спит. Бóльшую подлость трудно себе представить. Досада от несостоявшегося свидания уступила место чувству вины. Он представил Диего, уснувшего прямо на земле, и ему стало еще хуже. Душу омрачило плохое предчувствие. Молния расколола наэлектризованный воздух, и первые капли дождя упали, когда Симоне уже оставил мопед в канаве под дорогой.

— Дождь пошел, — сказала Соня, лишь бы не молчать, потому как молчание между двумя людьми кажется еще нелепее, когда один из них без штанов. Она разделась за самодельной ширмой, подвешенным за крючки брезентовым чехлом для машины.

— Это гроза, она ненадолго, — ответил Диего.

Соня отодвинула ширму и протянула ему джинсы. Диего зажег свет над рабочим станком и над верстаком, включил электроприборы и радио, которое отец слушал с утра до вечера. Запах масла, инструментов, эстрадная музыка, по стенам разводные ключи — это его мир, здесь Диего вырос.

— А это что? — спросила Соня, увидев старый "меркури".

— Да так, машина, — ответил Диего, не обернувшись.

Он не хотел грубить, просто не любит делать два дела одновременно. Диего поднес магнитную бирку к лампе, нашел место, где она крепилась к ткани. Похоже, резать не придется. Он зажал бирку между тисками, взял долото и молоток.

— "Меркури-гранд-маркиз" семьдесят седьмого года. Старый американский автомобиль, коллекционный экземпляр, — пояснил Диего.

— Ты умеешь его водить?

— Я же сын механика. Мы сперва учимся водить и только потом ходить, — ответил Диего.

Он резко ударил молотком по долоту, расколов магнит, словно деревяшку, пополам. Проверил джинсы: никаких следов, легализованы успешно. Он наклонился собрать осколки и вдруг увидел свой мотоцикл, стоящий в тени, в углу. Собранный. Диего вернул Соне джинсы и пошел посмотреть на него поближе. На седле лежала желтая бумажка, стикер для заметок, который отец обычно крепит к дворникам, чтобы не забыть, что за поломка и кто хозяин машины. На бумажке было написано: *Замена цилиндра. На ходу, работает.*

В это время под дождем на берегу озера Симоне обнаружил вещи Диего: чемоданчик со снастями, рюкзак. Удочка валялась в грязи. Все, как он и думал: отчетливо вырисовывалась картина самоубийства, не хватало одной детали: чиллум исчез. Кто берет с собой чиллум, решив утопиться? Разве кто-нибудь отправляется на тот свет с мыслью забить там косячок? А если не было никакого самоубийства, разве оставил бы он подарок мокнуть под дождем? Но Симоне знал: от Диего можно всего ожидать. Дождь усиливался. Симоне надел шлем, так хотя бы волосы не намокнут. Прокручивая в голове все возможные варианты, он вспомнил про штаб. Может, крыша не совсем прохудилась, и Диего спрятался там, чтобы переждать дождь? Симоне побежал в здание завода, ноги вяз-

ли в мокрой жиже. Вода в озере поднялась и унесла все, что валялось на берегу.

— Мне здесь нравится, — сказала Соня, сидя на пассажирском сиденье старого "меркури". Она опустила стекло и закурила сигарету. Музыка и стучащий по рольставням дождь... Как в кино...

— А мне нет, — отозвался сидевший рядом Диего.

— Может, когда-нибудь понравится, — сказал Соня.

— Никогда в жизни не стану механиком, — ответил Диего, поставив точку в разговоре.

Его переполняла злость, копившаяся целый день. Он сердился не потому, что что-то ему было не по душе, а потому, что никак не мог понять: зачем было портить день рожденья, а потом чинить мотоцикл? Какой в этом смысл? Такой способ просить прощенья? Или дать понять: "Я всегда буду лучше тебя?" Отец хуже врага, думал Диего. С ним нельзя бороться его же оружием. От него не сбежишь и не сделаешь вид, что его не существует, потому что он всегда рядом. И даже если в конце концов он окажется ранен или выбьется из сил, у тебя не хватит мужества нанести ему последний удар. Жизнь взрослых представлялась Диего слишком замысловатой, как современные автомобили: чересчур много пластика и сложной электроники. Подумать только: вся эта мощь во власти такой хрупкой системы. Небольшой сбой — и ты уже впечатан в стену и даже не заметил, как это произошло. О своей жизни Диего думал как о простой и правильной механике двухтактного двигателя: цилиндр наполняется топливной смесью, которая, сжимаясь, воспламеняется, после чего цилиндр освобождается от расширенного газа. Прошедший день преподнес урок — его жизнь больше не будет прежней. Никогда.

— Рассказать тебе один секрет? — спросил он, устав думать об отце. — Сегодня у меня день рожденья.

— Ничего себе! И что ты тут делаешь? Надо отмечать или типа того, — сказала Соня.

— Мне и тут хорошо, — ответил Диего, но вспомнил, что пару минут назад утверждал обратное. — Здесь, с тобой, я хотел сказать.

"Здесь, с тобой", — повторила про себя Соня. Это не похоже на шутку. Все предельно ясно. Она знает, в какой момент лучше выдержать паузу, затянуться, сказать какую-нибудь глупость, чтобы разрядить обстановку. "Завтра же уволюсь. Лето быстро пролетит, кому какая разница..." Она выбросила окурок из окошка, облизнула губы и наклонилась к Диего:

— Ну, тогда с днем рождения!

Дождь стучал по крыше мастерской, по торговому центру, по дороге, по старому заводу. Дождь стучал по укрытию, где спрятался Симоне — там на кирпичах почти выцвели имена его друзей. Вода была повсюду: она лилась через дыры в крыше, ручейками стекала по железу. Стемнело. Симоне понял, что дорогу обратно не вспомнит, да и как идти, если ничего не видно. Можно взять свечку, но сперва надо переждать дождь. Вспомнив про крыс, он забрался на стол. Он дрожал от холода, он забыл про Диего, про банду, про заброшенный завод. Единственное, о чем он думал: как побороть страх. Он закрыл глаза, стараясь вспомнить время, когда ему было десять лет. Он дома, пора ужинать. Сестры, как обычно, ругаются, отец смотрит новости, просит, чтобы девочки вели себя тише. Мама заглядывает в комнату и зовет всех к столу. Симоне не может оторваться от окна. Дом наполнен запахом теплого хлеба. Он смотрит на грозу, на дождь, бьющий по стеклам, на затопленные улицы. Ему спокойно, он чувствует себя защищенным. Мама сердится: “Ну сколько можно!” Он отвечает: “Уже иду!”

В это время в мастерской Диего тоже закрыл глаза. Поцелуй Сони для него особенный подарок, за такие подарки не спешат благодарить и отвечать улыбкой. Он думал, что будет потом, после поцелуя — как же притягательна сила неизвестного. Ключи от “меркури” здесь, перед ним, руки сжимают теплый руль, старый гоночный автомобиль каждой своей деталью умоляет Диего позволить ему в последний раз насладиться ночью, дождем, дорогой. Диего наконец решается. Сегодня он прокатит Соню на этой машине. Жизнь еще не прожита. Чему быть — того не миновать. Каждый ребенок — носитель наследственной болезни, истории, написанной специально для него, призванной научить, указать путь, заставить повторить судьбу отцов. И как бы ни была тяжела их вина, какими бы добрыми намерениями они ни руководствовались, не существует мирного способа уйти от чужой судьбы.

Валерия Парреллa

Бег

Перевод Маргариты Старостиной

Тонино, в память о браслете

ВСЯКИЙ раз переходя эту улицу, я выбираю одну и ту же точку. Я оказываюсь в ней, пройдя наискосок с разделительной полосы или прямо по пешеходному переходу, словно машины специально останавливаются пропустить меня. Или, выскочив из трамвая, без зонтика, бегу укрыться под навесом аптеки. Но виа Марина я всегда перехожу в этом месте — не нарочно, конечно, то есть нарочно, но это получается само собой. И тогда я представляю себе его настолько ясно, что уже отчетливо вижу: это Марио, он идет по тротуару. В тот день Марио не переходил улицу: было уже довольно жарко, а в такую погоду тело само выбирает дорогу по тени. Шел он быстро, слева мелькали окна больницы Лорето, справа виднелась улица, которая упирается в море. А еще в море упираются казармы, портовые склады и подъемные краны. Марио шел быстрым шагом, как и мужчина, который несколько минут назад снял деньги в банкомате, — в это время Марио как раз проходил мимо здания банка,

© Valeria Parrella, 2005
© Маргарита Старостина. Перевод, 2016

магазинов “Дивани и Дивани” и “Шато д’Акс”. Снявший деньги синьор ровно на один шаг отставал от Марио. Лицо его выражало явное недоверие к этому городу. Лицо Марио вообще ничего не выражало. Он быстро двигался, обходя деревья, корни которых вздули асфальт, и обходил он их справа, со стороны улицы. Снявший деньги синьор обходил деревья слева, со стороны больницы, стараясь держаться подальше от проезжей части. Как будто грабитель на мопеде, которого он так опасался, постеснялся бы заехать на тротуар.

У тени оставалось еще несколько деревьев. Их корни взрывали асфальт, пока Марио проходил мимо. Последнее дерево было огромным, между его стволом и зданием больницы оставался узкий проход. Марио протиснулся в него, дотронулся до коры, а потом деревья на его пути кончились. Несколько шагов по пеклу — и он направился к навесу аптеки, где снова начиналась тень. Марио сошел с тротуара в безопасном месте: на входе в отделение Скорой помощи шел ремонт, машины там не ездили, переходя улицу, не нужно было даже смотреть по сторонам. Следующие три шага Марио совершил менее чем за секунду. Снявший деньги синьор услышал шум мотора совсем близко, почувствовал движение воздуха, и, обернувшись, заметил вытянутую руку. Он замер от ужаса, сжимая карман брюк. Мопед проехал мимо, парень, сидевший сзади (шлем был только на нем), вонзил пятнадцатисантиметровое лезвие Марио между лопаток. Затем, словно приобняв Марио, чтобы довести до бара, парень обыскал его, вытащил у него что-то из кармана, сел обратно на мопед и спокойно уехал в сторону Сант-Эразмо.

Нож — странное оружие. Луиза клялась мне, что, когда он проникает в тело, тебе не больно, ты этого даже не замечаешь. Говоря так, она проводила рукой по правому бедру, где у нее был белый шрам и вдоль него двадцать семь точек, следов от швов. Именно так: нож — оружие, чтобы ударить в бедро, но не в спину. Чтобы ранить, а не убивать. От удара ножом умирают случайно, по ошибке, в драке, если задета вена. На стадионе или в окрестностях Мерджеллины под Новый год, когда доза кокаина стоит всего десять евро и любой неудачник может ее себе позволить. Уж если быть убитым в спину, Марио ожидал бы выстрела.

Когда я рисую себе эту картину, у меня немеют мышцы спины, а потом полдня болит шея.

У входа в отделение Скорой помощи ремонтировали пандус. Неотложка подъехала через переулок, хотя можно было просто внести Марио на носилках. Снявший деньги синьор присел

на ступеньку тротуара, но не рядом с Марио, а на том же разделявшем их расстоянии в один шаг, в один метр. Он так и замер, привалившись к дереву, пока санитары не погрузили Марио в "скорую", а потом зашел в отделение через боковой вход.

Его-то я и увидела первым, когда приехала в больницу. Он сидел на банкетке, прислонившись к стене.

— Ему сюда нельзя — слишком маленький.

— Что за глупости! — сказала я, пытаясь просочиться мимо санитара. — Куда мне его девать?

— Вход детям с двенадцати лет.

— Отлично. Мне что теперь ждать, пока ему двенадцать стукнет?

Эта улыбка — последнее, что я готова была позволить санитару, потом я бы просто отшвырнула носилки, стоявшие у стены слева.

Снявший деньги синьор поднялся с банкетки.

— Вы кем-то приходитесь потерпевшему?

— Да.

— Я пригляжу за ребенком. Идите! Идите!

А Тонино уже весь взмок.

— Не давайте ему беситься, — наказала я синьору и взглянула на санитара. — А вы приглядите за этим мужчиной. Под вашу ответственность.

В реанимации делать особо нечего. Тебе разрешают войти только для того, чтобы убедиться, что он дышит, что тебя не обманули, когда сказали, что он еще жив. Однако у Марио с этим телом больше не было ничего общего.

Вот что я знала, выйдя из реанимации: Марио жив, прогноз неопределенный. Тонино растянулся на банкетке и уснул, положив голову на колени мужчины.

— Вы его жена?

Я, не думая, ответила "да" и тихонько повернула кольцо на руке камнем вниз.

— Синьора, если вы не возражаете, я отвезу вас домой. Я оставил машину перед аптекой.

— Ладно, но я живу в Понтичелли.

Снявшему деньги синьору врачи рассказали первые новости и показали содержимое карманов Марио, но потом все забрали обратно. Полицейские записали его данные, попросили не уезжать из города и явиться в участок на виа Козенц для дачи показаний. Снявший деньги синьор так и просидел все это время на банкетке, забыв о том, что умеет курить. Когда я шла из дальнего конца коридора, он смотрел на меня,

как на коллегу, которая собирается сменить его на кассе. Пока Тонино спал у него на коленях, синьор успокоился, и они начали дышать в такт.

А теперь он должен был все мне объяснить.

Только за этим я и села в его машину. Я не нуждаюсь в водителях и никогда не нуждалась: помню, что, когда я носила Тонино, я стояла и ждала с отекшими ногами, пока не рассосутся пробки, а потом в трамвае тормошила за плечи парней, чтобы мне уступили место.

Как бы то ни было, я не могла позволить этому синьору просто так уйти, оставив меня у подъезда, ведь в машине он ни слова не сказал.

– Зайдите к нам!

– Нет, спасибо за приглашение.

– Я не из вежливости: вы должны мне все объяснить.

– А я думал, это вы мне все объясните.

– Вы что, издеваетесь? У меня муж в больнице... что еще я могу вам сказать? Что произошло?

– Успокойтесь, пожалуйста, просто я никак не приду в себя.

– Может, и вас ножом пырнули?

– Нет.

– Тогда пошли!

Я сняла туфли. С четырнадцати лет я не ношу каблуки ниже шести сантиметров. Мне кажется, что, если каблуки ниже, люди не воспринимают меня всерьез. А когда люди приходят к тебе на депиляцию подмышек или паха, доверие – это все.

Но мне хотелось во всем разобраться, поэтому я сняла туфли.

– Я приготовлю ребенку макароны. Вы будете?

– Нет, спасибо. Кусок в горло не лезет.

– Ну, как хотите. Ребенка-то надо покормить. Если проголодаетесь, тоже поешьте!

Я стояла к нему спиной, он что-то говорил и вдруг неожиданно спросил:

– Чем занимается ваш муж?

– Чем занимается? А вы как думаете? Курьер он, а вы кем работаете?

– Торгую зонтами, у меня магазинчик на виа Толедо.

– Раз вы в торговле работаете, должны бы кое-что понимать.

– Одно дело понимать, а заниматься этим самому – совсем другое... Он – денежный курьер?

– В смысле?

– Ваш муж носит деньги?

— Да черт его знает, что дадут, то и носит. Торговать — не торгует, носит товар, следит, к кому он попадает.

— И деньги носит?

— А что?

— А иначе что те двое искали у него?

— Наркоту.

— Но зачем на него напали с ножом? Они что, наркоманы?

— Не знаю. Думала, вы мне расскажете. Ладно, поживем — увидим.

Снявший деньги синьор каждый день приходил в больницу Лорето к трем, в часы посещений. Он ждал меня на черной лестнице, курил с санитарами, пока я стояла без дела под дверями реанимации. В четыре пятнадцать меня впускали на двадцать минут, тогда он ждал меня внизу, в машине, пока я опять сидела без дела, но уже в реанимации. Потом он провожал меня домой. Когда не получалось оставить Тонино у соседки, я брала его с собой и могла не волноваться, потому что, пока я ждала, они ходили к окружной железной дороге смотреть с мостика на поезда.

Однажды после больницы он пригласил нас в пиццерию на пьяцца Карита.

— Если пройдем еще немного, покажу вам свой магазин.

— Нет, спасибо. Если честно, уже поздно, а у Тонино завтра в школе последний день. Вы и так очень добры к нам...

— Анна, мы каждый день видимся, давай перейдем на “ты”.

— Мам, может, мне не ходить в школу?

— Тонино, глупостей не болтай! И вы тоже!

В больнице я только зря время теряла. Врачи со мной не разговаривали, и не только потому, что я не была официальной женой. Они считали, что уже сказали мне все, что я была в состоянии понять. И потом мне все время казалось, будто его лечат за счет других больных: для человека, которого пырнули в спину ножом, ему даже кислорода давали слишком много.

Я начала терять клиентов: если косметичка летом делает перерывы в работе, все клиенты разбегаются. И все же в три часа дня я стояла под дверью реанимации и не уходила, пока не повидаюсь с Марио.

— Зачем так рано приходить? Мы вас все равно раньше четверти пятого не пустим.

— Да кто вы такие, чтобы решать, чем мне заниматься, а? Вы мне скажите!

Однажды утром Марио стало хватать воздуха — он очнулся. Глаза у него́ были синие-пресиние.

Никто и не подумал сообщить мне об этом. Когда я приехала, врач сказал, что его перевели в палату. Как только я его

увидела, сразу поняла, что это уже не Марио. Поняла по тому, как он уставился на меня. Потому что никогда в жизни я не ощущала себя такой красивой, как в те моменты, когда Марио смотрел на меня. С этого дня я уже могла делать для него что-то полезное: приносить еду в пластиковых контейнерах, кофе в бутылочках из-под сока, выносить утку, когда он снова научился справлять нужду, массировать бедра маслом "Джонсон", чтобы не было пролежней — в лежачем положении у него кожа не дышала.

Как только Марио очнулся, снявший деньги синьор исчез. Зато меня сразу вызвал Каписанте. Первым делом он спросил, как Марио. Спросил, известно ли что-нибудь синьору, который все время приходит, известно ли что-нибудь мне, не оставлял ли мне что-нибудь Марио. Я ответила, что синьор решил приударить за мной, а Марио оставил меня с пустыми руками. Только тогда он сказал мне, что знает, кто напал на Марио: несколько человек решили отделиться и работать самостоятельно. Они выслеживали маленькие партии товара, а потом нападали. Я спросила только об одном — о том, что не давало мне покоя:

— Почему же он не выстрелил?

— У него пистолета не было.

Каписанте заметил, что огонь зажигалки дрожит, что я никак не могу закурить, и положил свою руку на мою, чтобы она не дрожала.

— В мирное время никто не носит оружия за пределами своего района. А если тебя полиция остановит? Зачем лишние проблемы?

— А если бы его убили?

— Аннаре, да они знали, что он без оружия. Думаешь, иначе они бы подошли к нему с ножом? В общем, — сказал он, — мы с ними сами разобрались.

Затем он приказал отвезти меня домой. Водитель достал из багажника и занес к нам в квартиру корзину. В ней были макароны, сыр, кофе и сахар. И восемьсот тысяч лир в почтовом конверте. Все, что я могла сказать Каписанте, он уже и так знал. Он даже знал, что за Марио отомстили; небось Каписанте подсуетился — не дал обойти себя и устроить мятеж. Месть была явно делом второстепенным — так же, как и мы с Марио. Однако меня Каписанте уважил, когда вызвал к себе: выходит, быть матерью ребенка Марио что-то да значит.

Даже в палате Марио выглядел так, словно еще не вышел из комы: мало разговаривал, позволял делать с собой все что

угодно. Никто не знал и не спрашивал, выйдет ли он когда-нибудь из больницы на своих ногах. В один прекрасный день снявший деньги синьор вернулся, и мы пошли выпить кофе в бар "Лорето".

— Вам горячий? — уточнил бармен.

И только тогда я сообразила, что уже октябрь, что пора доставать теплую одежду и что я не записала Тонино в школу.

— Если сделаете мне доверенность, я сам схожу. Разумеется, когда будете ее писать, вам придется сказать мне, что у ребенка ваша фамилия и что вы не замужем.

Я не обязана была ничего ему объяснять: он и сам знал, что, когда живешь в Понтичелли, когда тебе уже стукнул тридцатник и ты живешь с мужчиной, который сегодня жив, а завтра нет, все, что тебе остается, — красиво прохаживаться на шпильках и говорить всем, что ты замужем.

— Робе, кто вам сказал?

— Следователь. Вчера меня вызывали на допрос, об этом я и пришел рассказать.

— Меня тоже вызывали, но не следователь.

— Каписанте?

— Ну да...

— Он думал, у вас что-то есть?

— А может, как раз у вас есть то, что они надеялись найти у меня?

— Ничего у меня нет. Я спрашиваю, потому что не знаю, как у них там заведено.

Я тоже не знала толком, как у них заведено, но все больше понимала, что Роберто что-то скрывает от меня. А еще я понимала, что нужно довериться ему. И мне хотелось довериться, чтобы немного передохнуть.

— У меня к вам одна просьба. Не знаю, сможете ли помочь...

— Анна, пока вы не скажете, в чем просьба, я тоже не знаю...

— Пожалуйста, поговорите с врачами. Мне они ничего не объясняют.

— Почему они должны что-то объяснять мне?

— Потому что вы знаете, как спросить.

Так я узнала, что весь вопрос был в том, где ему умирать. У Марио не было родных, кроме жены. Он бросил ее ради меня через два месяца после свадьбы, и где она — неизвестно. Я подключила Каписанте, кто-то что-то подписал, и Марио вернулся в свою постель, где, как все говорили, ему и следовало умереть.

Однако Марио пролежал в постели целых семь месяцев — Тонино за это время в школе уже почти читать научился.

Когда Тонино был годик и нам выделили квартиру, пришла женщина из соцслужбы и дала Тонино чашку и шарик.

— Положи шарик в чашку, — сказала она Тонино и улыбнулась.

Тонино посмотрел на чашку, взял ее за ручку и поднес ко рту — попить. Тогда соцработник улыбнулась мне — снисходительно.

— Мальчик не способен выполнять простейшие команды, — объяснила она. — Ничего страшного, пойдет в садик — догонит.

Тонино был разочарован: в такую вот чашку каждый раз после обеда мы с Марио наливали ему чуть-чуть кофе и разбавляли водой, чтобы он не чувствовал себя обделенным, пока взрослые пьют кофе. Теперь соцработник довольна. В школе Тонино всему научился. Научился делать то, что все от него хотят. Вернувшись из школы, он пулей мчался к отцу. Вскарабкивался на матрас, устраивал палатку из простыни, прятался от Марио под кроватью, а у Марио даже говорить не было сил, и он стучал по краю постели. Это был знак, Тонино понимал: его нашли.

Иногда он просил у меня маникюрный набор — сделать Марио маникюр.

— Только, ради Бога, осторожно.

На самом деле я знала, что Тонино орудовал пилочкой для ногтей точно и спокойно, как я уже не могла с тех пор, как стали дрожать руки. Когда он раскрашивал рисунки восковыми мелками, то всегда вылезал за контур, но ногти красил лаком очень аккуратно.

Мы с Марио так и познакомились: утром перед свадьбой я ему ногти в порядок приводила.

Марио теперь уже ничего не понимал, и я разрешала Тонино заботиться о его ногтях.

Пока Тонино усваивал мое ремесло, я переняла ремесло Марио. Конечно, не с его поручениями и не с его заработком. Я могла торговать, это да. Другие женщины тоже торговали. Те, кто жил на нижних этажах, просто стояли в дверях, как у прилавка, до определенного часа. Я жила на восьмом этаже, поэтому приходилось спускаться на улицу, но на окраине удобное расписание: с полседьмого до двенадцати, максимум до часу. Оставляла Тонино у телевизора, а когда возвращалась, он уже спал. Почти весь ноябрь было тепло, в декабре стало тяжелее. В декабре мы стояли с соседкой, которая устраивала прилавок из бочек. Мы разводили в огромном

бидоне огонь, укутывали детей, и они были с нами на улице допоздна.

Когда Марио умер, Тонино был в школе. Я позвонила соцработнику.

— Заберите его к себе на время.

— Как вы себе это представляете?

— Не знаю. Побудьте с ним, пока я похороню Марио.

Через тридцать шесть часов Тонино вернулся домой и сразу помчался в комнату, даже ранец не успел снять. Я закрыла входную дверь, обернулась и увидела, что он сидит на полу и стучит по краю кровати.

Роберто появился, когда процессия свернула за угол церкви. Но на кладбище, когда все подходили попрощаться, я его уже не видела. Он пришел на тридцатый день[1], отстоял всю мессу, потом проводил меня домой.

— Могу я вам чем-нибудь помочь?

— У вас семья есть?

— Сестра. Работает консьержкой на виа Толедо, недалеко от моего магазина.

— А племянники?

— Да, два мальчика.

— Сможете забирать Тонино днем на пару часов, чтобы ему отвлечься? Он мог бы поиграть с вашими племянниками...

Он привозил Тонино обратно в восемь. Я говорила, что спустилась встретить их у подъезда: не хотелось, чтобы Роберто знал, что я торгую. Он, конечно же, все понял, но ни о чем не спрашивал. Я по-своему отблагодарила его за это:

— Слушай, Роберто, уже смешно, что мы на “вы” — нам никто не верит.

— Да неужто? Отметим первую годовщину?

Мне это показалось шуткой, но на дворе стоял почти июнь. А ведь в День святого Антония Марио собственными глазами смотрел на навес той аптеки. Теперь я часто об этом думаю, а тогда не смогла бы сказать, сколько времени мы знакомы с Роберто. Мы с ним по-разному относились к датам. Пойми я это раньше, наверное, меньше бы удивилась, когда он предложил мне выйти за него. Я сразу поняла, что он ухаживал за мной, но брак — другое дело. Мы и обнялись-то всего разок на выходе из кинотеатра “Президент”, потому что я с тех пор, как родился Тонино, в кино не бывала.

1. По католической традиции усопшего поминают на 3-й, 7-й и 30-й день после смерти. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Но Роберто был не дурак: упор делал не на мои чувства, а на то, что у меня нет выбора.

На самом деле вопрос не в выборе. А в том, что с мужчиной, за которого выходишь, рано или поздно приходится спать, а это уже не просто благодарность за то, что он был любезен с тобой, хотя об этом его никто не просил. Рано или поздно наступает день, когда двое устают, ссорятся и ругают друг друга, хотя изначально женились, чтобы просто спокойно жить вместе.

И еще я вспомнила, как меня раздражало, что Марио приходил домой и сразу плюхался на кровать, не переодевшись, а Тонино часами бесился, потому что днем ни минуты не спал, а я со своими хлопотами ничего не успевала. Мне бы хотелось, чтобы ужин стоял готовый на столе, но вода никак не закипала, а потом мог снова позвонить Каписанте, и Марио говорил, что через полчаса ему уходить, а на часах уже десять вечера. И тогда я начинала орать и злиться, кидалась в него тарелками, он проклинал мою мать, что такую дочь воспитала, и уже был готов влепить мне пощечину. Потом, споласкивая салат, я успокаивалась и переставала рвать листья, случайно оборачивалась и видела, что Марио смотрит на меня. Наверное, он уже минуту как смотрел на меня, а я не замечала. В тот момент я чувствовала себя красивой, даже если была вспотевшая и усталая. Может, потому что я устала и вспотела по его вине. Я чувствовала, как грудь взрывалась при каждом вздохе и ноги дрожали, пока он не подходил и их не успокаивал.

— Робе, здесь остались одни крошки: хлеба, которого ты достоин, здесь больше нет.

Вот что я ответила ему на следующее утро у ворот, потом погладила его по щеке и вернулась наверх (я спустилась в домашних тапочках и не хотела, чтобы соседи меня видели).

Раньше от Джантурко к нам можно было попасть по одной дороге. Чтобы через пробки и светофоры добраться до пьяцца Гарибальди, приходилось тратить час времени, хотя всем всегда казалось, что дорога намного короче. С тех пор как построили новую магистраль, прямо от дома видно, кто подъезжает. Наши клиенты приезжали на мопедах или на автобусе. Они выходили на остановке и шли по мосту пешком вдоль заграждения. И начинали улыбаться, когда попадали под свет оранжевых фонарей.

— Два по пятьдесят, — сказал один из двух парней. Следовало догадаться, что раз он еще не продал золотой браслет, что-то тут не так.

— Подождите, — ответила я, развернулась и пошла к урне. Когда я доставала пакетики по пятьдесят тысяч, я была еще достаточно далеко, чтобы удрать. Я могла дойти до припаркованной машины и быстро побежать. Заскочить в дом через подъезд В, пройти через террасу на крыше и вернуться в свою квартиру. Туда бы эти двое уже точно не сунулись.

Дома меня бы ждали недоеденный ужин Тонино и сам Тонино перед телевизором. Чуть позже, болтая на лестничной клетке с соседкой, я принялась бы жаловаться:

— Это чудо совсем ничего не ест, — вот что сказала бы я, покачивая над ступеньками ногой во вьетнамке.

Уже два года я почти каждый день ходила к этой урне, с тех пор как мэр решил обустроить городские улицы. Приехали грузовики, привезли урны, а ведь у нас тогда еще были выгребные ямы вместо канализации. Если три дня подряд лил дождь, грязь поднималась, и мы не могли отправить детей в школу. И вот в наш район привезли сто красных пластиковых урн. Техник, который расставлял урны, объяснил, что их спроектировал специально для нас известный архитектор из Милана, который когда-то реставрировал саму виллу Комунале. Но как только техники уехали, ребята сразу начали опрокидывать урны, орудуя сломанными досками от скамеек. Моя соседка спасла одну урну и унесла ее к себе домой — под грязное белье. Вечером в район наведался Каписанте. Покрутился вокруг одной урны и велел их больше не портить.

С тех пор я вылавливала из урн пакетики с героином за двадцать четыре тысячи и с кокаином за пятьдесят тысяч. Малюсенькие свертки, намного меньше полграмма, качество содержимого порой оставляло желать лучшего, но никто особо не жаловался, по крайней мере мне. В тот день я все проделывала автоматически, ни на что особо не обращая внимания. Я вернулась к полицейским от урны с наркотой в руках, потому что страшно устала. А когда я устаю, то предпочитаю думать, что все идет хорошо.

Эти слова я сказала не потому, что ждала ответа. Я сказала их, садясь в полицейскую машину, потому что только это меня тревожило, а инспектор была первой женщиной, которая мне попалась тогда:

— У меня дома восьмилетний ребенок. У него никого нет кроме меня.

— Что ж ты тогда на улице торчишь?

Об этом обязательно нужно помнить. Мы все время помним и почти перестаем бояться. Смысл в том, чтобы вообще не

бояться. Мы более или менее знаем, что можно говорить, точно знаем, чего нельзя говорить, чего нельзя ждать, о чем нельзя просить. У нашего района такая богатая тюремная репутация, что я никогда не слышала, чтобы кто-нибудь из желания сохранить лицо врал, что во время своего срока он якобы работал где-то дальнобойщиком, или плавал на корабле, или тяжело болел и несколько месяцев провалялся в больнице. Тюрьма не разделяет, а сближает. Встретиться после возвращения оттуда — это как встретиться после войны: об этом разговаривают, чтобы все переварить, или просто молчат, чтобы не думать. Когда зять Каписанте вышел, родственники устроили в два часа ночи на площади фейерверк. Для мужчины это важный этап: если ты прошел тюрьму, значит чего-то стоишь, боссы знают, что тебе можно доверять и дают поручения поважнее.

У женщин все иначе. Если ты сама не собираешься стать боссом, а женщины ими редко становятся, единственный выход — заставить себя об этом не думать. Есть вещи, о которых нужно привыкнуть не думать. Тонино — не нахальный ребенок, но и не дурак. А середняков в нашем районе всегда недолюбливали. Тонино научился защищаться, не реагируя, — молчать в тряпочку. Когда мы с Марио ссорились у него на глазах, или когда я кричу на него, или когда соцработник задает ему вопрос, чтобы заставить думать о том, о чем ему не хочется думать, Тонино просто смотрит в окно, а если нет окна, смотрит в пол, но не на пол, а сквозь него, куда-то далеко. Далеко от меня, от самого себя, от всех. И тогда с ним уже ничего не поделаешь. Вот о нем, о Тонино, мне думать не стоило, о том, как он сидит в интернате и смотрит куда-то вдаль. Иначе мне было не пережить два года тюрьмы. Иначе не выжить.

А не думая о нем, я его теряла.

Мне случалось делать депиляцию синьорам, чьи дети уехали из Италии. Уехали в Америку учиться или заниматься наукой, годами не бывали дома, изредка звонили — сказать пару слов, которые толком и не расслышать.

Но эти женщины твердили: “Прежде всего, я — мать”. Все это — чушь. Они ужасно нравились сами себе, когда повторяли эту фразу про себя или вслух, но с самого начала я знала, что это пустые слова. Ты больше не мать, если у тебя отнимают ребенка, если каждый раз, когда ты о нем думаешь, приходится заглушать эти мысли, чтобы выжить.

В один прекрасный день у меня родился сын, а в другой прекрасный день кто-то решил, что я больше не могу его растить, что я буду больше виновата перед всем миром, если останусь на свободе, чем виновата перед Тонино, если окажусь

за решеткой. Значит, я больше уже не мать, как говорили эти женщины. На мне лежала ответственность, и, чтобы с ней справиться, я должна была жить. Нет, я не говорю, что жила хорошо, я совершила ошибку, я жила плохо, очень плохо, но единственный известный мне способ взять на себя ответственность — помнить, что ты обязана выжить. Внутри меня оставался только груз ответственности. Если бы я сидела безвинно, чувство вины возникло бы у меня все равно — вины за каждую минуту, когда я была нужна Тонино, а ему пришлось научиться жить без меня.

Когда я не спала, у меня получалось не думать: я ходила по камере и мерила телом пространство, потому что измерять его временем больше не было сил. Мы замечаем свое тело в тринадцать лет, когда невозможно спать на животе, потому что грудь растет, и потом снова и снова чувствуем боль раз в месяц на протяжении отпущенных на то лет. Мое тело было когда-то временем и пространством Тонино, часы измерялись перерывами между кормлениями. Но тюрьма — это не душевное наказание для души, совершившей ошибку, как нам внушал священник на мессе. Это телесное наказание для тела, которое не могло поступить иначе. Когда я не спала, мне удавалось отвлечься: я рассказывала, стоя на цыпочках, о своих последних шпильках перед тюрьмой, а еще я придумала, как стачивать ногти о камни. Однажды ночью мне приснилось, что я повесилась на пуповине (в камере не было балкона, не было доступа воздуха и не было никого, кто сказал бы мне, что это сон). Страх стал для меня единственной реальностью. Луиза позвала надзирателей: весь день она промучилась со своими рубцами на ноге и хотела наконец заснуть. Я начала принимать таблетки: каблуки в тюрьме запрещены, зато успокоительного — сколько угодно. Я стала ходить к психологу.

Психолог объясняла, что все мои тревоги — результат пребывания в тюрьме. Она их перечисляла, описывала, говорила, что не так уж их много и что с ними можно справиться, однако в моем случае она ошибалась. Проблема была совсем в другом: все эти трудности я переживала еще на свободе. Я и там не могла каждый вечер укладывать сына спать. Мне и там приходилось оказываться в ситуациях, когда у меня не было выбора, приходилось поступать, как могла. В этом смысле тюрьма ничего нового мне не дала.

Зато внутри меня поселилась тревога. Бег души внутри тела, запертого в клетке три на четыре. Словно пока я оставалась на месте, в камере, и ничего не делала, кто-то у меня в голове лихорадочно бежал куда-то, задыхаясь, и никак не мог добежать. Но куда этот кто-то стремился, я не понимала. Пси-

холог говорила, что все нормально, что мое беспокойство, как и депрессия у других заключенных, – это самый распространенный способ уйти от реальности.

После ее слов я посмотрела на реальность и поняла, что́ она имела в виду. То, что стало ясно ей, я уже и так знала – муторно было сидеть и со всем соглашаться.

– Выйдешь на свободу – бег замедлится, а однажды ты перестанешь о нем думать и даже не заметишь, как все закончится.

– Ладно, – согласилась я.

Всем раздали разноцветные пластмассовые бусинки и тонкие черные нитки, и мы стали делать браслеты. Первый свой браслет я подарила Тонино, как только встретилась с ним на прогулке. Завязала на запястье три крепких узелка и велела никогда не снимать. Через неделю он явился без браслета.

– Сделай мне другой! Тот я учительнице отдал.

– Как так?

– Это была моя самая красивая вещь.

Он тогда заканчивал начальную школу. Я попыталась представить себе учительницу, которая оказалась на другом конце браслета; интересно, пыталась ли она когда-нибудь представить себе меня. Мы сделали сотню таких браслетов к Рождеству и на заработанное купили себе сигарет. В последнее мое Рождество в тюрьме я соорудила вертеп в общей комнате и сфотографировалась, лежа на полу перед ним, перед этим тщательно накрасившись.

– Снимай ближе, – велела я Луизе.

Но Луиза недостаточно приблизила кадр, и теперь, когда я смотрю на фотографию, приходится закрывать правый край большим пальцем, чтобы не было видно решетку, выглядывающую из-за дворца волхвов.

Тридцать первого декабря пришла открытка от Роберто. Снимок виа Толедо тех времен, когда по ней еще ездили экипажи. На обратной стороне, по центру, написано “325” крупным-крупным шрифтом, а внизу – “С Новым годом! Роберто”.

Роберто вел собственный счет: мне сделали послабление режима, и он думал, что несколько часов в день я могу ходить, куда хочу. Если бы. С восьми до трех я работала в кооперативе, а потом возвращалась в тюрьму. Тонино жил в интернате, в двух часах езды от меня, поэтому частенько сбегал, садился в автобус без билета (он так вымахал, что контроллеры, увидев его, не верили, что ему только одиннадцать). А я не знала, как уговорить его больше этого не делать.

— Постарайся закончить уже эту школу, ради Бога, Тони!
— Но я хочу стать косметологом.
— Закончишь среднюю школу, а там посмотрим...
— Чего смотреть? Я пойду на курсы косметологов.

Однажды вечером автобус отменили, Тонино пришлось ночевать в кооперативе. Рабочие позвонили директору интерната, чтобы он не беспокоился, а директор сказал, что этому пора положить конец.

На следующий день в восемь я приехала на работу и увидела, как Тонино завтракает и болтает с рабочими. Первое настоящее утро за все время.

Когда Тонино уехал, пришлось звонить директору.

— Синьора, нам с вами нужно встретиться как можно скорее.

— Господин директор, адрес тюрьмы у вас есть, я принимаю по субботам, после трех.

Однако ехать пришлось мне. Мне выдали разрешение на поездку в интернат, приставили конвой из двух человек в штатском, которые довезли меня до места и сказали, что в три заберут обратно с центрального вокзала. Я решила сделать Тонино сюрприз.

Когда дверь машины захлопнулась, я осталась одна в школьном сквере. Ну вот, теперь можно пойти внутрь, или присесть вон на ту изгородь и закурить, или по трамвайным путям выйти к морю. Я чувствовала себя, как Луиза, стоящая в первый раз без костылей на своей изрезанной ноге, или как Тонино в ту ночь, когда я не вернулась домой.

Я зашла. Мы поговорили с директором. Я сказала, что осталось уже немного. Год — это немного, я уже начала обратный отсчет.

— Вы тоже начните отсчет. Тонино сдаст экзамен, и больше к вам ни ногой.

— Синьора, вы меня не совсем понимаете. Пока он находится здесь, он должен учиться, как все остальные, и соблюдать правила.

— А если ему, чтобы учиться, как все, придется иногда нарушать эти правила?

Я оставила его размышлять над моими словами и отправилась в церковь забрать Тонино после воскресной мессы. Когда я вошла, священник поднимал гостию[1], Тонино как раз хотел смахнуть прядь волос с лица, но монашка, стоявшая

1. Гостия — евхаристический хлеб в виде маленькой лепешки в католицизме латинского обряда.

позади него на коленях, схватила его за руку и сильно ее сжала. Я обмакнула пальцы в святую воду, перекрестилась, потом подошла к монашке и сказала:

— Выйдем!

— Тс-с-с!

— Не ломай комедию. А ну пошли!

— Извините, но...

Я схватила ее за руку и потянула вверх, чтобы заставить подняться. Она поняла и вышла вслед за мной.

— Вы — мать этого мальчика?

— Ну да.

— Уважаемая синьора, я делаю это ради блага вашего сына. Разве вы не видите, что у него женоподобное поведение?

— И что? Можно с ним так обращаться из-за того, что он волосы поправил?

— Он себе брови выщипывает пинцетом...

— Да пусть хоть что себе выщипывает! Если ты его еще хоть пальцем тронешь... поняла?

— Я не буду разговаривать в таком тоне!

Тогда я схватила ее за плечи и прижала к стене.

— Если у тебя проблемы с Тонино, ты должна прийти и мне об этом сказать. Поняла? Потому что отец у него умер, но мать жива, поняла?

Я сжимала ее так, что ногти впились в ткань ее одеяния. Она затряслась.

— Я еще жива! Слышишь, я жива!

Мы перекусили, вместе дошли до вокзала, но было слишком рано. Я и забыла, до чего красива пьяцца Гарибальди с закусочной-кебаб на углу у аптеки и лавками рынка Дукеска. Прогулялись по тротуару вдоль лавок. Тонино купил солнечные очки, а я сапоги на каблуке десять сантиметров. Сапоги остались у него: надену, когда выйду. Потом пошли к пьяцца Нолана, потому что мне хотелось взглянуть на море, хотя бы в порту. Но дошли мы только до церкви Кармине. По тротуару идти было невозможно — вся дорога была завалена барахлом, которое тут же и продавали. Рыбный рынок уже закрывался, улицу мыли водой из шланга. Вода стекала прямо под Порта Нолана. И тут я собралась с духом и спросила:

— Тони, признайся маме, ты часом не педик?

Когда до освобождения оставалась всего пара недель, бег у меня внутри не замедлился, а, наоборот, ускорился. Я целыми днями жалась в углу камеры, глядя на дверь, как будто в первый раз в жизни ее вижу и не знаю, что с ней делать. Мне

было так страшно, что я не выходила на работу, не выходила даже на улицу.

А потом меня выпустили.

Захожу в дом № 325 на виа Толедо.

Между фаянсовым гербом и блестящим лифтом — комнатушка консьержки.

Смотрю по сторонам, консьержка поднимает голову и глядит на меня, я спокойно стою.

Вслед за мной заходит синьор, тоже смотрит по сторонам.

— Вам кого? — спрашивает его консьержка.

— Адвоката Нучиферо.

— Третий этаж, налево.

Синьор поднимается по лестнице, консьержка выходит из комнатушки, мы оказываемся лицом к лицу. Приглядевшись, я понимаю, что она похожа на Роберто. Вынимаю из кармана сложенную вчетверо открытку и протягиваю ей.

Она разворачивает, читает единственную надпись на штампе: “Исправительное учреждение”. Потом берет ведро и говорит: “Пойдемте!”

Мы спускаемся и идем узкими дворами, сквозь чрево соседних домов, в сторону Испанских кварталов. Чем больше мы удаляемся от главной улицы, тем мрачнее становятся черные от копоти дома. Пучки электропроводов, словно перила, тянутся вдоль лестницы, по которой мы начинаем спускаться. Консьержка указывает на отметки на стене из туфа.

— Здесь мы прятались от бомбардировок.

— Сколько вам было лет?

— Четыре года.

— И вы все помните?

— Синьора, это первое, что я вообще помню.

После четырех-пяти лестничных пролетов света начинает не хватать, я чувствую, как меня пробирает сырость, хотя на дворе лето. Мы проходим дальше по прямому коридору; кажется, мы направляемся к Испанским кварталам, к холму.

— Мы идем к проспекту?

— Нет, только улицу перешли. Мы сейчас под домом номер сто двадцать один — там, где банк “Интеза”.

Тоннель упирается в стену. Подойдя к ней, консьержка приветливо машет рукой. Я слышу, как жужжит камера видеонаблюдения, поворачиваюсь и вижу ее. Объектив чуть наклонился, чтобы поймать нас. Теперь консьержка начинает тараторить, жалуется на то, что сыновья сидят дома, что в ванной полная корзина грязного белья, хоть она по три раза

на дню запускает стиральную машину, и что, когда сыновья, наконец, уйдут из родного дома, тогда оценят то, что имели. Тем временем она сует мне в одну руку пульверизатор для уборки, в другую — метлу. Накидывает в ведро тряпок, берет пыльную пачку порошка “Ава”. Когда мы уходим, камера снова начинает шевелиться. Прежде чем завернуть за угол, консьержка еще раз оборачивается к ней и улыбается.

— Самое надежное место из тех, что я знаю. С тех пор как мне было четыре года, я себя здесь чувствую, как младенец у мамы в животе. Поэтому я и отнесла ее сюда.

— А как же камера наблюдения?

— Раньше на другой стороне улицы был магазин “Мотта”, помните?

— Конечно.

— В то время виа Толедо можно было перейти под землей и выйти к дому напротив. Потом, когда туда переехал банк, подземную галерею закрыли железной плитой и построили стену. Видно, они все равно боятся. Понимают, что грабители могут вылезти из любой щели, и поэтому сюда еще и камеру поставили. Меня они знают: я храню в галерее всякое барахло. Скажем так: если без меня сюда придет кто-нибудь, через минуту здесь будет полиция, поэтому я ее сюда и положила.

Я гляжу на коробку стирального порошка “Ава”. Коробка отсырела, картон вздулся — мне жаль, словно внутри на самом деле стиральный порошок. Консьержка, наверное, угадывает мои мысли, но ничего не говорит. Когда мы доходим до ее комнатушки, ее уже ожидает парень из бара с двумя чашками кофе на подносе.

— От кого это?

— От Пино из охраны.

— А-а, огромное спасибо!

Я верчу чашку в руках. Коробка так и лежит в ведре, под тряпками, я не свожу с нее глаз, но в руки не беру. Пусть она сама мне отдаст. Она допивает кофе, берет коробку обеими руками и вручает мне.

Я беру ее так, как брала письма в тюрьме, как ночами брала Тонино, чтобы покормить его грудью, как что-то, что предназначается мне, но послано из другого мира.

— Что в ней?

— Процентные облигации на предъявителя, двадцать штук, по пятнадцать миллионов лир каждая.

Я легонько тру разбухшую от влаги коробку, появляется знакомое изображение цыпленка.

— Сколько вы их храните?

— Брат принес их мне четыре года назад, когда женился. Он забеспокоился, когда в доме появились чужие, хоть это и была его жена. А до того времени все лежало у него.

— Как у него дела?

— Ничего, слава Богу.

— Вы их хранили для брата все это время?

— Нет, синьора, я хранила их для вас, так сказать, в знак благодарности.

— За что?

— За то, что вы ему отказали. Что не вышли за него.

Она засовывает коробку в пакет из супермаркета, и мы выходим на улицу. Консьержка смотрит в сторону пуленепробиваемых витрин банка "Интеза" и машет рукой — в благодарность за кофе. Тонино на мопеде ждет меня на углу у "Оникса". У него синие-пресиние глаза. Консьержка глядит на него, потом на меня: "Совсем взрослый!"

Я ухожу не попрощавшись. Ехать приходиться по тротуару: из-за строительства метро дорогу перекрыли, но мы едем медленно, не нагло, чуть задевая шелка, которыми торгуют китайцы.

Я останавливаюсь у витрины аптеки. Нужно выбрать масло для тела после депиляции и не слишком густой крем для массажа. Наши клиентки любят качественную косметику; на самом деле, это необязательно, но мне не хочется на этом экономить.

В витрине, за погремушками "Chicco", я вижу себя на виа Марина между деревьями и больницей Лорето, они давят на меня с двух сторон.

Марио тоже услышал звук мопеда и раньше Роберто понял, что это не к добру: он сам много раз вот так же приносил плохие вести. Он понимал, что парням на мопеде нужен только кокаин (они не могли знать, что Марио нес Каписанте еще и выручку за выходные, которая была разослана в восемь отделений почты в виде процентных облигаций). Если бы Марио не помешали, он доставил бы их.

Он услышал шум мопеда, когда был у последнего дерева, бросил сверток между стволом и стеной — наверное, думал, что вернется за ним, когда парни уедут. В заваленном мусором городе на пакет никто не обратит внимания. Он думал, что подослали кого-то опытного — Луиджи или Пеппино — того, кто знает, что говорить и куда бить. Он сошел с тротуара без всякого выражения на лице, не напрягая спину, как я теперь.

В тот самый момент, когда Марио ударили ножом, Роберто подобрал пакет. Потом присел на ступеньку, чтобы спря-

тать сверток и прийти в себя. В туалете больницы он понял, что ему выпало пережить — удачу, риск, ответственность, малодушие, честность, сомнение, нерешительность. А потом у него на руках оказался Тонино.

Отдай он мне сразу облигации, наверное, я бы не попала в тюрьму или попала бы туда еще раньше. Наверное, он ожидал, что я соглашусь выйти за него, тогда бы он дал их мне как приданое, а может, боялся пускать их в ход. Или ждал, пока о них забудут, думал, что с ними делать. Каписанте, наверное, решил, что облигации забрали молодчики на мопеде, когда убили Марио, и потому не стал их искать у меня. А я даже не знала об их существовании, так что их вообще никто не искал. К тому же для босса его уровня выручки за выходные хватит на то, чтобы обложить дом плиткой и заказать унитаз от "Версаче" — вряд ли на что-то большее. Едва ли он догадывается, что на деньги от его героина я покупаю медовые маски для лица: Тонино любит с ними работать.

Старик передо мной уговаривает аптекаря продать ему таблетки без рецепта. Я такие пила в тюрьме. Говорит, что рецепт у него был, но потерялся. Я прошу продать ему таблетки без лишних разговоров, заявляю, что аптекарь слишком много берет на себя: старик ночью не сможет уснуть. Что ж они, учатся-учатся, а ничего не понимают. Моя психолог тоже ошибалась. Через какое-то время тревога проходит, но ты это сразу замечаешь — все равно что после шпилек залезть в домашние тапочки. Постепенно ступня принимает прежнюю форму, щиколотка расслабляется. Через некоторое время начинаешь шаркать ногами по полу, выпирает живот. Ты понимаешь, что теперь никто не захочет за тобой приударить. А еще знаешь, что в тапочках далеко не уйдешь. Но снимать их тебе не хочется.

Изменился путь, приводящий людей к чтению книг...

С главным редактором издательства “Фельтринелли” Альберто Ролло беседуют Джулия Дзанголи и Анна Ямпольская

Перевод Анны Ямпольской

Джулия Дзанголи, Анна Ямпольская. Ваша жизнь на протяжении многих лет связана с “Фельтринелли”, которое занимает среди итальянских издательств совершенно особое место. “Фельтринелли” — это и книги, и популярнейшая сеть книжных магазинов (по наличию или отсутствию вашего книжного можно судить о размерах итальянского города), наконец, “Фельтринелли” — это философия и образ жизни... Что, на ваш взгляд, делает издательство “Фельтринелли” уникальным? Каким вам видится его будущее?

Альберто Ролло. Группа “Фельтринелли” действительно объединяет разные производства, которые со временем становятся все более разнонаправленными и которые, тем не менее, воспринимаются как части единого целого. Разумеется, в первую очередь это издательство и книжные магазины, но теперь еще и телеканал (LaEffe TV), и сеть магазинов-ресторанов (Red). Кроме того, нельзя не упомянуть о фонде “Фельтринелли”. Фонд существует уже шестьдесят лет, но сегодня он наконец-то играет важную роль на международной арене — проводит исследования и научные конференции. “Фельтри-

© Анна Ямпольская. Перевод, 2016

нелли" всегда мыслило себя в международном масштабе, например, последние десять лет мы активно работали в Испании, приобрели крупное издательство ("Анаграма") и сеть книжных ("Ла Сентраль"). Издательство "Фельтринелли" в полной мере ощущает открытость политики группы, стремление двигаться в разных направлениях, учитывает и отражает это в собственной деятельности – в выпускаемой продукции, в сложной сети рабочих взаимосвязей, в усилиях по поддержанию высокого интеллектуального уровня и успешной деятельности на рынке, обусловленных многообразием поставленных целей. Будущее "Фельтринелли" в этом: во взаимообогащающем соединении различных направлений производства, в рождаемой ими центростремительной силе.

Д. Д., А. Я. На что делает упор ваше издательство: на книги итальянских или зарубежных авторов? Какие страны представлены в первую очередь? Можно ли говорить о продуманной издательской политике или выбор определяется конкретной ситуацией, вкусом, наитием?

А. Р. Мы уделяем равное внимание итальянским и зарубежным авторам. В истории издательства было четыре волшебных года, с 1958-го по 1962-й, когда каталог стремительно пополнялся новыми именами и названиями произведений, представляющими всемирную литературу на самом высоком уровне. Если вспомнить о том, что издательство было основано в 1956 году, когда работать было намного труднее, подобная полнота и богатство кажутся совершенно невероятными. Стремление отыскать таланты, отличавшее издательство в те годы, в полной мере сохраняется и сейчас. Естественно, у нас есть свои предпочтения (например, латиноамериканская или немецкая литература), но "Фельтринелли" всегда обращало внимание и на другие страны (Норвегия Кнаусгорда, Венгрия Эстерхази, Америка Ричарда Форда, Бельгия Хюго Клауса). Издательская политика совпадает с сетью отношений, которые "Фельтринелли" сумело со временем создать в Европе и во всем мире. То же самое можно сказать об итальянских писателях: важно заметить "нужного" автора в "нужный" момент, подчеркнуть его стремление держаться в мейнстриме или, наоборот, спутать карты и пойти против течения.

Д. Д., А. Я. Как лично вы выбираете "правильные" книги? Вы доверяете интуиции или маркетингу? Знаете ли вы заранее, будет книга продаваться или нет? Кто ваши любимые авторы?

А. Р. Мы не знаем заранее, какие из выбранных нами книг "правильные", главное, что все наши книги – результат сознательного отбора. Со мной работает команда опытных

профессиональных читателей. Все, что они сочтут ценным, рассматривается и оценивается. Если книга меня заинтересовала, для меня важно провести некоторое время с ее автором, понять, о чем он думает, к чему стремится. У качественного произведения есть все шансы продаваться на рынке, хотя правильнее говорить о разных степенях проникновения на рынок. Под рынком я понимаю читательское сообщество, а не просто пространства, на которых водятся "клиенты" и которые нужно завоевать. Чем больше мы будем заботиться о читателе как об идеальном рабочем партнере, тем лучше мы будем работать.

Д. Д., А. Я. Мало кто из итальянских писателей по-настоящему популярен в России. Возможно, потому что им приходится конкурировать с другими зарубежными авторами — американцами, англичанами, немцами, французами... Особняком стоит, пожалуй, энциклопедист Умберто Эко... Зачастую современная итальянская литература кажется русскому читателю грустной, невротической, сосредоточенной на мелких переживаниях, неспособной рассказать историю с большой буквы. Что вы об этом думаете?

А. Р. На расстоянии видишь все через фильтры, зачастую обусловленные предрассудками или крепко укоренившимся мнением, — заставить отказаться от них очень трудно. Известно, например, что в Америке итальянская литература — это проза, рассказывающая о мафии, спагетти и тосканском вине. Этим объясняется и успех Роберто Савьяно, хотя масштаб Савьяно и ценность его свидетельства выходят далеко за рамки рассказанных им историй. Итальянцы пишут "мелкие" истории? Я бы так не сказал. Достаточно вспомнить эпическую и лирическую мощь Маурицио Маджани, искусное постмодернистское письмо Алессандро Барикко, громкий литературный дебют режиссера Паоло Соррентино, сицилийские саги Симонетты Аньелло Хорнби, семейные истории Кристины Коменчини, успех таких молодых писателей, как Джузеппе Катоццелла, Паоло Ди Паоло и Марко Миссироли. В них столько жизни, столько свежего воздуха, ясного понимания того, как устроен мир. Возможно, за рубежом больше нравится жанровая литература, к которой относятся книги такого замечательного писателя, как Камиллери. Эко — это отдельная история.

Д. Д., А. Я. История издательства "Фельтринелли" связана с романом Пастернака. Какое место отведено в вашем каталоге русским авторам? Заметен ли в Италии интерес к классической и современной русской литературе?

А. Р. Пастернак и "Доктор Живаго" до сих пор являются важной частью европейской истории и истории нашего издательства. Это настоящее классическое произведение. В шестидесятые годы мы много печатали русских: заметный след оставили, например, "Красное дерево" Бориса Пильняка и "Пядь земли" Григория Бакланова. В 1977 году вышла книга Венедикта Ерофеева "Москва–Петушки", ставшая культовой и постоянно переиздающаяся. В серии "Классика" есть книги Пушкина, Гоголя, Достоевского, Толстого, Тургенева. Великая русская литература присутствует в нашем каталоге, было бы непростительно ее не печатать. Нам сложнее найти точки соприкосновения с современной прозой. Лично я прекрасно помню произведения такого выдающегося писателя, как Трифонов, к которому, на мой взгляд, стоит вернуться – и у нас, и в России. В любом случае, мы, как и в прошлом, интересуемся современной русской литературой и пристально следим за ней.

Д. Д., А. Я. Каким вам видится современный итальянский читатель? Италия – страна литературы или в большей степени телевидения? Престижно ли читать, быть в курсе последних новинок?

А. Р. Сегодняшний читатель не отличается от вчерашнего. Нельзя сказать, что созрело нечто новое, что мы сделали шаг вперед. Безусловно, у самых молодых чтение теперь связано со стимулами, которые они получают в социальных сетях, и все же чтение – занятие, требующее уединения, сосредоточенности и даже отрыва от мира. Только так человек находит себя, иначе и быть не может. Телевидение постепенно теряет вес. Скорее, нужно говорить о конкуренции с другими технически передовыми видами медиа. Впрочем, хотя внешне может показаться, что традиционное чтение сдает позиции, процесс чтения как таковой не меняется. Изменился путь, приводящий людей к чтению книг. В этом смысле ситуация радикально изменилась: молодежь приходит к знаниям, к получению удовольствия от чтения новым путем – нам еще мало о нем известно. "Фельтринелли" с любопытством следит за переменами. Эпоха бумажной книги ни в коем случае не закончилась, но важно смотреть дальше, постоянно отслеживать происходящие изменения. Все-таки издатели – посредники в мире культуры, они сохранят за собой эту роль и в будущем.

Д. Д., А. Я. В России сейчас популярна документальная проза: мемуары, тревелоги и т. д. А какие литературные жанры пользуются наибольшим успехом в Италии?

А. Р. Наибольшей популярностью пользуется художественная проза, большой шаг вперед сделала детская литерату-

ра. С нее начинают знакомство с миром литературы наши новые читатели... Что касается нон-фикшн, интерес к нему упал — как к научным, так и к популярным книгам. Новости, научную информацию, критическую оценку текущих событий проще найти в интернете.

Д. Д., А. Я. Вы не только редактор, но и переводчик с английского. Что подтолкнуло вас заняться переводом? Поскольку вы переводили американцев, еще один вопрос: можно ли говорить о заметном влиянии американской литературы на современную итальянскую прозу? Зачастую молодые прозаики выбирают строгий, минималистский стиль, простой синтаксис, избегают метафор.

А. Р. Переводом я занимался много лет назад, сейчас у меня на это нет времени. Я переводил Джонатана Коу, Стивена Миллхаузера, Этана Канина. Все эти авторы мне очень дороги. Я начал переводить, чтобы ближе познакомиться с англоамериканской литературой, которая интересовала меня больше всего и которой я теснее всего занимался. Впрочем, я переводил эпизодически, это не имело ничего общего с упорной, искусной и порой волшебной работой настоящих переводчиков.

Что касается американского влияния, сильнее всего оно ощущалось в девяностые годы. Сейчас оно ослабло; наоборот, итальянские писатели все больше погружены в родной язык, стараются использовать его богатства, которыми, естественно, мы отчасти обязаны неизбежным и обогащающим нас последствиям миграционных процессов.

Д. Д., А. Я. Что помогает сориентироваться на итальянском книжном рынке? Журналы? Литературные премии? Книжные рейтинги? Читательские блоги?

А. Р. К сожалению, все сложнее опираться на журналы, игравшие до девяностых годов огромную роль (прежде всего — журнал "Линеа д'Омбра", который основал Гоффредо Фофи и в котором я тоже сотрудничал). Стоит обратить внимание на некоторые премии, например, на премию Кальвино, обращенную к молодым писателям. Кроме того, существуют школы литературного мастерства. Как не упомянуть туринскую Школу Холдена? Это настоящая кузница талантов. Среди сетевых изданий объединяющую роль сыграл, прежде всего, журнал "Нацьоне индиана". Впрочем, чтобы разобраться в итальянской литературе, лучше знакомиться с ней непосредственно. Это требует ресурсов и времени, зато так можно составить верное представление о происходящем. Дверью, открытой между нашими странами, является премия "Радуга", проводимая при поддержке ассоциации "Познаем Евразию".

Д. Д., А. Я. Каким вам видится современный итальянский театр? За какими авторами и событиями вы следите?

А. Р. Сегодня наша театральная сцена исключительно разнообразна. Много новых авторов, а главное — заметна тяга к экспериментам. Достаточно вспомнить успех "Леманской трилогии" Стефано Массини, поставил которую Лука Ронкони. Восьмидесятые и последующие десятилетия подарили нам визуальные эксперименты театра "Общество Рафаэля Санти". Нельзя не сказать о полном жизни неаполитанском театре — Аннибале Руччьелло, Энцо Москато, Энрико Янньелло, Антонио Лателле. Без всего этого трудно понять причины международной славы актера и режиссера Тони Сервилло и его "Дачной трилогии", объехавшей весь свет и имевший успех в Москве. Как обойти вниманием эксперименты Эммы Данте в сфере драматургии и режиссуры? А еще монологи Марко Паолини, опирающиеся на наследие Дарио Фо и идущие дальше. Одним словом, театр бурлит, здоровое стремление к экспериментам заражает молодые театральные компании.

Д. Д., А. Я. По вашему мнению, откуда в наше непростое время черпает силы итальянская культура?

А. Р. Отовсюду. Я в этом отношении оптимист. Мы тесно связаны между собой, и двадцать лет режима Берлускони не сумели порвать эту связь. Время действительно сложное, но мы не можем пожаловаться на отсутствие талантов и желания двигаться вперед. Что нужно сегодня итальянской культуре? Больше опираться на чувство сообщества, на нашу взаимосвязь, чем на политическую стратегию. У нас много скрытых ресурсов. Несколько лет назад я побывал в Венето, в Антикоррозийном центре Марио Брунелло в Кастельфранко[1] и был потрясен тем, насколько богатой может быть культурная жизнь провинции. По сути, вся Италия — бескрайняя провинция, а у каждой провинции свое лицо, свои потребности. Логика культуры больших городов действует у нас лишь до известной степени. Нам нужно повернуться лицом к мирам, пытающимся выразить самих себя.

Д. Д., А. Я. Что вы думаете об электронных книгах? Вытеснят ли они бумажные книги или бумажные и электронные книги будут сосуществовать?

1. Культурный центр, где проводят выставки, концерты, презентации и т. д. Название центра объясняется тем, что он расположен в бывшей автомастерской, одновременно оно несет метафорический смысл. (*Прим. – Д. Д., А. Я.*)

А. Р. Как я говорил, будущего не надо бояться. Пока что на электронные книги даже в странах, где они пользуются наибольшей популярностью (США), приходится не более 10 % рынка. Причем скорость распространения электронной книги замедляется. В Италии эта цифра никогда не превышала 5 %. Впрочем, независимо от процентов и сегодняшней ситуации главный вопрос не в том, будет ли вытеснена бумажная книга. Этого не произойдет еще много лет, вероятно, нам всегда нужна будет книга в традиционной форме. Главный вопрос — вопрос времени. Количества времени, которое мы тратим на получение информации, знаний, удовольствий. Мы все научились находить их в сети, причем в сети разворачиваются процессы усвоения, посредничества, производства, предполагающие новый способ создавать и усваивать культуру. Мы отдаем этим процессам огромную часть нашего времени, неизбежно отнимая его у традиционного чтения. Сегодня для нашей культуры характерно, что мы слушаем арию Моцарта или лекцию ученого по интернету. И это никоим образом не обедняет наше образование и мир бумажной книги — наоборот. Тем не менее мы вкладываем в общение с интернетом свое время. Будущее зависит от того, сколько времени мы сможем тратить в одной и в другой сфере, от того, что мы будем в них искать. Технологии и создаваемое ими будущее не враги. К каким конкретным целям нам следует стремиться, решат посредники в сфере культуры, издатели будущего.

Д. Д., А. Я. После занятия художественным переводом вам не захотелось писать самому?

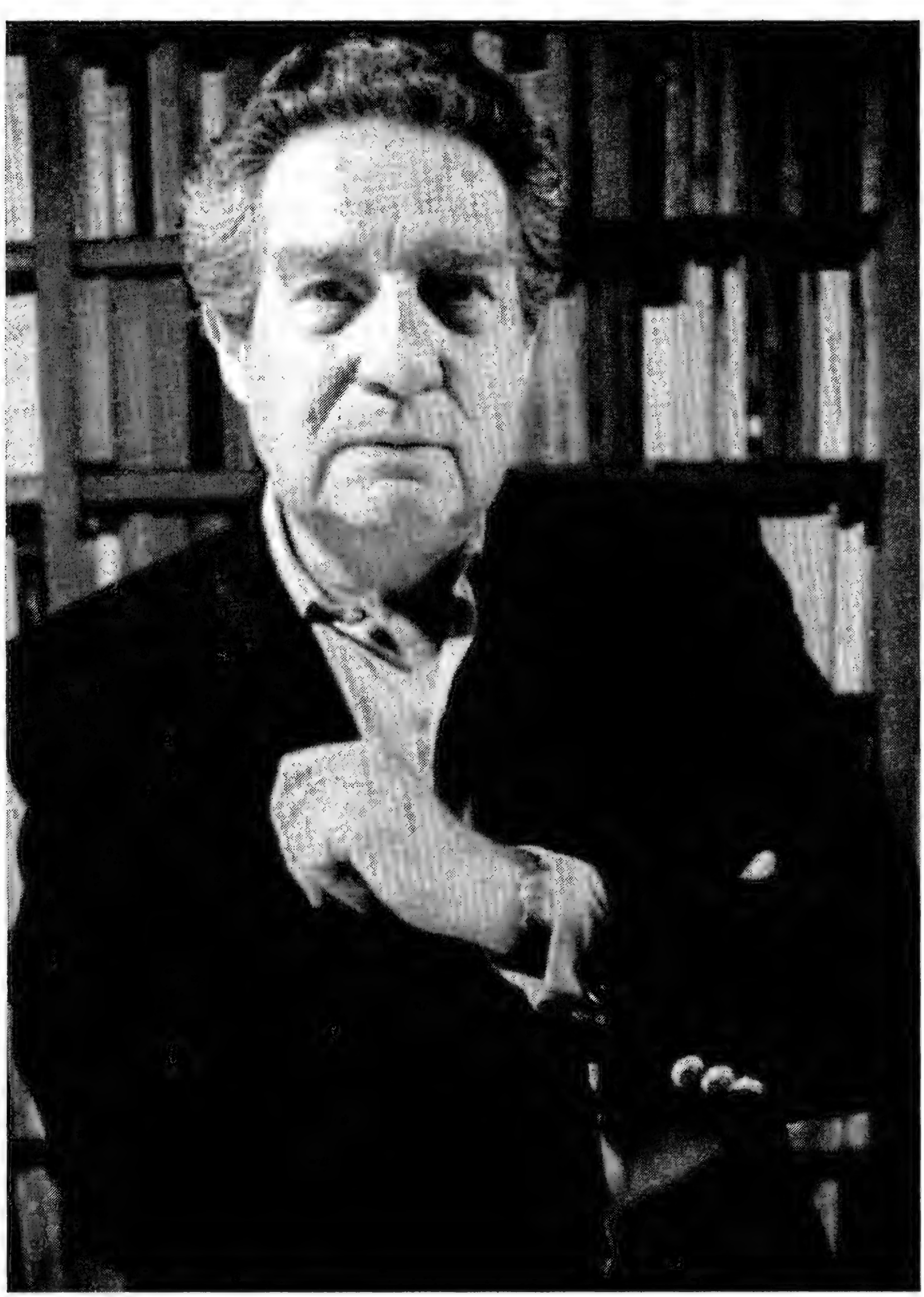
А. Р. Каждый должен заниматься своим ремеслом. Мое — выпускать книги. В любом случае я не думаю, что художественный перевод подталкивает к писательству. Это два разных мира. Настоящий переводчик — писатель, живущий внутри переводимого автора.

Из классики XX века

Октавио Пас

Стихи

Перевод с испанского Екатерины Трубиной



© Octavio Paz, 1935–1955
© Екатерина Трубина. Перевод, 2016

Птица

В прозрачном безмолвии
покоилось время,
прозрачность пространства —
прозрачность молчанья.
И неба неподвижное свеченье
ласкало травы, что произрастали.
Букашки, что ползли между камнями,
под тем же светом сами стали камнем.
Насытилось в одну минуту время,
и в пустоте спокойной
полдень таял.

И птица пела, тонкою стрелой
в серебряную раненная грудь.
Раздвинув листья, небо сотрясла,
и травы пробудились.
И понял я, что смерть стрелой была,
кто выпустил её, нам неизвестно.
Мы умираем, распахнув глаза.

Легенда о Хуане Миро

Голубой обездвижен был красным и чёрным,
ветер страницы равнины листал, приходя-уходя,
беспрестанно костры разжигал, всё золу бередя,
и кричал за углом с лицом закопчённым.
Ветер вновь закрывал за собою все окна и двери,
уходил в лабиринта ходы, что таит в себе череп,
его почерк был плох, а рукав был не бел, а чернилен,
он писал, ну а ночью стирал всё, что создано за день.
Солнце лишь было предчувствием жёлтого цвета
и намёком на перья, на будущий крик петуха.
Снег сбивался с пути, пока море теряло дар речи.
В мире — сбивчивый гул, голоса, что искали слова.

Голубой обездвижен, невидим, неслышим,
красный вовсе ослеп, чёрный — глухонемой.
Ветер всё вопрошал: “Ну куда ты, Миро?”
Он там был, только ветер того не увидел.
Меж лазурью и красным, меж чёрным и жёлтым
семируким был взглядом Миро, взглядом, ну и не
боле,

семирук был он в форме ушей, чтобы слышать
цветов семь,
семирук в форме ног, чтоб подняться на радуг
седьмую ступень,
семирук из корней, чтоб везде быть и быть в
Барселоне.

Первой рукой бил в луны барабан он,
сеял в ветра саду сотни птиц он рукою второй,
третьей звёздами сыпал на небо из чёрной пиалы,
четвёртой писал он легенду эпохи чудной,
пятой создал острова из зелёного тела,
шестой сделал женщину, перемешав ночь с водой,
седьмой же рукой стёр он всё, чтоб начать всё
сначала.

Красный с чёрным вскочили, лазурный — поднялся,
каждый искренне думал, что всё это им показалось,
восемь ястребов было ли там или восемь зонтов?
Эти восемь расправили крылья, взлетели и исчезли,
не выдержав битых стеклянных оков.

А Миро поджигать стал свои полотна,
львы пылали, и звёзды, и женщины, и пауки,
небо бросало в огонь треугольники, сферы,
гексаэдры, диски.
Пламя вмиг поглотило в самом центре пространства
огромную ферму-планету,
и из горсточки пепла явились летучие рыбы, сотня
бабочек, ну и хрипун-патефон.
Но сквозь дыры в картинах, что жаром объяты,
появился вдруг росчерк пера голубой, и листва
облаков, и цветущая трость —
то весна, что нам делать, зелёным перстом указует.
А Миро чешет голову пятой рукой,
бормоча сам себе: “Да, садовником стал ты”.

Сад камней или лодок? Механический сад иль
прибежище танца?
Чёрный, красный с лазурью по лугу ручьями бегут,
звёзды бродят нагие, они, ну конечно, озябли, под
покрывало залезли холмы-охранители руд.
Там ручной фейерверк был, домашние были
вулканы,
Перспектива и с ней Геометрия — дамы, что двери
восприятий служили надёжной охраной,

но ушли за Хуаном Миро, напевающим песнь Une
étoile caresse le sein d'une négresse.

Ветер голову поднял, спросил, пролистав все
страницы равнины: "Ну куда же направлены стопы
Хуана Миро?"
Он был здесь изначально, но ветер того не увидел.
Был он взглядом прозрачным, не скрыться, увы, от
него.

Это вовсе не буквы метались в туннеле гла́за,
это вещи живые собирались, делились, обнимались,
кусали друг друга,
бежали по полю страницы между строк; у вещей —
и душа, и рога, и хвосты.
Кто-то был в чешуе, кто-то — в перьях, другие же
были нагими,
слова, что сложили не мы, осязаемы были, понятны,
но трудны для произношенья —
это были не буквы, но чувства, не чувства, но
Преображенье.
Для чего это всё? Чтобы в келье наметить кривую,
чтоб направить подсолнуха свет на крестьянку-луну,
чтобы с птицами ночь эту встретить, с народом, что
цвета лазури,
чтобы смерть поприветствовать залпом пахучей
герани,
чтоб сказать дню "привет" без вопросов, откуда
пришёл и в какие уходит он дали,
чтоб напомнить: любой водопад есть девица, что
спускалась по лестнице и умирала от смеха,
чтобы солнце увидеть и в вихре трапеций увидеть
планеты,
наблюдать научиться, чтоб вещи тебя наблюдали, на
глаза попадались, терялись из вида.
Наши взгляды — живой алфавит, они корни пускают,
всходят, распускаются с цветом, дальше —
взрыв, распыление, гибель, уход в никуда.
Взгляд — зерно есть, смотреть — значит сеять, и
работа художника — в общем-то — сад.
Семирукий Миро здесь круги (Ах!) всё чертит и
чертит
для того, чтобы с возгласа нашего мир начался.

В*етвь*

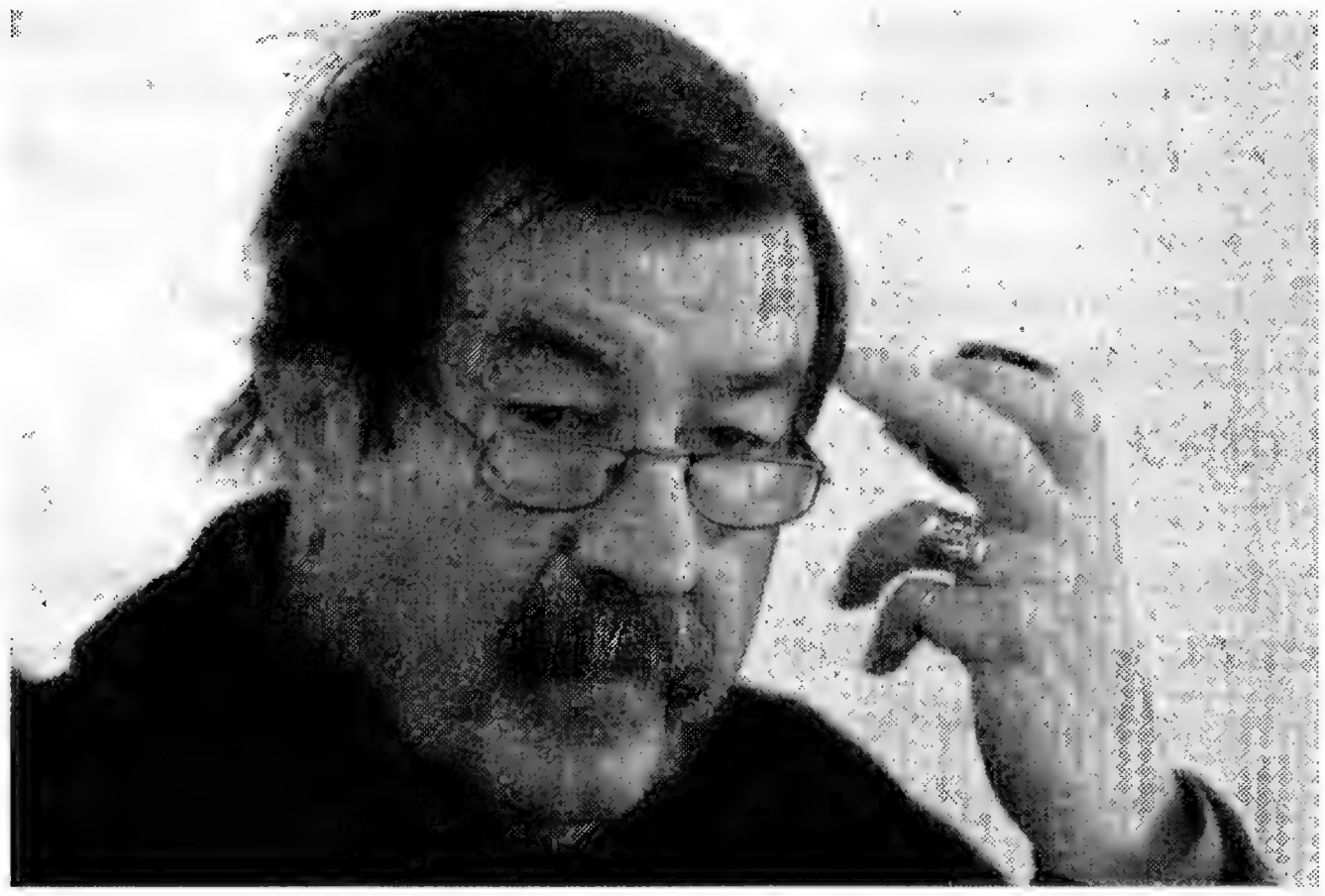
Пела на верхушке ели
птица и остановилась,
вся дрожа, во время трели.

А стрела, взлетев на ветвь,
вдруг исчезла между крыльев,
стёрлась в звуке, долетев.

Птица — это лишь осколок,
что поёт, живёт, сгорая
посреди отметин жёлтых.

Никого я не увидел наверху, глаза подняв,
только тишина на ветке,
ветке, сломанной на днях.

Гюнтер Грасс



В *чем и где мы будем лежать*

Фрагмент книги *О бренности*

Перевод с немецкого и вступление Бориса Хлебникова

В июле прошлого года наша гамбургская приятельница Ульрика Патов отвезла нас в Белендорф, где похоронен Гюнтер Грасс.

Мне хотелось побывать там, во-первых, потому что меня связывало с Грассом долгое общение. Мы были знакомы больше двадцати пяти лет. Познакомил нас Чингиз Айтматов в Ганновере, где он с Грассом выступал на заседании знаменитого "Римского клуба". Потом я не раз участвовал во встречах переводчиков Грасса, каждая из которых длилась несколько дней, иногда неделю. Бывал на юбилейных и неюбилейных днях рождения Грасса. Виделся с ним в разных концах Германии и во время его визитов в Москву или Петербург.

А во-вторых, я помнил, насколько сильное впечатление произвела на меня могила Генриха Бёлля в Мертене, небольшом городке под Кёльном.

Дело было осенью 1985 года, когда тот же Чингиз Айтматов совершал свое первое большое турне по крупным городам Западной Германии, от Мюнхена до Гамбурга. Я присоединился к нему в Нюрнберге в результате

© 2015 Steidl Verlag, Göttingen
© Борис Хлебников. Перевод, вступление, 2016

совершенно авантюрной истории, но об этом лучше рассказать как-нибудь отдельно. Заехали мы и в Кёльн. Здесь Хельмке Кьярелло, секретарша Бёлля, умершего незадолго до нашего приезда, рассказала Айтматову, что Бёлль давно хотел повидаться с ним. Хельмке была поклонницей Айтматова, она даже поддразнивала своего патрона тем, что книги Айтматова, дескать, нравятся ей больше. Бёлль отшучивался: "Я, детка, хорошо тебя понимаю". Личная встреча нобелевского лауреата с киргизским классиком так и не состоялась.

По просьбе Айтматова Хельмке отвезла нас на маленькое мертенское кладбище, которое находилось неподалеку от дома Бёлля. Он любил гулять здесь. Передвигаться ему было трудно, поэтому он подолгу сидел здесь под старым дубом.

Могила была еще свежей. На ней стоял легкий временный крест, украшенный веселыми, разноцветными изображениями небесных светил: солнце, луна, окольцованный Сатурн, хвостатая комета. Жизнерадостное надгробие, напоминавшее детские рисунки, сделал Рене Бёлль, сын писателя.

Это вполне соответствовало рассказу Грасса о самих похоронах Бёлля. Известие о смерти друга застало его в Португалии. Он срочно вылетел в Кёльн, кое-как раздобыл взаймы черный костюм, который выглядел на нем весьма нелепо из-за слишком большого размера. Есть фотографии, где Грасс рядом с Львом Копелевым и сыновьями Бёлля несет его гроб. Наверное, это было уже на кладбище. А когда процессия только вышла из церкви, "произошло нечто, что было вполне в духе Бёлля и что останется незабываемым в памяти всех друзей, пришедших проводить его в последний путь: перед гробом, который везли очень медленно, перед семьей и всей длинной процессией шел цыганский оркестр, игравший меланхоличные мелодии, но вместе с тем такие, что под них хотелось танцевать. Вероятно, путь от церкви до кладбища был довольно коротким, но мне он показался очень долгим. Мне до сих пор слышится та цыганская музыка. Мелодии, которым ведомо страдание, одновременно вселяли радость. Такова была его воля, не скажу — последняя".

Я догадывался, что и на белендорфском кладбище увижу нечто неожиданное.

Тридцать лет назад Грасс приобрел неподалеку от Белендорфа старый дом лесника с усадьбой, куда ведет от деревни проселочная дорога. Сам Белендорф, насчитывающий меньше четырех сотен жителей, находится примерно в двадцати километрах от Любека, который некогда был столицей Ганзейского союза, куда входил и Данциг (ныне Гданьск), основанный, кстати говоря, любекскими купцами. Первое письменное свидетельство о Белендорфе, что означает "Белая деревня", датируется 1194 годом. Близость к Любеку сыграла решающую роль в выборе последнего места жительства Гюнтера Грасса и его супруги Уты. Грасс чувствовал себя городским жителем, Любек напоминал ему родной и навсегда утраченный

Данциг, а Ута, уроженка малолюдного острова Хиддензе, предпочитала уединение. Компромисс устроил обоих.

От Любека до Белендорфа можно добраться на машине за четверть часа. Но в одном месте шоссе оказалось перекрытым, пришлось сделать крюк по проселкам среди голштинских перелесков и желтых рапсовых полей, которые так любил Грасс. Заглядевшись на них, мы проплутали лишних полчаса, но все-таки нашли кладбище. Это был настоящий сельский погост при старинной церкви, сложенной из полевых камней в середине XIII века. Всего несколько десятков могил, в том числе с недавними датами. Мы обошли их раза три, однако могилу Грасса не обнаружили. Тогда я, вспоминая немногочисленные опубликованные фотографии с похорон Грасса, попытался реконструировать ее расположение относительно церкви. Получалась самая окраина погоста, где могил уже не было, однако возле большого одинокого дерева виднелась свежая насыпь земли, похожая на могилу, но уже расползшаяся. На ней стояла банка с водой и увядшими цветами, кажется, дикими розами, а еще миска с плавающими лепестками. Больше ничего. Ни временной таблички с именем, ни какого-либо другого указателя, только четыре воткнутых железных прута обозначали, видимо, размеры участка. Мы постояли в нерешительности. Тут за проволочной оградой кладбища из соседнего дома вышел человек и, не обращая на нас внимания, занялся хозяйственными делами. Я окликнул его, поздоровался, спросил, где находится могила Грасса. Он, почти не поднимая головы, ответил: “Вы стоите перед ней”.

Я знал, что для установки надгробия требуется время, чтобы земля хорошенько осела. Но все-таки столь явное отсутствие пиетета по отношению к покойному показалось мне перебором, хотя на Грасса это было вполне похоже.

Спустя месяц после нашей поездки на белендорфское кладбище вышла последняя книга Грасса, одна из тех, где его проза перемежается рисунками и стихами. Она называется “О бренности”. Детали оформления Грасс обсуждал со своим издателем Герхардом Штайдлем буквально за день до скоропостижной смерти.

Книга все объяснила. В ней есть фрагмент, который рассказывает о том, как Грасс с женой заблаговременно пригласили к себе знакомого столяра, чтобы заказать себе “ящики”. Типично грассовская ирония над трепетным отношением к гробам перекликается с нашим идиоматическим выражением “сыграть в ящик”. После доставки исполненного заказа на дом Грасс с супругой устраивают “репетицию” лежания в ящиках.

Фрагмент сопровождается четырьмя рисунками. На первом рисунке, занимающем целый разворот, изображен устланный листьями гроб. Только он действительно больше похож на ящик, чем на образец “погребальной мебели”. На двух других рисунках (а также на контртитуле) — кукушонок. На последнем — клубни далии и луковицы других цветов. Смысл рисунков ясен из текста.

Кроме того, в книге есть стихотворение о загадочной краже заготовленных впрок гробов. Похищенные зимой, они по непонятной причине были возвращены ворами летом безо всяких объяснений. Отсутствовали только клубни далий, которые хранила в своем "ящике" Ута Грасс. Если эпизод, изложенный прозой, вполне походит на правду, то история с кражей — типичная грассовская байка.

Есть в книге и фрагмент под названием "Мой камень". В нем говорится о "камне Сизифа". Этот мотив, заимствованный у Альбера Камю, сопровождал Грасса всю жизнь, а рисунок, изображающий камень, напоминает о том валуне, который по желанию Грасса должны "без цитат и эпитафий" установить на его могиле.

Валун появился на ней, как и положено, через полгода. Никаких символов и надписей. Только имя, фамилия и даты: 16 октября 1927 — 13 апреля 2015.

За кухонным столом мы снова и снова обсуждали нашу затею, пока к нам наконец не присоединился столярных дел мастер Эрнст Адомайт. Поначалу беседа за чаем с печеньем не клеилась, но потом мы разговорились.

Адомайт уже много лет выполнял наши заказы. Он сделал конторку, за которой я работаю стоя, и книжные полки, смастерил кое-что для моей жены. Мы изложили наше пожелание, избегая формулировок вроде "последняя воля". Нагляделись на замерший от безветрия летний сад, Адомайт сказал, что берется за заказ. С предложением снять индивидуальные мерки мы согласились. В свою очередь, не вызвала возражения наша просьба изготовить ящики из разного дерева: для жены сосновый, для меня березовый. По высоте оба ящика получатся одинаковыми, но длина ее ящика составит два метра десять сантиметров, а моего ящика — ровно два метра. К тому же мой ящик будет на пять сантиметров шире, сообразно ширине наших плеч.

В ответ на просьбу, чтобы ящики не сужались к изножью, как это делалось до сих пор, Адомайт кивнул головой. Я напомнил вестерны, где по ходу действия растет спрос на столярные изделия подобного рода. Затем я набросал на бумажной салфетке эскиз, совершенно ненужный, поскольку и без него все было понятно. Адомайт пообещал сделать ящики к осени. Мы заверили, что никакой спешки нет, однако вскользь упомянули сумму прожитых нами лет.

Оставалась неясность насчет приспособлений для переноски. Мне хотелось, чтобы это были деревянные ручки. Жена предпочла бы прочные брезентовые лямки. Во всяком случае, их должно быть по четыре штуки с каждой стороны по количеству наших детей. Когда я предложил Адомайту не закреплять крышку — "ее все равно надежно придавит земля" — или же воспользоваться столярным клеем, он, позволив себе едва заметно усмехнуться, посоветовал сделать дюбели, соответственно из сосны и березы.

"Но с дюбелями придется повозиться", — сказал Адомайт. В качестве альтернативы можно, дескать, предварительно просверлить отверстия, куда закручиваются винты. Я же высказался в пользу традиционных гвоздей, которые будут торжественными ударами забиты на точно отмеренном расстоянии друг от друга. И тут же представил себе эти гвозди. В послевоенные годы, когда я работал каменотесом и частенько занимался установкой памятников на кладбищах, мне доводилось выменивать у могильщиков за пяток сигарет "Lucky Strike" дюжину отличных, выкованных вручную гвоздей, которые позже, гораздо позже, служили мотивом для моих рисунков: поржавевшие, рассыпанные так или эдак, искривленные, каждый на свой особый манер. И у каждого собственная история из минувших времен. Я подкладывал к гвоздям лежащих на спине мертвых жуков, а случалось, добавлял кости и косточки. Рисунок с гробовыми гвоздями и веревкой намекал на вид смерти, уготованной только человеку. Порой мои легкие карандашные или резкие перьевые рисунки находили покупателей, которые усматривали в них скрытый смысл.

Адомайт выслушал мои воспоминания скорее из вежливости, нежели с интересом. Потом мы посудачили о новостях, о сумасшедших ценах на бензин, о переменчивости летней погоды, о ставших привычными банкротствах. К опустевшему чайнику и остаткам печенья я присовокупил бутылку мирабелевой водки. "Ну, разве что одну рюмочку", — сказал Адомайт, которому предстоял обратный путь на своем фургончике.

Когда он уехал, мы, посовещавшись, приняли решение в пользу деревянных дюбелей и брезентовых лямок по бокам обоих ящиков. "Можно не беспокоиться, — сказала жена. — Он нас никогда не подводил". Нерешенной осталась только проблема внутренней отделки, поскольку столяры этим не занимаются. Ясно было лишь то, что о каком-либо ватине, тем более пуховой подстилке и речи быть не может. Пусть в фирменных гробах все это используется, нам подобный комфорт ни к чему.

Однажды за завтраком я в очередной раз посетовал на жесткость моего матраса, и потом, когда посуда со стола была

убрана, мне пришла в голову туманная мысль; постепенно она обрела ясность. Пусть дочери и сыновья после омовения положат бездыханное тело на листву и сверху покроют его листвой. Той, что даровала природа в это время года. Весной нас прикроют молодые листочки, летом поделятся своей сочной зеленью фруктовые деревья — вишня, яблоня, груша и слива. Осень, любимое время года, предложит свое разноцветье. А зимой сгодится сухая, шуршащая листва, чтобы скрыть нашу наготу. Старое ореховое дерево, бук и клен обеспечат разнообразие. Хорошо бы рассыпать по покрову пригоршню орехов. Только не надо брать тронутую ржавчиной листву с обоих каштанов перед нашим домом, которые болеют уже несколько лет. А еще я попросил бы не прельщаться дубовыми листьями.

Словом, когда настанет пора, мы должны лежать на лиственном ложе, под листьями с ног до головы. Только пусть лицо останется открытым, хотя на веки можно положить розовые лепестки, как велит обычай, знакомый нам с тех пор, как мы побывали в Калькутте: там я видел молодых мужчин, которые бегом несли бамбуковые носилки с лежащей на них старухой к месту сожжения на берегу реки, притока Ганга. Клейкие зеленые лепестки закрывали глаза старухи.

Моей жене не хотелось отказываться от полотняного савана, сшитого непременно “собственными руками”.

Итак, все предусмотрено, больше ничего не требуется. Ведь в будущем, когда нас уже не станет, все подвергнется распаду — и ящики, и их содержимое. Сохранятся лишь косточки да кости, скелет и череп, в отличие от тел “болотных людей”, найденных в торфяниках Шлезвига и Голштинии, выставленных ныне в застекленных музейных витринах замка Готторф. Их скелеты сделались хрупкими, зато телесные ткани и кожа, волосы, связанные узлом на макушке, и одежда уцелели в качестве древних реликтов, которые служат объектом научных исследований или в качестве источника страшных легенд, вроде истории об убитой “девушке из Виндеби” с повязкой на глазах; считается, что ее наказали за подозрение в измене.

А вот черепа издавна давали повод для глубокомысленных или сумасбродных толкований. Сваленные в кучу или уложенные слоями друг на друга, они хранятся в монастырских подземельях. Череп красуется на пиратских флагах и служит эмблемой футбольного клуба. Череп предупреждает об опасности на емкостях с взрывоопасным, ядовитым или радиоактивным содержимым, но встречается череп и в произведениях изобразительного искусства, на живописных полотнах или гравюрах, например, на гравюре Дюрера, где

изображен святой Иероним в келье. Отрешенный от мира Иероним склонился над книгой, а череп на подоконнике напоминает о бренности всего живого, со своего рождения обреченного на смерть.

Впрочем, наша пора, несмотря на прогрессирующую старость, еще не настала. Хотя доски для заказанных ящиков, вероятно, уже заготовлены, однако кое-что остается до сих пор под вопросом и не нашло ответа: какой столяр смастерит для отлетевшей души скворешню, где скиталица смогла бы найти себе приют? Где найдется фасад такой высоты, чтобы ее хватило для цепких усиков плюща под названием бессмертие? В какой ипостаси исполнится мечта о новом рождении, будь то червяк, гриб или неистребимая никакими сыворотками бактерия? Чем еще населено Ничто?

Если уж не плющ, мы могли бы продолжить существование сорняками, посмертное размножение которых не способен побороть даже самый усердный садовник. Мне же всегда хотелось с помощью всесильной природы возродиться кукушкой, которая любит чужие гнезда. Ее громкие посулы звучат из года в год. Даже если отвлечься от Бога и его обетований, остается пространство для домыслов, которым, впрочем, нет места в наших ящиках. Там гарантировано место лишь для самой бренности: трупному окоченению, позеленению и посинению тела, газообразованию и лопающимся пузырькам, грибковому налету и прочим симптомам разложения, а также червям.

Предстояло обдумать и еще кое-что. Заняться, наконец, вопросом о том, где мы будем лежать. Лет тридцать назад, еще в пору нашей городской жизни, мы впервые решили подыскать себе место, и мне приглянулось кладбище во Фриденау. Но жене претила мысль о последнем пристанище в Берлине. Вскоре я тоже присоединился к ней, ибо там после падения Стены слишком громко заявляла о себе столичная претенциозность, сопровождавшаяся трескучими фразами.

Затем начались переезды, мы жили там и сям, присматриваясь — с оглядкой на полюбившийся Любек — к разным кладбищам, но не могли сделать выбор. Моей неустанной тяге к путешествиям соответствовало бы, пожалуй, кладбище неподалеку от вокзала, откуда угадываются ряды могил под сенью буков. Но мы хотели найти место последнего покоя, поэтому возникла идея парной могилы в нашем саду, между окнами моей мастерской и дровяным сараем — позади нас был бы только лес. Однако вопреки тому, что частная собственность объявлена у нас священной, захоронения на собственном земельном участке запрещены законом. Оставалась лишь кре-

мация. Позднее сыновья инсценировали бы кражу урн, которые можно навсегда спрятать за живой изгородью из крыжовника или под кустом сирени.

Но мы не хотели лишать червей наших бренных останков, следовательно, кремация отпадала. Вместо этого мы решили переговорить с белендорфским пастором о нашем последнем приюте на деревенском погосте. Без труда удалось назначить встречу.

Пастор, человек, как выяснилось, обходительный, хотя и несколько утомленный повседневными проблемами своей душеспасительной работы, проявил чуткость по отношению к нашему нежеланию пристраиваться к рядам уже существующих могил, тем более что люди мы были приезжие, жили особняком и не имели ни родственных, ни соседских связей с покойниками из деревни. Даже деликатно изложенные соображения, что нам, атеистам, было бы неловко очутиться вблизи от средневековой церковной стены со стороны хоров, встретили у него если не горячее одобрение, то безмолвную поддержку.

Наконец мы договорились об участке возле стоящего поодаль одинокого дерева. Под его раскидистой кроной я отмерил шагами квадрат размером с четырехспальное захоронение. Пастор заверил, что этот участок служит периферийной частью кладбища; некогда семья священника высаживала здесь картошку, но с давних пор никакие хозяйственные работы тут не ведутся, земля, так сказать, пустует, несмотря на всю привлекательность зеленой лужайки.

Когда в разговоре возникла пауза, мы осмотрелись, представляя себя либо лежащим здесь, либо посетителем, то есть тем из нас, кто умрет позже другого. Я предложил высадить на могиле растения-пряности: майоран, шалфей, тимьян, петрушку, все, чем священнодействуют на кухне. С восточной стороны отмеренного квадрата установят в качестве могильного камня валун из здешней моренной гряды. Каменотесу останется только высечь наши имена и даты. “И, пожалуйста, никаких эпитафий или цитат”. Пусть валун будет крупным, но не слишком.

Я еще раз отмерил приблизительную площадь участка, на сей раз немного подальше от корней. По словам пастора, никаких трудностей с советом церковной общины относительно наших пожеланий не предвидится.

Дома дала себя знать некоторая усталость. Я налил себе стакан кальвадоса. Радио на кухне передавало вечерние новости о кризисах, каждый из которых старался оттеснить остальные. Прогноз погоды сулил дожди только на юге. Нашей

собаке мы не рассказали о том, что поиск места увенчался успехом.

Второй кардиостимулятор не вполне справлялся со своей задачей, на легких сказывалось долголетнее курение сигарет-самокруток и плотно набитых трубок, поэтому приезд Адомайта, состоявшийся воскресным днем в середине сентября нас весьма обрадовал. Он привез заказанные ящики. Готовые к использованию. Настроение поднимал сам вид их светлой разноузорчатой древесины. Даже Адомайт, по натуре человек серьезный, выглядел довольным, что и подтвердил намеком на улыбку.

Мы предусмотрительно освободили пространство в задней части подвала, где хранились летние шезлонги и садовые инструменты. Заботливо укрыли ящики пленкой от мушиного и мышиного помета.

Разглядывая их, стоящих рядышком, я вспомнил профессиональный термин, употреблявшийся в ГДР для этих изделий: “погребальная мебель”.

Восемь брезентовых лямок для переноски размещались строго на равном расстоянии друг от друга. Свежо пахло древесиной, хотя она и была отменно высушена. При отсутствии крышек ящики имели вполне пристойный вид.

Перед уходом Адомайт не отказался от традиционного приглашения выпить по торжественному поводу рюмочку мирабелевой водки. Затем он выложил счет на сумму, которая вышла ниже ожидаемой, и добавил к нему бесцветный пластиковый пакетик с деревянными дюбелями для крышек, где он просверлил точные по размеру отверстия, сделав такие же отверстия на окантовке ящиков. В пакетике имелись и запасные дюбели. Последовав совету Адомайта надежно сохранить дюбели, моя жена спрятала их в ящик своего секретера, где помимо всякой всячины хранились наши загранпаспорта, справка о собачьих прививках и прочие важные бумаги.

Уже в следующее воскресенье, когда гостей не ожидалось, мы убрали защитные пленки, стащили крышки и, сняв обувь, расположились в ящиках. Они оказались нам точно впору и по длине, и по ширине. Никаких комментариев не последовало, ибо предвосхищенное положение во гроб настраивало на торжественный лад.

Было странно слышать дыхание друг друга. Жена помогла мне вылезти. Закрыв ящики, мы застелили пленкой наш последний приют; работа позволяла мыслям свободно кружить, огласке мы их не предавали. Немного погодя жена, пожалев,

что не сфотографировала меня в ящике, твердо решила в следующий раз захватить фотоаппарат. “Ты выглядел таким умиротворенным”, – сказала она.

После репетиции, как мы назвали наше посещение подвала, жизнь пошла своим чередом. Пока жена жарила к ужину на электроплите окуней и варила картошку, я смотрел по телевизору “Международную панораму” о событиях в далеких странах. Когда картошка, огуречный салат и два окуня очутились на столе, я не удержался от шутки насчет этой парочки, рядком лежавшей в сковороде, словно напрашиваясь на сравнение с нами.

С тех пор ящики ждут своего часа. Порой мы заверяем друг друга, что они замечательны. Не решаюсь спросить жену, готов ли полотняный саван. По крайней мере, за листвой, призванной напоследок одеть и укрыть нас, дело не станет. Весной это будет молодая, летом сочная зелень, осенью – пестрорядье, а зимой – сухие, ломкие листья.

Пусть так пройдет еще год-другой. Нам не к спеху. Мой кардиостимулятор пока справляется со своими обязанностями. Даже дети и внуки, которые порой навещают нас с непродолжительными визитами в солнечные дни, доставая из подвала шезлонги, начинают привыкать к профессиональным шедеврам мастера-столяра.

Недавно жена заложила на зиму в свой ящик клубни далий и луковицы других цветов. Надеемся, в следующем марте мы высадим их на грядках и засыплем удобренной землей.

Александр Мелихов

Финляндия, которую мы потеряли

Йохан Людвиг Рунеберг, шведскоязычный финский Пушкин, ушедший из жизни на сорок лет позже главного русского гения, в своем гимне Финляндии "Наш край" страстно напирал именно на ее бедность: "Наш бедный край угрюм и сер", "Убогий край родной" ("Россия, нищая Россия"). Но — "На все способен мой народ, / В годину общих бедствий. / К победе армия идет / Во имя финской чести" ("Сказания фенрика Штоля"). Фенрик низший офицерский чин, отнюдь не столь жалкий, как русский фендрик; рунебергóвский фенрик способен ценить доблесть и в противнике, он исполняет настоящую оду русскому генералу Кульневу, во время Русско-шведской войны (1808–1810) отличавшемуся не только храбростью, но и гуманностью по отношению к пленным и мирному населению, за что получил отдельную благодарность и от императора.

А вот как Рунеберг изображает приют убогого чухонца эпохи декабристов: "Изба его не много просторнее бани, но по виду и предметам своим совершенно подобна ей, этой единственной и необходимой для него статье роскоши. Внутренность избы являет собой странную картину. Стены и пол, сколоченные из нетесаных бревен и досок сосновых, черны как уголь — первые от дыму, последний от всего, что в течение многих лет напрасно ожидало отмывки. Редко видна крыша: ее заслоняет облако дыма, которое темно-серой пеленой висит на высоте 7 или 8-ми футов и служит покровом, не обращаясь в тягость....Окон нет, кроме волоковых, в которых доску можно по произволу отодвигать и задвигать".

При свете огня, пылающего в печи, "движется или чаще покоится бесчисленное множество людей". Одни занимаются рукодельем, другие лежат перед огнем, а "над длинным корытом возле двери лошадь лакомится сечкой, наслаждаясь

© Александр Мелихов, 2016

теплом и обществом, между тем как петух, если он еще не занял ночлег в кругу своего семейства, навещает своих подруг по всем углам комнаты и везде бывает как дома".

Вечно полуголодный крестьянин из финской глубинки "должен казаться беспомощным, тупым и неспособным ни к какому делу, где требуется живость и решимость. Однако ж, многие примеры доказали, что, когда судьба поставит его в другие обстоятельства, тогда этот, по-видимому, хаотический дух может в короткое время развить силы, не только неисчерпаемые, но даже действующие с быстротою и меткостью, каких едва бы можно ожидать от способностей блестящих и долговременного навыка".

Это совершенно точный приговор всем формам культурного детерминизма, а проще – культурного расизма, приписывающего народам какие-то вечные свойства. Финны были не первыми и, увы, не последними, кто не оставил камня на камне от этих умствований, если только подтасовки уместно сравнивать с камнями. Прошло сто лет, и юный град, вернее, небольшое государство уже не уступало ни одной великой державе ни по одному признаку цивилизованности – кроме физического могущества. Исключительно благодаря которому "цивилизация", надо не забывать, только и сумела подчинить себе "варварство". И без которого, без физического могущества, на протяжении всего XX века в цивилизованной Европе малым народам нечего было и думать о проведении какой-то независимой национальной политики, но разве что об удачном лавировании катера меж броненосцами, чтобы не быть подмятым ни одним из них и не быть раздавленным при их столкновении.

Профессор Хельсинкского университета Тимо Вихавайнен фрагментарно, но емко обрисовал наши "двести лет вместе" – "Столетия соседства" (СПб., 2012) – от дней Александровых прекрасного начала, когда впервые в истории финнам, отвоеванным у Швеции, считавшей финский язык "невыносимой тарабарщиной", была дарована автономия. "Когда Александр еще воссоединил с новым "Финляндским государством" Старую Финляндию, то есть, если так можно выразиться, вернул ему Карелию, появились основания для цитируемого Катайисто высказывания К. Ю. Валена: "То, что только что завоеванная страна могла испытать от российской власти, не имеет примеров в мировой истории, и подобных примеров, пожалуй, никогда и не будет"". (Кто такие Катайисто и Вален, не спрашивайте, ибо издательство сэкономило не только на комментаторе, но, кажется, и на редакторе: "Конармия" Бабеля переведена как "Красная конни-

ца", финноеды как едоки финнов, а Милюков и вовсе обращен в еврея; о косноязычных оборотах и словечках типа "промоция" уже не говорю. — *А. М.*)

Однако и в этот медовый период, "не считая увлеченности императором и почитания его, которые можно назвать просто поклонением, отношение к России сохранялось, однако, резко отвергающим. Что сказывалось на бесчисленных войнах, театром которых становилась Финляндия в историческое время. Русофобия как таковая ни в коем случае не была в 1917—1918 годах новостью, а скорее давней финской традицией". "Финн, то есть швед в то время, Ларс Юхан Мальм" во время Великой Северной войны написал "достойную похвалы работу о России и русских", где "повторяются очень многие, имевшие хождение уже пару столетий клише — от упоминания о лени и пьянстве русских до свидетельств их лживости и проявлений жестокости. Одной значительной и также в других сообщениях упоминающейся чертой русских являлось спесивое отношение к Западу, о котором, впрочем, ничего не знали".

Как ни трудно расстаться с грезой о дружбе народов (люди разных национальностей могут дружить сколько угодно, но народы — никогда, ибо их единство сохраняется ощущением собственной избранности), основой их мирного соседствования может служить лишь деликатно скрываемое обоюдное чувство превосходства. И долгое время так оно и было: русского простонародья в Финляндии было слишком мало, чтобы оно могло серьезно задеть финнов своим отношением к "чухне", а российскую власть финны мудро обходили сами, обвиняя во всем собственную "реакционную" бюрократию — "подозрение монарха могло привести к утрате всего. Польша в этом отношении была хорошим примером и наглядным уроком".

Равновесие нарушила овладевшая миром, на паях с социалистической, националистическая греза, внушившая особо впечатлительным патриотам обоих народов, будто сохранить достоинство и даже самое существование можно лишь в национальном государстве, обладая в нем неукоснительной монополией на власть. Кто начал первым — в таких делах начала не бывает, и вообще экстремисты противостоящих лагерей всегда стимулируют и оправдывают существование друг друга. Но все-таки сильнейшему народу, на котором лежит ответственность за сохранение империи, не стоит становиться на равную ногу с национальными меньшинствами, испытывающими более острую необходимость возмещать свою униженность высокомерием. Российские правые не удержались на высоте имперских задач, скатившись в национальную обидчивость, началась политика русификации, пре-

вратившая отчужденность во вражду, которую гражданская война, серьезно поддержанная Советской Россией, довела уже до той "святой" ненависти, без которой слабому совсем уж не выстоять против сильного. "Смерть рюсся, какого бы цвета они ни были"; "все независимое существование Финляндии зависит от чистоты этой святой ненависти".

После 1945-го, однако, Паасикиви–Кекконен решили действовать рационально – не столько искать приобретений, сколько избегать катастроф: "У России нет постоянных интересов в Финляндии, кроме гарантий собственной безопасности". "Та история, которая соответствовала и требовалась для этой линии, была совершенно особого рода. Сталинский Советский Союз обладал в ней привлекательными чертами и постепенно превратился в корректного соседа, у которого имелись те же самые легитимные интересы, что и у других государств. Ролью Финляндии отнюдь не стало разделять политику соседа ни в области прав человека, ни во внутренней политике; необходимым было только признание, что на них (на русских. – *А. М.*) нельзя ни оказывать влияние, ни запугивать демонстрациями, чтобы добиться своего. Эрозия доверия могла означать утрату всего".

Но самокритичный взгляд на себя и более снисходительный на противника, которому националистическая пропаганда, как водится, отказывала в элементарных, воистину общечеловеческих качествах, не был всего только дипломатической уловкой, дабы не сердить опасного соседа. Этот пересмотр очень быстро начался в самой интимной глубине народной души – в литературе. В специальной статье "Меняющееся прошлое" Т. Вихавайнен пишет об этом так: "Многочисленные писатели, лично принимавшие участие в войне, от Юсси Талви до Вольфа Халсти, начали заново оценивать свое отношение к России и русским". Общей чертой этой литературы можно считать определенную потребность отдать должное противнику, который героически сражался за то дело, которое считал правым.

По сравнению с духовной продукцией военного времени вся эта литература носила довольно спокойный и взвешенный характер. В ней отчетливо ощущается потребность в примирении....Эта литература снимала тему варварства России и, подобно Калерво Сиикала, объявляла Россию "наследницей древней Византии" или – как у Матти Курьенсаари – родиной гуманной и по духу своему либеральной интеллигенции, что невероятно контрастировало, конечно, со сталинским насильственным диктатом, который у нас традиционно был символом Советского Союза.

Наиболее значительным произведением, в котором война и роль русских в недавней истории Финляндии действительно переосмыслялись, был все же роман Вяйнё Линна "Неизвестный солдат", опубликованный в 1954 году. Роман был ударом по топелиусовско-рунеберговскому представлению о войне и этим частично разрушал лелеемое во время войны и после нее изображение Финляндии, самоотверженно и героически борющейся с противником, олицетворяющим силы зла. Финский солдат, который в изображении Линна сначала безрассудно шел на Восток, а потом смело и упорно защищался от наступающего противника, был в этом произведении в первую очередь вынужденно оказавшимся в условиях войны человеком, которому пропагандистские клише и господские представления о жизни совершенно чужды. Для солдат в романе Линна враг не был олицетворением зла, это был противостоящий ему противник, конкретная угроза, против которой просто приходится бороться. На индивидуальном уровне "рюсся" оказывался "просто человеком".

Маршал Маннергейм в своих на удивление уравновешенных воспоминаниях пишет, что даже его удивляла готовность советских солдат сражаться в безнадежной ситуации — подобные примеры он мог припомнить лишь в истории древних народов. А "неизвестных солдат" Линна вообще не проймешь никакими идеологиями: они не доверяют ничему, чего не видели собственными глазами, и все лозунги годятся только для насмешек: "Даешь Урал, ребята!".

"Советская пропаганда фактически не смогла ни на йоту поколебать общее представление финнов о зачинщиках войны; не смогла этого сделать и английская пропаганда, чьи исходные позиции были гораздо лучше советских. Единственное, что могло смущать представления как армии, так и тыла, так это нападение на Восточную Карелию. Вскоре и его стали официально называть мерой безопасности, хотя в действительности целью было, конечно, создание 'Великой Финляндии'. Цель эта, однако, вдохновляла не все слои общества".

Больше того, "начиная с 60-х годов, для широкой публики, следившей за дискуссией, стало ясно по крайней мере то, что пропагандистские утверждения о неспровоцированном нападении Советского Союза в 1941 году были неосновательными. Это давало возможность начать относиться к политике Советского Союза во время войны с меньшей горечью".

"Например, Матти Клинге в своих статьях и книгах с 1960-х годов рассматривал этот период и корни русофобии в Финляндии. В работе, опубликованной в 1972 году, он сумел показать, что разговоры о 'вековой вражде' имеют под собой

слабое обоснование и вся эта русофобия в значительной степени была сознательно культивировавшимся явлением, корни которого надо искать в событиях 1918 года. Сама идеология ненависти имела исторически немецко-шведские корни. Разговоры о 'вековой вражде' легко опровергаются хотя бы тем, что множество наших сограждан, включая Маннергейма, верой и правдой служили российским императорам. Период автономии в общественном сознании стал превращаться в золотой век финской истории".

"Причиной проводившейся Россией объединительной политики можно было считать не слепой, тупой и грубый 'панславизм', на который делался упор раньше, а прежде всего соображения обеспечения безопасности. В этом свете и события 'периодов угнетения' стали рассматриваться в их реально-политической связи. С финской стороны попыток оправдать эту политику, естественно, не делалось, но, по крайней мере, проведенный анализ снял с российской стороны ее демонический образ".

И этот пересмотр не остался достоянием одних лишь академических кругов: "В связи с реформой образования в 1970-х годах были существенно обновлены учебники истории, и новые парадигмы исторической литературы очень быстро стали стандартными понятиями для широкой публики. Исследования показали, что новая, 'негероическая' картина финской истории с конца 1960-х годов составила и содержание учебников родного языка".

Но что еще важнее (мы же знаем наполеоновские войны по "Войне и миру") — "освободительной войне" был возвращен ее истинный облик в художественной литературе: "На художественном уровне история переломных лет, увиденная глазами простого народа, изображена в романе Вяйнё Линна 'Здесь под Северной звездой'. В этой новой картине события 1918 года не имели никакого отношения к России и русскости, не говоря уже об 'азиатской неуправляемости'. В картине, изображенной В. Линна, в той войне речь шла просто-напросто о борьбе трудового народа за свои права против эгоистического и слепого господского класса. Этот класс отказывался видеть настоящие проблемы своей страны и стремился прикрыть их покровом националистических измышлений. Хотя русские в романе В. Линна появляются лишь эпизодически и в основном как статисты, эти книги именно поэтому важны с точки зрения представлений финнов о русских. Линна, таким образом, показал, что проблемы, вину за которые возлагали на 'рюсся', на самом деле были чисто финскими. Исторически картина наверняка была не точной, но, судя по огромным ти-

ражам и невероятно высокому авторитету Линна, она была тем более впечатляющей и убедительной".

Т. Вихавайнен не скрывает и того, что "новым явлением стало, например, появление на сцене крохотной группы сторонников возвращения Карельского перешейка, которые, пока Советский Союз был в силе, предпочитали про это помалкивать". Честность финских писателей и ученых не может не восхищать: в послевоенной Финляндии, а наверняка и позже, было кому (да и есть) обозвать их предателями и пятой колонной. Этот образ давно обрел международный статус.

Т. Вихавайнен провел, кроме того, интереснейший обзор, что писали финские газеты о Петербурге во второй половине XIX века.

"Масштабы Петербурга впечатляли всех авторов. Мировой мегаполис Петербург был 'новым миром' для такого человека, который прежде бывал только в маленьких столицах скандинавских стран, писал корреспондент Туркуской газеты. Одна только Нева представлялась могущественной рекой, подобных которой в европейских городах не встречалось. Здание Главного штаба представлялось самым монументальным в мире. Огромные мосты, Зимний дворец, Исаакиевский собор, разумеется, производили впечатление на туристов. Инженерный замок, собор Петропавловской крепости, Летний сад, Казанский собор и другие достопримечательности описывались в газетах с удивительным постоянством. Масштабы зданий и сооружений поражали. Даже жилые дома Петербурга были столь огромны, что в одном таком, казалось, могло проживать целиком все население маленького финского городка.

К Невскому проспекту просматривалось особое отношение: 'Кто бы уже ребенком не старался себе представить эту улицу 1001 ночи?' – задавал риторический вопрос один из авторов газеты города Турку. Огромное удовольствие можно было получить только лишь от одних наблюдений за жизнью улиц. Само собой разумеется, здесь было постоянное интенсивное движение во всем его разнообразии. Пестрота поражала – роскошные ландо лиц, явно принадлежавших к высшему свету, соседствовали с крестьянскими таратайками и телегами. Район Садовой–Невского носил именно европейскую печать, но в то же время в магазинах можно было купить как изделия, соответствующие самой последней парижской моде, так и простые русские продукты.

Невиданная пестрота была и в петербургском трактире. Здесь сидели бок о бок мужики в тряпье и обносках, чиновни-

ки в потрепанных мундирах, читавшие газеты, бабы с детьми брали суп, купцы пили чай, а 'святые отцы' — попы — налегали на водку. Иногда начинали петь, потом дрались, но вскоре мирились и целовались. Удивило автора и то, что никто другому не мешал, и не было 'такого грубого дебоша, как у нас'.

Посещавшие Петербург знали, что численность населения столицы империи составляет 1 млн, что есть половина всего населения Финляндии. Тень величественности Санкт-Петербурга казалась угрожающей. В 1883 году, еще до обострения антифинской полемики в русской прессе, обозреватель газеты 'Hämäläinen' писал следующее: 'Купол храма блестит чистым золотом. Золото, золото, везде только чистое золото! Если вспомнить, что Москва еще более богата, чем Петербург, если вспомнить, какие безграничные богатства лежат в недрах России, в многочисленных ее монастырях, ее огромных заводах и ее плодородных землях, когда еще увидишь ее бесконечные казармы и доблестные полки, нельзя не удивиться тому могуществу, которым обладает Россия'.

Но, продолжает автор, если хочется радоваться этим огромным богатствам и этой удивительной красоте, что сотворили здесь прилежность и ум человека, надо все-таки сказать, что у финна, который понял огромную силу России, болит сердце, и он должен поневоле стонать: 'Эх, ты, девица Финляндия, сейчас ты в руках такого жениха, который и хочет, и может обнять тебя до смерти!'. Что у России были такие намерения, автор понял по материалам русских газет. Они же об этом писали почти ежедневно. Правда, у Финляндии была своя конституция, и слово императора было еще свято. Но все может измениться, и Россия ведь уже не та, какой была еще несколько десятилетий назад".

Изменения, как известно, произошли, и притом гораздо более ужасные, чем могли предполагать самые мрачные пессимисты. И кто был их инициатором — все те же газеты, представлявшие ничтожную, но крикливую часть русского общества. Я хотел было попросить прощения за длину следующего отрывка, но он настолько интересен, что, пожалуй, имеет смысл вместо этого требовать признательности.

"Общественный порядок Петербурга восхвалялся многими обозревателями. Когда великий князь Павел и принцесса Греции венчались, огромные массы людей на Невском проспекте вели себя очень добропорядочно. Полицейские и жандармы были вежливы и корректны со всеми, но особое впечатление производила на обозревателя 'Hufvudstadsbladet' общая воспитанность питерской публики. Все были взаимно вежливы друг с другом, извинялись, когда надо было, дурного слова

не было слышно совсем. Действительно, питерская публика могла в этом отношении быть образцом для всех западноевропейских народов! Отличный порядок заметил и корреспондент 'Ilmarinen' в 1883 году.

В 1883 году обозреватель 'Hufvudstadsbladet' всячески хвалил зимние улицы Петербурга и сравнивал их с улицами Хельсинки. Петербург был во всех отношениях лучше. В Питере не было высоких снежных заносов на улице — их убирали многочисленные рабочие. Тротуары в Петербурге были не скользкими, как в Хельсинки. Снег размораживали кипящей водой и потом посыпали песком. Конки в Петербурге были чистые и уютные, а зимой, когда было холодно, на Невском проспекте разводили многочисленные костры, у которых люди могли погреться. Новинкой были прозрачные, многоцветные рекламные колонны, которые освещались изнутри газом.

Вообще, у читателя финских газет могло сложиться впечатление, что все, что касалось работы городских служб, в Хельсинки организовано плохо, а в Петербурге хорошо. Это касалось даже больниц, как писал корреспондент 'Folkvännen'. Больницу для финнов было найти совсем несложно, и, кстати, в Питере можно было всегда спросить дорогу. Жители российской столицы всегда охотно и вежливо помогали и, в отличие от шведов и финнов, никогда не смеялись над странным произношением иностранца. В Финляндии люди часто боялись больницы. В Петербурге это было излишне, в больнице можно было получить уход и пищу лучше, чем дома.

Визит в больницу Марии Магдалины около Тучкова моста на Васильевском острове поражал. 'Порядок, чистота, уют владеют везде'. Пациент получает мясо, белый хлеб, бульон и молоко, сколько хочет. Только бы поменьше народа в комнате. Корреспондент попробовал бульон: 'Действительно, вкусно!' В таких розовых красках описывал Петербург корреспондент народной просветительной газеты 'Folkvännen'. Правда, в той же статье он заметил, что петербуржцы могут заставить неопытную 'чухну' за всякие услуги платить больше, чем было бы нормально.

В Петербурге даже тюрьмы были образцовые. Пища была там хорошая, лучше, чем у многих дома. Финских арестантов в Петербурге было в среднем 74 человека в год. У них было богослужение каждую вторую неделю на финском языке.

В Петербурге даже дрались упорядоченно. В Кронштадте масленица в 1869 году кончилась массовым побоищем, в котором участвовало несколько тысяч солдат. Но грабежей не было, и вообще посторонних не вмешивали.

Положительной была и общая картина петербургского чиновничества, в 1870 году 'Hufvudstadsbladet' особо благодарила хорошее поведение русских чиновников при таможенном осмотре выставочных экспонатов.

Иногда все-таки находились и поводы для упреков. Так, например, в 1887 году корреспондент 'Uusi Suometar' жаловался на бюрократизм таможенников, которые держали финнов часами в таможнях Кронштадта по каким-то мелочным причинам.

...Корреспондент 'Hämäläinen', который в 1883 году был поражен огромными ресурсами и богатством России, считал тоже, что русский человек 'по своей природе более подвижный и более умный и находчивый, чем финн. Покуда Матти сделает один поворот, Иван уже десять раз посадит его в мешок. Иван работает более быстро и справится с меньшим харчем. Если еще добавить сюда коварную натуру, можно увидеть, что финн не может устоять в борьбе с ним'.

Русские с удовольствием помогают финнам против шведов, но более близкое сожительство с русскими означает 'гибель финской расы', считал автор, которому цензура не помешала писать такие политически довольно неделикатные вещи.

Корреспондент либеральной газеты 'Helsingfors Dagblad' описывал русских, как добродушных, мирных и порядочных людей. Даже в трактирах они вели себя спокойно и без шума. Этому, наверное, содействовало то, что они пили в огромном количестве чай, который, кстати, очень вкусный. Один корреспондент был шведом из Швеции, и он сравнивал все виденное со своей родиной. Его очень поразил свободный, но тем самым очаровательный стиль общения. В Швеции люди все время занимали себя вопросами 'Что можно?' и 'Что нельзя?'. В России человек был самим собой, но в то же время не менее 'comme il faut'. В каком-то особом смысле Россия была 'одна из самых демократических стран мира', констатировал шведский корреспондент. Сангвинизм русского характера выражался в театрах бурными аплодисментами, которые финскому гостю казались чрезмерными. Русский темперамент можно было видеть и на улице: оскорбленный драматург нападал на журналиста на Невском проспекте, и они начали фехтовать на тросточках, пока полицейский не отправил их в участок. Автор считал, что случай очень характерен для Петербурга и мог произойти только там.

В общем, русский человек имел настоящую 'широкую натуру'. По крайней мере, так в фельетоне хе́льсинкской газеты описывался русский приятель автора статьи. Его звали Клим Климыч или дядя Клим. Он был чиновником, но авто-

ру не было понятно, чем он занимался. Он ‘служил’, и это, по-видимому, не значило, что он работал. Когда он хотел проводить финского друга в Петергоф, он взял себе пару выходных дней, закончив некоторое количество своих дел досрочно, очевидно, что он их не читал или читал очень поверхностно. Клим Климыч был очень спокойный человек, которому совсем не мешал тот факт, что леса вокруг Петербурга горели. Если горит, значит, так и надо!

Финны тоже были поражены той близостью, которая в Петербурге была между классами общества. Корреспондент газеты ‘Sanomia Turusta’ писал в 1879 году, что в Петербурге были знатные люди и люди высшего класса, но разницу между сословиями здесь ‘не учитывают так, как в Финляндии’. Это ‘можно было видеть везде’. Это было видно и в том, что полковник мог в ресторане позволить себе шутить с официантом.

Финские корреспонденты несколько раз отметили ‘свободное’ поведение русских. Так, получить приглашение в русский дом было нетрудно. Гостеприимство русских славилось во всем мире. Полной экзотикой для финнов представлялось всеобщее целование в пасхальную ночь, несмотря на класс, пол или возраст. Финский корреспондент не забыл подчеркнуть, что ничего подозрительного в этом красивом ритуале не было. Тогда и хозяева целовали своих слуг, и даже император своих православных караульных.

Совсем особо шла речь о русских женщинах. Женщина в России тоже вела себя ‘свободно’. Это могло иметь и плохие последствия. Например, нигилистам удалось завлечь в свои ряды русскую женщину, ‘которая, вообще говоря, стоит выше мужчины’, констатировал корреспондент ‘Åbo Underrättelser’ в роковом 1881 году. В другой статье подчеркивали, что русские женщины были намного умнее мужчин. Женщина могла даже проявить инициативу и познакомиться с мужчиной. Неожиданностью стало для финского корреспондента и то, что немолодая русская женщина на пароходе спросила у него папиросу. Многие русские женщины курили. Замечательно было то, что русские девушки могли посещать своих знакомых мужского пола без сопровождающего лица. Совсем очарован был корреспондент ‘Åbo Tidning’, которого русская девушка остановила на улице и начала с ним разговор о газете. Потом она сказала, что сразу узнала финна по застенчивости. Кстати, у нее и ее подруг было общество, которое ставило себе задачу освободить финнов от их замкнутости. Они стали ходить вместе и гуляли вплоть до Озерков. ‘Никогда я не имел более чудесной экскурсии. Ее я не забуду никогда благодаря моей спут-

нице, или, вернее, русской женщине, такой, какой она была'. Другой обозреватель подвел итоги: 'Русские дамы одеваются со вкусом, ведут себя со вкусом, разговаривают со вкусом, танцуют со вкусом, у них маленькие ручки и маленькие ноги, они дружественны, открыты и остроумны, словом, у них присутствуют все те добродетели, которыми прекрасный пол украшает жизненный путь розами'.

Что касается общественных классов и типов, в Питере можно было встретить совсем особые типы. Одним из них был помещик, приехавший в Петербург для ведения дела в суде. Его описывали довольно негативно, что было связано со взяточничеством и со 'связями', которые в Петербурге были необходимы везде. В России также имелись и купцы, у которых не было почти никакого имущества, уже не говоря об умении читать и писать. Но торговаться с ними было легко, можно было предлагать одну четверть из того, что они требовали, и еще грубо при этом их ругать — и это их совсем не раздражало. В общем, с русскими можно было общаться в хорошем духе. Даже мальчишки на улицах были вежливыми и симпатичными.

Главным пороком русских была нечестность. В трактире следовало держать руку на бумажнике. Несимпатичной русской чертой для финнов была 'бесконечная система выпрашивания'. Другой — заискиванье перед богатыми. Чаевых ожидали повсюду, и финский обозреватель считал это тоже 'выпрашиванием'. Чаевые при этом не всегда спасали человека от бдительного таможенника.

Русских, в целом, описывали как добрых людей. Например, известна была их любовь к животным. Животных называли всякими ласковыми именами. Отношения русских с другими народами все-таки не всегда были хорошими. Татар ценили, так как они были сильными и трезвыми. Почти все они, кстати, считали себя потомками князей. Немцев в Петербурге было много, и их считали честными работниками. Но в последние годы на них стали негодовать, что, по-видимому, было связано с внешнеполитическими делами. Немцы, со своей стороны, презирали русских.

Что касается финнов, то читатели финских газет, которые знали о нападках российской прессы, ожидали, что к ним в России относятся дурно. Но такого все-таки отмечалось совсем мало. В Петербурге считали, что финны, как и немцы, особенно честны.

На самом же деле к финнам, как правило, относились совсем хорошо. Например, те же многочисленные дачники, которые ежегодно приезжали на Карельский перешеек в летнее время, сохраняли самые положительные воспоминания.

Петербургские дачники, со своей стороны, были очень популярны среди местных жителей на перешейке, ибо они покупали у крестьян разные вещи и с удовольствием участвовали во многих местных праздниках, свадьбах и т. д., щедро жертвовали деньги на различные нужды. На самом же деле русские очень мало интересовались 'финским вопросом', и широкая публика, даже студенты, совсем не знала об этом или знала 'удивительно мало' о Финляндии вообще.

В Финляндии полагали, что русская военщина особенно не любила Финляндию. Но финский георгиевский кавалер на празднике Дня св. Георгия встречал только симпатию и уважение. Во время финского голода в 1868 году в Петербурге организовали лотерею для пострадавших финнов. Вообще казалось, что среди русских сложно найти в значительном количестве людей, враждебно настроенных к финнам, таковых имелись единицы, хотя русские газеты нередко зло отзывались на финские темы. Один автор предполагал, что настоящие финноеды вовсе не были собственно русскими, а русифицированными немцами. Собственно русские относились к финнам гораздо лучше. Они считали, что финны были честны, гостеприимны и добродушны, лишь немного противопоставляли себя всему русскому, 'но это можно понимать по историческим причинам, скажет русский, который всегда вежлив'. Да, 'сангвинический' русский всегда вежлив, разговорчив и общителен. В отличие от жителей Финляндии с ним можно всегда поболтать и пошутить даже тогда, когда с ним лично не знаком.

Некоторые русские туристы со своей стороны писали о финнах уважительно, как отмечали финские газеты. Финны были честны и порядочны, соблюдали чистоту. Но особенно замечательно было их самоуважение, чувство собственного достоинства: финн не оказывал никакого особого почтения образованному господину, но выполнял без ворчания все законные требования государства. Даже обычный крестьянин не позволял оскорблять себя безнаказанно. Он искал и получал удовлетворение в суде по закону. Русский купец, который долго жил в Финляндии, сказал русскому туристу, что финны на самом деле народ неплохой. Только надо платить им той же монетой. Они — народ хороший тем, что никогда не обманывают. Но они очень жесткие и хотят все делать по-своему. Эта черта характера вытекает из гордости. Какой-нибудь русский офицер может сказать финну: 'Смотри, я господин!' Но тот отвечает: 'Я сам господин. У нас все господа!' В Финляндии действительно царствует особый вид равенства: пощечина стоит 75 копеек независимо от положения человека, кто

это дал и кому это дали. И финские суды были беспартийные и справедливые.

Газеты, конечно, много писали тоже о финнах Петербурга. О клубах, школах, приходах было что писать. В финском приходе в 1888-м состояло более 20 000 человек, в шведском их было 6429 уже в 1865 году. Многие финны в Петербурге жили хорошо и порядочно, но иногда было стыдно за их пьянство. Так было, например, когда 200 финских юношей поехали поездом в Выборг для призыва. Некоторых корреспондентов тревожило то, что финны в Петербурге стеснялись своей финскости и употребляли скорее шведский, нежели финский язык или старались говорить по-русски. И некоторые действительно обрусели.

Считалось, что большой город был опасным местом для девушек. Им угрожала судьба проституток, и об этом газеты часто упоминали. Но там была и другая опасность. Простая девушка из финской глубинки могла в Петербурге потерять реальное понимание своего положения. Об этом свидетельствовало, например, когда она купила себе зонтик и ходила с ним с утра до вечера.

...Известный финский писатель, журналист, ныне классик финской литературы Юхани Ахо описал Петербург в 1891 году как 'чужой' и 'огромный' город, который прежде всего пугал, хотя и очаровывал своей 'чуждостью'. В Петербурге были все прелести больших городов того времени, но все-таки он не особенно привлекал представителя финской интеллигенции. Город сам по себе был поразительным, он отличался масштабностью, пестротой, богатством и силой. Там было чем наслаждаться, люди были добры, импульсивны и веселы. Облик города был очень национально-русским, он так и остался для финна до конца непонятным, хотя одежда, продукты, даже тексты на вывесках были во многом европейскими. Представитель финской интеллигенции входил в Петербург неохотно, тогда как простолюдины из Восточной Финляндии чувствовали себя там, как дома. Главной проблемой Петербурга для финской интеллигенции, по-видимому, была его угрожающая сила. На фоне газетной полемики русской националистической прессы против привилегий Великого княжества вся сила и блеск города пробуждали в финском интеллектуале скорее страх, чем восхищение".

А русскую культуру в тот "золотой век" финны просто-таки любили. Интеллигентные финны, разумеется.

"Отражение русской души в зеркале Севера" (СПб., 2015) Лийсы Бюклинг – настоящая энциклопедия финско-русских

театральных связей, любителям театра следует прочесть ее от Антона до Михаила Чехова. Однако социальный итог напрашивается грустный: когда говорят пушки националистической пропаганды, голос муз становится тоньше писка. Но даже на пороге гражданской войны, которую финские националисты сумели выдать за освободительную, о чеховской драматургии писали в выспренних тонах: “Может быть, потребность справедливости и требование правды, которые теперь представлены в русской драматургии как бесплодное бунтарство, когда-нибудь дадут свои плоды”. И в роковом семнадцатом: “Если Толстой и Достоевский были гениями, Чехов был очень талантливым писателем”. А крупнейший деятель финского театра Эйно Калима, в девятисотых годах стажировавшийся в Москве и Петербурге, усвоил до конца дней, что “русская политика — это одно, а русский язык и литература — это другое”. Но — “после того как Финляндия отделилась от России и стала самостоятельным государством, интерес к русской литературе уменьшился”; “русское прошлое стали воспринимать как приговор современной России”; “и в Советской России, и в Финляндии (правда, по противоположным причинам) Чехов был заклеймен как ‘писатель прошлого’”; “художественные достоинства ‘Ревизора’ были признаны, но в изображенной Гоголем картине хотели видеть подлинную Россию, то есть обнажение того, насколько убога русская народная душа”. Постановка “Живого трупа” к столетию Толстого, вспоминал Э. Калима, “была едва ли не актом исключительной смелости — такое отчуждение вызывали в первые десятилетия нашей независимости блестящие русская литература и театр”.

В этом и заключается жлобская, плебейская сущность национализма, не разделяющего высокого и низкого, вечного и суетного, — он враждует не только с бюрократией и агрессивными националистами народа-соперника, но и с его искусством, с его прошлым и будущим, со всем народом, представляемым как единая и неизменная личность во все прошлые и будущие времена. Так легче бороться за власть, а ничто иное националистов не интересует — главное изгнать или запугать чужаков. А остальное устроится само собой: фашизм и есть бунт простоты против трагической противоречивости социального бытия. Национализм — такое же чудовищное обеднение патриотизма, как порнография — обеднение любви. Вот еще кое-что из “Столетий соседства”: “Русская литература, о которой так много говорили Толстой, Достоевский и другие, ничего не создает, но все разрушающее, рвущее, ломающее разум — от истинно русских”. И еще круче: “Пусть какой-то рюсся и достоин восхищения и любви — он все-таки рюсся и

рано или поздно зверь вылезет из-под глянцевой и гладкой шкуры. Так как благодаря крови своей и в силу этой крови никто не отделается от сущностных свойств своей расы!"...

В этом и заключаются сущностные свойства расизма — в приписывании миллионным меняющимся и обновляющимся группам каких-то вечных свойств, хотя даже каждый из нас в безопасности и при появлении угрозы бывает совершенно другим человеком. "Красная опасность" действительно была огромной, и поддержка Советской Россией финских "красных" тоже была существенной, но отождествлять коммунистическое с русским, как на Украине его отождествляли с еврейским... На рубеже веков шведская партия Финляндии весь политический негатив тоже списывала на особенности финского менталитета, печатались карикатуры, на которых честные, чистые шведы открывались солнечным лучам, а финны представали исчадиями тьмы с финскими ножами и красными флагами. Расчеловечивание противника — это норма межнациональных конфликтов; и русофобия, и юдофобия, и финнофобия имеют одну цену, поскольку прикрывают одну и ту же цель — право на угнетение и убийство. Правда, убийства русских в Финляндии были относительно "скромными" — на Украине жертвы погромов исчислялись сотнями тысяч, а в Финляндии "только" тысячами или, может быть, даже сотнями (подсчет, как всегда, зависит от того, кто считал, адвокаты или прокуроры), — но принцип у националистов общий: все внутренние проблемы вызваны инородческим влиянием, а сами по себе мы единая семья, имеющая право включать в нее всех, кого сочтем родственниками, со всем их имуществом, кое сочтем им принадлежащим. Уж на что финны разумный народ, но даже и у них панфиннланисты успели погрезить о "Великой Финляндии" — у самых пылких аж до Енисея...

Ленин когда-то писал, что национализм малых наций простителен в отличие от национализма больших, а Ленин всегда приветствовал все самое разрушительное: он видел, что национализм больших народов в принципе способен и укрепить государственный, а следовательно и мировой порядок, покуда националисты не взбесятся до того, что станут кидаться не только на слабых, но и на сильных. Нет, не коммунизм, а именно национализм был истинной чумой XX века: коммунисты сумели победить только там, где государственный строй был уже разрушен националистами, — ведь именно националисты первыми взорвали мировое равновесие.

Лишь "после Второй мировой войны интерес к Чехову возродился, благодаря возвращению к русской классике и ее

этическим ценностям". Но в этот период и политика Финляндии сделалась намного более рациональной. В итоге Финляндия достигла превосходных результатов в обустройстве жизни. Однако мой еврейский папа, удачно отсидевший и чудом не расстрелянный при Сталине, приучил меня не оглушаться громом побед, но помнить о жертвах. И мне по-настоящему грустно видеть в каждом благоустроенном финском городе памятники жертвам трех войн — трех ударных волн мирового порядка, разнесенного в клочья националистическим Чернобылем Первой мировой, — в пересчете на Россию это миллионы и миллионы. Националистов этим не устрашить, для них, как и для сталинистов, победа искупает все. Еще они возопят, что без этих жертв финны потеряли бы свою культуру, однако чужие культуры стремятся истреблять именно сами националисты, а многоэтническая имперская аристократия (куда входило и немало финнов), ничего не имела хоть против тысячи культурных цветов. Основатель Финского театра Каарло Бергбум ориентировался на Петербург как на "самый большой финский город" (1871); в 1881 году численность финско-шведской диаспоры подбиралась к 25 тысячам, составляя 2,6 % населения, располагая собственными приходами, школами и печатью на финском языке.

Высшие представители Финляндии в Петербурге, там же начинавшие свою карьеру, считали, что изучение русского языка необходимо прежде всего самим финнам, чтобы финские интересы в России могли представлять финские же чиновники. И бизнесмены, работавшие с Россией, тоже наверняка изучали русский не только за то, что им разговаривал Ленин. Вовлечение в общие дела — вот что создает нужду в общем языке, а русифицировать народ просто для того, чтобы показать, кто в доме хозяин, как этого требовали русские националисты, — увы, на поздних этапах имперское правительство не сумело разглядеть главных врагов империи в националистах, у кого нет иных забот, помимо национальной однородности. Но зато, если обратиться к тем, кто ворочал реальными делами...

Профессор-эмеритус Хельсинкского университета Матти Клинге в своей монографии "На чужбине и дома" (СПб., 2005) приводит нескончаемый перечень финнов, занимавших высочайшие посты в Российской империи в качестве администраторов, "хозяйственников" и генералов, а также имена многих штаб-офицеров, отличившихся в том числе при замирении Кавказа и Польши. Попутно завоевывая для Финляндии расположение императора, эти солдаты импе-

рии возмущаются не только бунтовщиками, но и собственными "смутьянами": "Когда мы здесь небезуспешно трудимся, некоторым самовольным студентам и подонкам в Хельсинки надо порочить всю нацию". Так начиналось столкновение междк имперским и националистическим духом. "Действия поляков, — пишет М. Клинге, — вызвали в России сильное негодование и привели к стремительному росту русского национализма". То есть на разрушительные действия тех, кто считал себя рабом империи, ее "хозяева" ответили действиями еще более разрушительными...

Так, знаменитый градоначальник Трепов-старший, отличившийся при подавлении польского восстания, запретил спектакль на финском языке на том основании, что совсем недавно запретил спектакль на польском, — это уравнивание лояльных и нелояльных было прямым нарушением заветов Римской империи, как они представлены Вергилием: милость покорным являть и смирять войною надменных.

К несчастью, крепнущая чума национализма была обручена с другой, по-видимому неодолимой, силой — демократией: поднимающимся массам, освободившимся от власти и защиты религии и традиции, обрести новую экзистенциальную защиту было гораздо проще через возвеличивание уже имеющейся национальной принадлежности, чем через возвеличивание имперской идентичности, которую еще надо было завоевать. То есть эмоционально примкнуть к имперской аристократии, которую М. Клинге характеризует так: "Тогда собственно официальные каналы не имели решающего значения: в большей мере играло роль то обстоятельство, что в Великом княжестве имелись люди, известные своими способностями и своей лояльностью. Для этой финской элиты национальное мышление было совершенно чуждым, равно как и для элиты русской. По большей части в этом обществе пользовались французским языком. Не только в принципе, но и на практике позитивно относились к народным языкам — финскому и русскому (шведский в то время народным языком в Финляндии не считался), но это вытекало из традиций Просвещения и никак не было связано с национальными причинами. К национализму, то есть панславизму (а также к скандинавизму и т. д.) в этих кругах относились крайне отрицательно.

Этой же позиции придерживался император".

Не очень ясно, правда, делала ли имперская аристократия что-то значительное для того, чтобы расширять свой круг или хотя бы переманивать в него вожаков националистической демократии. Эта аристократия презирала нацио-

налистов, как столичный житель презирает замшелого провинциала. Адмирал Хампус Фуруельм уже на пенсии говорил о финских националистах скорее с досадой, чем с тревогой: “Какая зараза в этой стране (*этой стране* — знакомое сочетание. — *А. М.*) интересуется тем, чего мы, сыны Финляндии, достигли в России. Никто не ставит нам в заслугу, и в еще меньшей степени считает за честь тот факт, что мы управляли территориями, которые превосходили всю нашу страну, и открывали новые земли. Для нас, здесь в Финляндии, мир на востоке оканчивается рекою Раяйоки, на западе он простирается немногим далее, вплоть до Гулля, поскольку туда отправляется наше масло”. Фуруельм был губернатором российских колоний в Америке, а затем командующим береговой провинции Восточной Сибири, — людей дела в Россию привлекали громадные возможности для реализации их амбиций и дарований.

Список финских предпринимателей, наживших в России огромные состояния, тоже впечатляет. “Все эти примеры свидетельствуют о той притягательной силе, которую имела в Финляндии промышленная экспансия России”. Вот что писала в 1869 году писательница Фредерика Рунеберг: “Сейчас отсюда в Россию помимо тех рабочих, о которых вы читали в газетах, толпами уезжают инженеры. Молодой человек, который только что закончил низшую ступень реальной школы и у которого нет достаточного желания и способностей, чтобы продолжить обучение в старших классах, теперь в России получает 2000 рублей и находится на полном обеспечении”. И наверняка у этих молодых людей, вливавшихся в авангард российской модернизации, доставало и желания, и способностей, чтобы выучить русский язык без угроз русификаторов.

А кто противостоял этим инженерам и адмиралам?

“Своеобразным финским искателем приключений был Беккер Бей. Э. Г. В. Беккер после окончания кадетского корпуса подался в Петербург, установил там связи с представителями высших финских кругов” и — отправился добровольцем на войну в Марокко. Затем в 1861 году закончил академию Генштаба, но через год с чужой женой бежал сначала в Швецию, а потом в Америку. Затем наемничал в Мексике, в армии Ватикана, в Греции, в Испании, в 1871 году в чине подполковника завербовался в армию египетского хедива и семидесятые провел на горячих Балканах. Однако панславистские настроения, с которыми Бендер-бей, то бишь Беккер Бей, познакомился среди русских офицеров и дипломатов, побудили его написать статью о том, что рано или поздно

"Финляндия подвергнется русификации. Единственное средство для предотвращения такого оборота событий — военный мятеж, поддержанный иностранными державами". Статья вызвала живой интерес среди держав-соперниц, которым указали на слабое место в российской обороне, но, "пожалуй, в наибольшей степени статья Беккера повлияла на пробуждение в России недоверия по отношению к Финляндии и на подрыв господствующих представлений о лояльности Финляндии и финнов к России".

Ну и в России, естественно, нашлось, кому это недоверие раздуть. Националисты раздували его по всей Европе и в конце концов сумели раздуть в мировой пожар на горе всем буржуям и дворянам, рабочим и крестьянам, инженерам и адмиралам. "Платой за самостоятельное национальное развитие, — констатирует М. Клинге, — стала относительная провинциализация Финляндии, которая продолжилась впоследствии и в период ее независимости". Но это если забыть о плате не поддающимися подсчету жизнями финской молодежи. Которую, совсем не исключаю, было и невозможно спасти, ибо империя не имела за собой никакой воодушевляющей сказки, а потому была обречена в борьбе с "красными" опираться на будущих "коричневых". И все-таки если бы мне было дано придумывать утешительные версии истории, я бы изобразил современную Российскую империю (конституционную монархию, парламентскую республику — не суть), в правительственной, промышленной и финансовой элите которой финские имена встречаются не реже, чем сегодня, не к ночи будь помянуты, еврейские. Но это никого не раздражает, потому что каждый народ, не говоря об этом громко, поглядывает на другой свысока, как, к примеру, это бывает у штангистов с шахматистами, а у физиков с филологами. Поглядывает свысока, а потому не имеет стимулов ассимилироваться, а значит, и защищаться от ассимиляции националистическими сказками. Власть же, если что-то и бубнит о невозможной в реальности дружбе народов (каждый народ может жить только иллюзией своей исключительности), то на практике лишь изредка прихлопывает национальных экстремистов, а в основном неустанно формирует общие государственные цели, благодаря которым каждый народ вырастает в собственных глазах. При этом никто никому не докучает напоминаниями о ведущей роли Старшего Брата, поскольку и сам "Брат" понимает, что общие достижения все равно пойдут в российскую копилку, как в нее давно улеглись петербургские здания, выстроенные итальянскими зодчими.

Старший Брат даже специально оберегает национальные особенности Финляндии как заповедника высокого порядка

и низкой коррупции — своего рода образец для прочих. И не ждет любви, понимая, что империя не девка, чтоб ее любили.

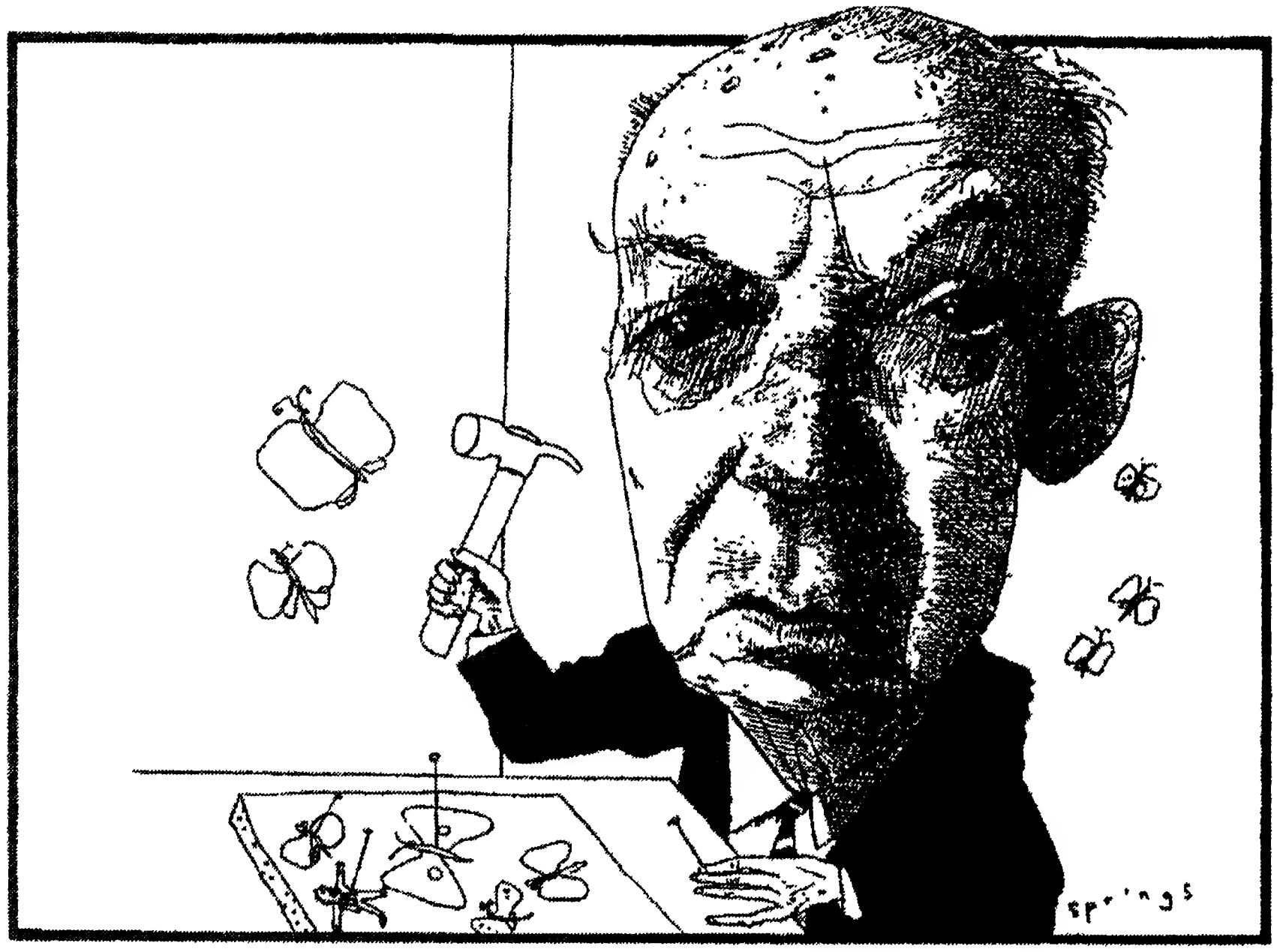
Зато за переводами модных финских писателей издатели в России гоняются так, как мы когда-то гонялись за книгами Энна Ветемаа, а в Хельсинкском университете блистают финские ученики Колмогорова и Ландау.

Но победил Беккер Бей. А "На чужбине и дома" заканчивается просто: "Под давлением Германии Сенат и Парламент Финляндии провозгласили страну независимой республикой 4 и 6 декабря 1917 года, не вызвав у общества ни большого воодушевления по этому поводу, ни даже большого интереса к этому акту".

Николай Мельников

Высмеять пересмешника

Владимир Набоков в зеркале пародий и мистификаций



Шарж Джона Спринга

За Владимиром Набоковым вполне справедливо закрепилась репутация homo ludens'а[1], вдохновенного и озорного мистификатора, пересмешника, без устали препарирующего штампы массовой литературы и создающего гротескно-комические копии произведений и стилевых манер писателей "первого ряда", чьи карикатурные образы населяют набоковскую прозу пестрой и шумной толпой. Достаточно вспомнить

© Николай Мельников, 2016

1. Homo ludens – человек играющий (*лат.*). Первым хейзинговскую формулу к Набокову применил Юрий Иваск в эссе 1961 г. "Мир Владимира Набокова". См. Классик без ретуши: литературный мир о творчестве Владимира Набокова / Под общ. ред. Н. Г. Мельникова; Сост., подготовка текста: Н. Г. Мельников, О. А. Коростелев. – М.: Новое литературное обозрение, 2000. – С. 562.

некоторых персонажей "Дара" – ту же зловредную критикессу Христофора Мортуса, в образе которой угадываются черты двух литературных недругов Набокова, Зинаиды Гиппиус и Георгия Адамовича, – или "Ады", с ее выводком набоковских bêtes noires: "второстепенный поэт и переводчик" *Лоуден* (в котором скрещены нелюбимые Набоковым Роберт Лоуэлл и Уистен Хью Оден), антипатичный Вану и Аде, а, стало быть, и их создателю,"автор романа 'Поксус'" *Хайнрих Мюллер* (германизированное от "Генри Миллер"), "старый Кифар К. Л. Суин, пописывавший стишки, и еще более древний Милтон Элиот", чьи комичные фигуры имеют своим прототипом англо-американского поэта Т. С. Элиота (на которого, как мы помним, писал пародии Гумберт Гумберт: "Пускай фрейляйн фон Кулып, еще держась / За скобку двери, обернется... / Нет, не двинусь ни за нею, ни за Фреской. / Ни за той чайкой..."), *Сиг Лимэнски* (анаграммированный двойник английского писателя Кингсли Эмиса, автора нескольких разносных рецензий на романы Набокова) и т. д.

Главными целями пародийных выпадов Набокова были, конечно же, его литературные враги и соперники в борьбе за место на литературном Олимпе, ведь пародия – не столько "игра", как беспечно определял ее писатель в интервью Альфреду Аппелю, своему поклоннику и ученику по Корнельскому университету[1], сколько специфическая разновидность литературной критики, средствами комической стилизации гротескно преломляющей исходный материал, более того – грозное оружие литературных войн и полемик, которым наш homo ludens владел с устрашающим совершенством.

Для того чтобы перечислить всех литераторов, пострадавших от "великого и несравненного пародиста" (как аттестовал Набокова литературовед Петр Бицилли в одном из писем редактору "Современных записок" Вадиму Рудневу[2]), мне пришлось бы написать целую монографию, поэтому ограничусь наиболее яркими примерами.

Среди набоковских "мальчиков для битья" в первую очередь следует выделить Георгия Иванова: за свою оскорбительно грубую антисиринскую статью, напечатанную в первом но-

1. Отвечая на вопрос интервьюера – "Как вы разграничиваете пародию и сатиру?" – Набоков лаконично заметил: "Сатира – поучение, пародия – игра" (цит. по: Набоков о Набокове и прочем: Интервью, рецензии, эссе / Ред.-сост. Н. Г. Мельников. – М.: Независимая Газета, 2002. – С. 191).
2. Цит. по: Мельников Н. Портрет без сходства. Владимир Набоков в письмах и дневниках современников (1910–1980-е годы). – М.: Новое литературное обозрение, 2013. – С. 43.

мере парижского журнала "Числа"[1], он был представлен в образе беспринципного литературного дельца Евфратского в рассказе "Уста к устам" и помянут недобрым словом в стихотворении-мистификации "Ночное путешествие" (1931), которое Набоков выдал за перевод из поэмы "The Night Journey" английского поэта Vivian Calmbrood (данная латиницей анаграмма "Владимир Набоков): "...Дни Ювенала отлетели. / Не воспевать же, в самом деле, / как за крапленую статью / побили Джонсона шандалом?"

Не забудем и многолетнего набоковского зоила Георгия Адамовича, чья критическая манера блестяще спародирована в "Даре" и чей комически сниженный образ, лишь слегка меняя окраску, появляется в нескольких произведениях Набокова. Помимо Христофора Мортуса, это продажный писака Жоржик Уранский из романа "Пнин", критик Василевский (среди прочего, основатель журнала "Простые числа"), ненавидимый протагонистом последнего набоковского романа "Look at the Harlequins!", и мельком упомянутый там же Адам Антропович, "незабвенный глава" "талантливых и невежественных, но обладающих интуицией критиков 'нового типа'"[2]).

Кстати, ему также дается нелестная характеристика в "отрывке из калмбрудовой поэмы":

...К иному критику в немилость
я попадаю оттого,
что мне смешна его унылость,
чувствительное кумовство,
суждений томность, слог жеманный,
обиды отзвук постоянный,
а главное — стихи его.
Бедняга! Он скрипит костями,
бренча на лире жестяной,
он клонится к могильной яме
адамовою головой...

Именно для Адамовича, как правило, скептически отзывавшегося о набоковской поэзии, была придумана хитроумная ловушка: в ведущем эмигрантском журнале "Современные записки" появилось стихотворение "Поэты" некоего Василия Шишкова, которое было встречено придирчивым

1. Числа. 1930. № 1. С. 233–236.
2. *Набоков В. В.* Взгляни на арлекинов! — СПб.: Азбука, 2013. — С. 134.

критиком с неподдельным энтузиазмом — "...кто это, Василий Шишков? Откуда он? Вполне возможно, что через год-два его имя будут знать все, кому дорога русская поэзия". Вскоре последовала публикация рассказа "Василий Шишков", стилизованного под мемуарный очерк, в котором Набоков поведал о своих встречах с поэтом, этим "русским Рембо", после чего всем, в том числе и самому Адамовичу, стало ясно, кто был истинным автором "прекрасного стихотворения".

Из писателей, оставшихся по другую сторону железного занавеса, назовем Анну Ахматову (ее ранняя лирика спародирована в романе "Пнин"), Владимира Маяковского, чьи агитпроповские вирши советского периода были беспощадно высмеяны в стихотворении, вошедшем в рассказ "Истребление тиранов" — "Хорошо-с, а помните, граждане, / как хирел наш край без отца? / Так без хмеля сильнейшая жажда / не создаст ни пивца, ни певца...", — и Бориса Пастернака: его прогремевший на весь мир "Доктор Живаго" вытеснил "бедную американскую девочку" Набокова с первого места в списках бестселлеров, за что в "Аде" пренебрежительно был переименован в "Любовные похождения доктора Мертвого", "мистический роман какого-то пастора". А еще раньше Набоков скандализовал эмигрантскую публику, опубликовав во втором выпуске альманаха "Воздушные пути" (1961) пародию на "Нобелевскую премию" "блаженного большевика Пастернака": "Какое сделал я дурное дело, / и я ли развратитель и злодей, / я, заставляющий мечтать мир целый / о бедной девочке моей...". Пародия эта вызвала бурю негодования в литературных кругах русского зарубежья — "Что этот господин не может успокоиться?! Сильно все-таки задел Пастернак этого Сальери наших дней. У меня руки чешутся на Набокова..." (из письма Владимира Маркова Глебу Струве от 1 мая 1961 г.; "...гнуснейшая пародия на 'Нобелевскую премию' возмутила и меня, и жену, и многих еще. И притом — этот мерзавец Набоков еще припутал сюда свою 'Лолиту' — 'бедную' свою прельстительницу всего мира — девочку..." (Борис Филиппов — Глебу Струве, 3 июня 1961 г.); "Набоковская пародия <...> гнусность, и об этом следовало бы прямо сказать" (Глеб Струве в письме Владимиру Маркову от 1 июля 1961 г.) — и навлекла на святотатца грубоватую эпиграмму:

Набоков, как всегда вы метки:
Вас ждет качанье русской ветки.
Но вы не из числа пророков,
Не будет мрамора, Набоков.

Впрочем, мишенями для пародийных стрел Набокова были и весьма почитаемые им писатели. Да, читатель, были и такие! Например, Андрей Белый, чей роман "Петербург" в телеинтервью Роберту Хьюзу Набоков упомянул среди четырех "величайших шедевров прозы двадцатого столетия"[1]: вспомним пародийную вставку из второй главы "Дара", где высмеивается "капустный гекзаметр автора 'Москвы'". Или Иван Бунин, перед которым начинающий литератор В. Сирин преклонялся и которого одно время считал своим учителем: будучи уже состоявшимся писателем, завоевавшим титул "одного из блестящих и талантливых романистов нашей эпохи" (Н. Резникова)[2], Набоков изрядно поостыл к "Лексеичу Нобелевскому" (как он насмешливо назвал прежнего кумира в открытке Зинаиде Шаховской) и вывел его в травестийном образе "известного писателя", второстепенного персонажа пьесы "Событие" — что, кстати, не осталось секретом для прототипа, который, если верить дневниковым записям Якова Полонского, во время парижской премьеры "ругался матерно"[3].

В довершение всего некогда высоко ценимый Набоковым писатель стал жертвой злого розыгрыша: 1 апреля 1937 года Набоков, ссылаясь на бунинских друзей, Бориса и Веру Зайцевых, распустил слух, будто "ночью, покамест Бунин кутил, его квартиру ограбили". В русском "Парижске" слухи распространялись молниеносно — наутро к "весьма сердитому Ивану", видимо, едва протрезвевшему после ночного кутежа, прибыли жадные до подробностей репортеры.

Столь же милые розыгрыши homo ludens позволял себе и по отношению к своим американским знакомым. В разгар Второй мировой войны, когда в Тегеране шли переговоры глав антигитлеровской коалиции, он заморочил голову просоветски настроенному профессору Ральфу Перри, конфиденциально сообщив, что, "хотя Сталин, возможно, и присутствует на Тегеранской конференции, подлинный советский вождь — некий Павловский, представляющийся всего лишь переводчиком Сталина и стоящий рядом с ним на всех газетных фотографиях. Павловский командует парадом в России, и Соединенным Штатам придется иметь дело именно с ним"[4].

1. Цит. по: Набоков о Набокове и прочем. — С. 172.
2. Цит. по: Классик без ретуши. — С. 202.
3. Цит. по: *Мельников Н.* Портрет без сходства. — С. 43.
4. *Бойд Б.* Владимир Набоков: американские годы. — М.: Издательство Независимая Газета; СПб.: Симпозиум, 2004. — С. 59.

Для гарвардского профессора Гарри Левина, самолюбивого всезнайки, который старался "создать впечатление, будто он перечитал все книги на свете", Набоков "выдумал некоего автора девятнадцатого века и начал рассказывать о его жизни и книгах, и за весь вечер Левин ни разу не подал вида, что не знает и не читал писателя, оставившего свой след в истории литературы лишь благодаря набоковской импровизации"[1]. Эндрю Филду, своему первому биографу, он совсем заморочил голову признаниями о будто бы имевшейся первой жене и дочери и о том, что В. Д. Набоков был незаконнорожденным сыном Александра II[2].

Нет нужды, да и невозможно в одной статье упомянуть все набоковские розыгрыши и пародии. Давно ли Глеб Струве в своей фундаментальной монографии "Русская литература в изгнании" сетовал на то, что "элементу пародии в творчестве Сирина <...> вообще не было уделено должного внимания, между тем как именно в этом элементе, может быть, кроется ключ ко многому в его творчестве"[3]? С тех пор Владимир Набоков как общепризнанный мастер пародий и мистификаций давно стал предметом дотошного литературоведческого изучения, и тема "Набоков и пародия" стала одной из центральных в набоковедении. Если раньше эмигрантские критики, уловив тематическое или стилистическое сходство, уличали Набокова в ученическом подражании или бездумном копировании модных литературных образцов (этим, в частности, грешили Иванов и Адамович), то теперь истолкователи набоковских текстов, отравленные вульгарным интертекстуализмом à la мадам Кристева, ударились в другую крайность и готовы объявить пародией любую словесную похожесть и тематическую общность. Работы о пародийном начале в творчестве Набокова штампуются, словно бракованные детали на бесконечном конвейере. При этом чаще всего термин "пародия" употребляется предельно неряшливо, и под него подверстываются не только образчики комических стилизаций, критически переосмысляющих литературный источник (коих, как мы убедились, и впрямь немало в набоковских произведениях), но и близкие, хотя и не тождественные пародии приемы, такие как пастиш и перепев (чей сатирический яд выпрыскивается не на имитируемое явление), а заодно — полемические шпильки, запрятанные в набоков-

1. *Бойд Б.* Владимир Набоков: американские годы. — С. 59.
2. Указ. изд. — С. 692.
3. *Струве Г.* Русская литература в изгнании. — Нью-Йорк: Издательство имени Чехова, 1956. — С. 284.

ских текстах, а также архетипические образы и мотивы, без которых вряд ли можно представить художественное произведение. Пожалуй, вразумлять "вульгарных интертекстуалистов", усматривающих "пародию" едва ли не в каждом набоковском образе, – дело безнадежное. Тем более что порой, действительно, чрезвычайно сложно отделить друг от друга собственно пародию, смежные с ней виды стилизации и случайные текстовые совпадения, от которых, вопреки догмам набоковедов-интертекстуалистов, не застрахован даже такой самобытный автор, как Набоков.

Куда интереснее и продуктивнее взглянуть на тему "Набоков и пародия" с другого ракурса, так сказать, с другой стороны баррикады, где "несравненный пародист и pastisheur"[1] сам является объектом пародии и жертвой розыгрышей.

Ведь пародия – не только важнейшая составляющая критической рецепции, орудие литературной борьбы, но и свидетельство популярности автора, его высокого статуса – своего рода знак отличия. По литературным воробьям редко бьют из сатирических пушек. Мишенями для пародистов, как правило, становятся птицы высокого полета: популярные авторы или классики. К их числу, безусловно, относится и писатель, подписывавший свои русскоязычные произведения птичьим псевдонимом Сирин.

Весьма характерно, что большая часть пародий на художественные произведения "величайшего виртуоза стиля"[2] приходится на время его посмертной канонизации. Но обо всем по порядку...

* * *

Первая из известных нам пародий на Набокова (Сирина) появилась вскоре после публикации романа "Защита Лужина", выдвинувшего автора из разряда начинающих и "подающих надежды" на авансцену эмигрантской литературы в качестве "самого законченного, самого значительного и своеобразного из молодых русских писателей, целиком определившихся в Зарубежье" (Г. Струве)[3]. Вот этот пародийный

1. Определение Глеба Струве из его письма Владимиру Маркову от 13 января 1955 г. Цит. по: *Мельников Н.* Портрет без сходства. – С. 76.
2. *Берберова Н.* Набоков и его "Лолита" // Новый журнал. 1959. № 57. С. 112.
3. Цит. по: Классик без ретуши. – С. 181. Примерно в это же время, в начале 1930-х, набирающий популярность Владимир Сирин стал жертвой мистификации критика Германа Хохлова, автора нескольких вдумчивых рецензий на его произведения, в 1934-м вернувшегося в СССР и вскоре сгинувшего в аду сталинских чисток. Согласно воспоминаниям его знакомого, искусствоведа и филолога Николая Андреева, "он вступил в переписку с Си-

текст, напечатанный в берлинской газете “Руль” под псевдонимом Эос[1]:

Из романа “Бегство Болотина”, соч. автора повести “Тройка, семерка, туз”.

...Маленький Болотин поставил левую ногу, согнув ее в колене, на плетеный, в квадратных дырочках, венский стул, чтобы зашнуровать ботинок; концы шнурка были неровны, правый конец был длиннее левого, — ясно было, что левый растрепанный волокнистый шнурок, с которого давно слетел металлический заостренный книзу блестящий наконечник, никак не удастся втащить в последнюю дырочку, окаймленную вделанным в испод кожи металлическим же черным ободком. Несмотря на это, маленький Болотин с ожесточением ткнул шнурок, мусоля его, картаво чертыхаясь и в то же время нащупывая языком луновидное дупло в верхнем с правой стороны глазном зубе...

Прямо скажем, пародия Эоса не блещет художественными достоинствами и выглядит куда бледнее и скучнее оригинала, который должна была творчески преобразить, трансформировать с помощью гротеска, гиперболы, алогизма, бурлеска или травестии. Она лишена критической остроты, той благородной литературной злости, стремящейся выявить и разоблачить самую суть пародируемого явления, без которой не может быть полноценной пародии. По верному замечанию Владимира Новикова, “когда пародист обращает-

риным-Набоковым, прикинувшись женщиной, и писал ему письма, где обсуждал творчество Сирина, и, по-видимому, так того поразил, что Сирин отвечал ему совсем всерьез. Я читал эти письма, и мы очень смеялись: Сирин-Набоков, такой сноб, недотрога, никому не отвечает на письма, не кланяется ни с кем за исключением Ходасевича, и вдруг попался на письма вымышленной особы” (*Андреев Н. Е.* То, что вспоминается. В 2-х тт. — Таллин: 1996. — Т. II. — С. 53). Набоков, судя по всему, так и не раскрыл мистификацию Хохлова. Но узнай он, кем на самом деле была его пражская корреспондентка, непременно оценил бы прихотливую игру судьбы: в 1964 г. набоковский приятель, издатель альманаха “Воздушные пути” Роман Гринберг вступил в переписку с Корнеем Чуковским, выдавая себя за высокооплачиваемую модель, любительницу литературы и поклонницу Набокова. Подробнее об этом см.: *Ржевский Л.* Загадочная корреспондентка Корнея Чуковского // Новый журнал. 1976. № 123. С. 98–164.

1. Руль. 1930. 19 января (№ 2781). С. 8. При републикации текста Р. Тименчик предположил, что его автором был поэт Михаил Генрихович Горлин (1909–1944), берлинский знакомый Набокова, одно время бравший у него уроки просодии, а затем вместе с ним посещавший литературный кружок Айхенвальда–Татариновой. Правда, хоть сколько-нибудь убедительных доказательств в подтверждение своей версии литературовед не предъявил, так что вопрос об авторстве “Бегства Болотина” остается открытым.

ся к произведениям хоть сколько-нибудь талантливым, то попытка дискредитировать их путем эмпирического копирования заранее обречена на неуспех"[1]. Здесь же мы не видим ничего, кроме весьма робкой попытки воспроизвести некоторые особенности набоковской манеры.

Куда более удачным образчиком пародии представляется миниатюра "Зуд", опубликованная в нью-йоркской газете "Новое русское слово" под псевдонимом Ribeus Semper[2]. В ней не только обыгрываются мотивы одного из лучших рассказов Набокова "Лик" и умело переданы особенности его стиля, но и шутливо воспроизводятся штампы эмигрантской набоковианы (точнее, сиринианы): ставшее расхожим к концу тридцатых мнение о "нерусскости" Владимира Сирина, якобы не имеющего ничего общего с традицией отечественной литературы и эпигонски зависимого от модных образов западноевропейской беллетристики, а также выдвинутый и лелеемый Адамовичем и его монпарнасскими клевретами тезис о пустоте и бездуховности этого "наименее русского из всех русских писателей": "...Зуд родился не в России, но, как Венера из морской пены, вышел из чтения Пруста и других знатных иностранцев. Рождение его было процессом мучительным, роды были трудные, и в результате родилось не человеческое существо, но род синтетического продукта, гомункулус, — не тип, а, скажем, эрзац-тип. Самое трудное было придать ему какое-нибудь лицо и заставить говорить и двигаться. Несмотря на все утомительные ухищрения и хлопоты, никакого лица не получилось, на его месте зияла пустота. Ни кислый вкус во рту, ни мигрени, ни муха, конкретно проглоченная Зудом, когда он зевнул, в пятницу в без пяти минут три, как показывали отстающие на три минуты и слегка оцарапанные женские часики, ни все прочие осязательные и конкретные черты делу не помогали. Их обилие свидетельствовало об огромной начитанности, наблюдательности, памяти и настойчивости автора, и все же на месте, где надлежало быть облику Зуда, зияла пустая дыра..."

Сравним эту характеристику Зуда с заклинаниями сиринских зоилов, последовательно обвинявших писателя в том, что он "вымученным, надуманным стилем заглушает убожество мысли и пустоту души"[3]: "Сиринская проза напоминает ки-

1. *Новиков В.* Книга о пародии. — М.: Советский писатель, 1989. — С. 61.
2. Новое русское слово. 1940. 17 октября.
3. *Гарф А.* Литературные пеленки // Новое слово. 1938. 20 марта (№ 12). С. 6.

тайские тени: фон ровный, белый, ничем не возмущенный и не взбаламученный, а на нем в причудливейших узорах сплетаются будто бы люди, будто бы страсти, будто бы судьбы. Попробуйте взглянуть в промежуток, в щелины, в то, что зияет между ними: там ничего нет, там глаз теряется в молочно-белой пустоте...” (Георгий Адамович о романе “Камера обскура”)[1]; “...этот роман, – бесспорно талантливый, – представляет собою апофеоз и предел ‘описательства’, за которым зияет пустота. Ни страстей, ни мыслей...” (Георгий Адамович о романе “Подвиг”)[2]; “Именно какое-то несколько даже утомительное изобилие физиологической жизненности поражает, прежде всего, в Сирине. Все чрезвычайно сочно и красочно, и как-то жирно. Но за этим разлившимся вдаль и вширь половодьем – пустота, не бездна, а плоская пустота, пустота как мель, страшная именно отсутствием глубины” (Владимир Варшавский о романе “Подвиг”)[3]; “В Сирине за необычностью какого-то лунатического зрения как будто ничего не кроется” (Лидия Червинская о пьесе “Событие”)[4].

Подобные совпадения вынуждают согласиться с мнением набоковского биографа, полагавшего, что “Зуд” был написан самим Набоковым – изначально для рукописного журнала “Дни нашей жизни”, выпускавшегося летом 1940 года обитателями дачи историка М. М. Карповича, у которого гостили Набоковы[5].

Таким образом, число прижизненных русскоязычных пародий на Набокова сводится к минимуму, что можно объяснить и скудостью газетно-журнального мира русской эмиграции, после Великой депрессии скукожившегося, словно шагреневая кожа, и отсутствием достойных ему соперников на пародийном поприще, и самой сложностью задачи: высмеять пересмешника, чьи произведения, расшитые россыпью аллюзий и цитат, оснащены многочисленными ловушками и защитными зеркалами.

“Всякая набоковкая книга есть гобелен, сотканный из нитей столь густоцветных и разновидных, что чтение ее требует усердия, по крайней мере, не меньшего, чем тканье”, – справедливо замечал автор забавного квазинабоковедческого опуса “Серебристый свет”, опубликованного в год столет-

1. Цит. по: Классик без ретуши. – С. 196.
2. Указ. изд. – С. 92.
3. Указ. изд. – С. 95.
4. Указ. изд. – С. 174.
5. *Бойд Б.* Владимир Набоков. Американские годы. – С. 22.

него набоковского юбилея[1]. А уж сколько нужно усердия, творческой воли, мастерства, чтобы не только воспроизвести набоковский стиль, с его яркой образностью, музыкальностью, интонационным богатством и словесной роскошью, но и комически преобразить его, не впав при этом в густопсовую пошлость убогого кривлянья (как это получилось у автора "Голубого сала") и не растекшись при этом в претенциозное подражание, что характерно для подавляющего большинства современных авторов, попытавшихся перенаборовить Набокова на арене пародии?

Что и говорить, не всякому, даже весьма даровитому имитатору, под силу спародировать пародиста, уловить в сатирические тенета переимчивого протея, "мираж, ходячий фокус, обман всех пяти чувств".

Набоковские произведения плохо поддаются не только киноинтерпретациям (показательны неудачи таких выдающихся режиссеров, как Стэнли Кубрик и Тони Ричардсон), но и пародийной трансформации. Пытаясь ощипать "Черного Лебедя швейцарско-американской литературы"[2] (так изысканно-иронично именовал русско-американского классика Гор Видал), многие смельчаки-пародисты потерпели фиаско. Здесь стоит вспомнить и "Палисандрию" Саши Соколова, эту, по словам Дональда Бартона Джонсона, "'Лолиту' наоборот"[3], где гумбертовская нимфолепсия довольно неуклюже и навязчиво подменяется геронтофилией, и другую альтернативную версию "Лолиты": отдающий гиньолем роман Эмили Прейгер "Роджер Фишбайт" (1999), в котором нимфетка убивает своего похитителя, и уже упомянутый "Серебристый свет", своеобразный клон "Бледного огня", созданный набоковофилом Джеффом Эдмундсом и отданный в авторство Чарльзу Кинботу.

Эдмундсу (отдадим должное и его переводчику на русский С. Ильину) удалось виртуозно передать набоковскую стилистику – прихотливые переливы извилистых фраз, бисер выразительных деталей, затейливую образность и проч., и проч. Однако его текст далек от высмеивания, травестийного снижения своего литературного прообраза. Это не пародия на "Бледный огонь" (который сам представляет собой автопародию на циклопический комментарий к "Евгению Онегину" и едкую издев-

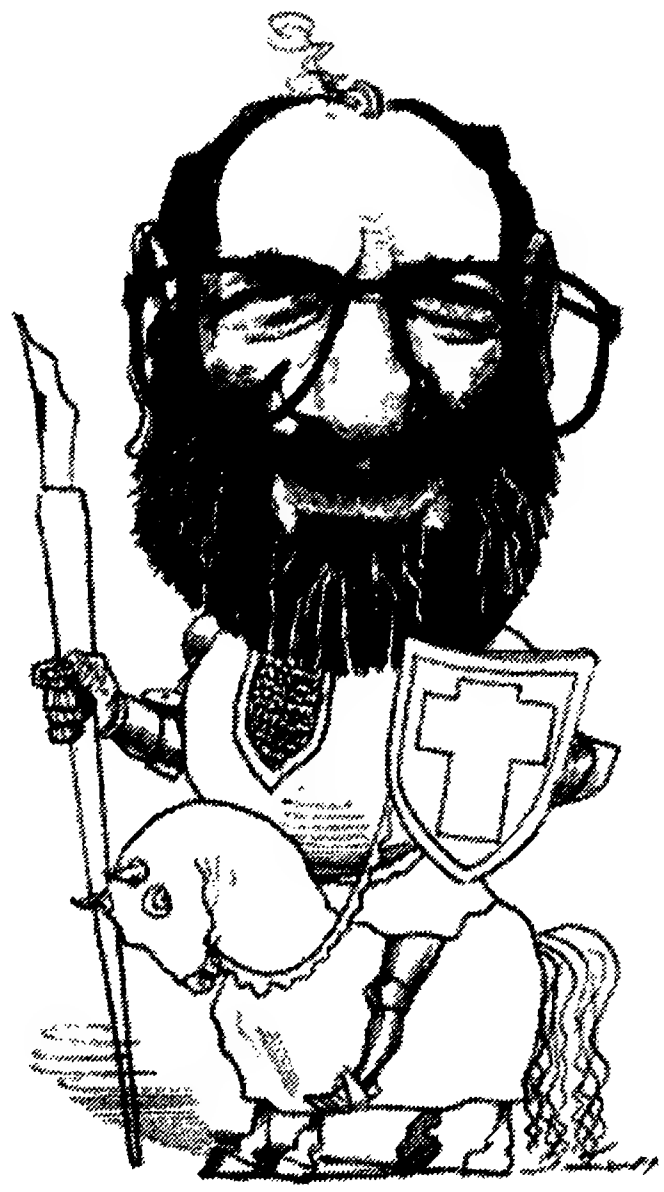
1. Иностранная литература. 1999. № 12. С. 154.
2. Классик без ретуши. – С. 510.
3. *Джонсон Д. Б.* Саша Соколов: литературная биография // Глагол. 1992. № 6. С. 281.

ку над литературоведами, одержимыми "соотносительной манией" и вчитывающими в текст собственные домыслы и вымыслы), а, скорее, *пастиш* (то есть вторичное литературное произведение, имитирующее стиль первоисточника, акцентирующее те или иные черты оригинала без намека на его высмеивание и дискредитацию) и *перепев* (имитация высокого литературного образца, цель которой — представить в комическом свете не его, а другие литературные и внелитературные явления): пастиш — в псевдомемуарных главах, где повествователь рассказывает о своих тщетных попытках вступить в контакт с Набоковым во время спиритического сеанса; перепев — в главах, стилизованных под набоковедческие опусы, с их нудной каталогизацией мотивов и расщеплением ажурной ткани набоковской прозы на "повествовательные уровни", "коды", аллюзии (из которых большая часть порождена интерпретатором). Воспроизводя стилистические особенности и сюжетные мотивы "Бледного огня", автор "Серебристого света" пародирует не Набокова, а его профессиональных препараторов: плоских педантов, любителей "странных сближений", которые в каждой фразе, в каждом слове, в каждой запятой набоковских текстов видят "интертекстуальные связи", "параллели", "отсылы", "отголоски" и т. п.

Общеизвестно, что настоящая пародия строится по принципу метонимии, показывая общее через частное, воплощая большое в малом. "Пародии противопоказаны пространность и многословие. Важный ее закон — тяготение к спрессованности, лаконизму. За счет своей краткости пародия стремится получить моральное преимущество перед объектом или, по крайней мере, не сплоховать на его фоне"[1].

В отличие от Эдмундса и других, менее умелых имитаторов, этот закон учел Умберто Эко, автор "Ниты" (1959), одной из немногих удачных пародий на Набокова, созданных при его жизни (она вошла в сборник 1963 года "Diario Minimo"). Задолго до Саши Соколова Эко выворачивает наизнанку тему набоковского шедевра: его протагонист Умберто Умберто пылает страстью не к нимфеткам, а к "паркеткам" (от "парки" — богини судьбы, которых древние римляне изображали в образе старух): "Я любил, друг мой читатель, безумно и прилежно любил тех, кого ты рассеянно-недоуменно назвал бы 'старухами'. Каждой клеткой своей юной плоти я желал этих

1. *Новиков В.* Книга о пародии. — С. 37.



Шарж Дэвида Левина

созданий, уже отмеченных суровыми приметами неумолимого возраста, согбенных под роковым грузом своих восьмидесяти лет, безжалостно подточенных желанным для меня призраком старости"..."[1].

Поскольку текст "Нониты" выдается за фрагмент тюремной исповеди, рукопись которой уцелела частично, — "прочее съели мыши", — Эко счастливо избежал нудного многословия. Продемонстрировав свои недюжинные способности стилевой мимикрии, воссоздав приметы взволнованного монолога набоковского нимфолепта — со всеми его риторическими пируэтами и завитушками, он оборвал повествование сразу после встречи Умберто с Нонитой, дряхлой старухой "с лицом далекой парки из пренатального шока, похотливо обрамленным распущенными седыми волосами, с одеревенелым телом, острые углы которого подчеркивало поношенное черное платьишко". О последовавших событиях — дерзком похищении Нониты пылким любовником, который "везет ее в богадельню, где ночью овладевает ею, обнаруживая, между прочим, что это не первый любовный опыт старухи", о головокружительных странствиях сладкой парочки по дорогам Пьемонта, наконец, о бегстве коварной паркетки с незнакомцем, — обо всех перипетиях сюжета сообщается веселой скороговоркой во второй части пародийной миниатюры от лица публикатора рукописи.

Но если юмористическая миниатюра Эко стала доступной русскому читателю уже в начале девяностых[2], то о другой удачной пародии на Набокова, опубликованной при его жизни знают, пожалуй, даже не все набоковеды (по крайней мере, российского разлива).

1. Здесь и далее текст "Нониты" в переводе Эллы Кушкиной цит. по: Классик без ретуши. — С. 626–629.
2. До перевода "Нониты" Э. Кушкиной, впервые опубликованного в журнале "Звезда" (1998. № 3. С. 190–194), в "Литературной газете" была напечатана версия Н. Вышинского ("А вот и моя бабушка!" Автор "Имени розы" пародирует "Лолиту" (1992. № 26 (24 апреля). С. 6).

Речь идет о пародии, транспонированной в статью американского филолога Питера Лубина “Пустячки и безделушки”[1] из юбилейного сборника, который в качестве запоздалого подарка к семидесятилетию Набокова был выпущен Альфредом Аппелем и Чарльзом Ньюманом. Помимо мемуарных очерков, величальных заметок и серьезных литературоведческих работ, “фестшрифт” был инкрустирован шуточными стихотворениями и пародиями. Среди них самой остроумной, безусловно, является пародия Лубина “Фрагменты интервью”, с добродушным юмором передразнивающая многочисленные интервью Набокова, в которых он раскрывал свое творческое кредо и излагал благоговейным интервьюерам “твердые суждения” о любимых и нелюбимых писателях, об искусстве и политике, шахматах и энтомологии. Недаром она удостоилась похвал взыскательного юбиляра. “...Пародия на интервью с Набоковым (хотя и чуть более изысканное и радужное интервью, чем могли быть мои собственные ответы) достаточно убедительна, чтобы увлечь читателей”, — так “великий и несравненный пародист” оценил ее в “Юбилейных заметках”[2].

Помимо того что в пародии Лубина (посвятившего свою статью вдумчивому анализу набоковского стиля) искусно имитируется стилевой маньеризм “позднего Набокова” — его пристрастие к экзотизмам и сциентизмам, двуязычным, зачастую непереводимым каламбурам, паронимам, его изощренную звуковую инструментовку фразы, его “своенравный синтаксис”, “склонность распространять и заполнять предложения до предельной полноты и длины, заталкивать в чулок предложения неимоверное множество вставных фраз и придаточных”[3], — в ней создается комичный образ высокомерного небожителя и сноба — “косного чудака-реакционера, отпугивающего и своими взглядами, и даже своей лексикой” (Джин Белл)[4], — каким выставлял себя в интервью обитатель “Монтрё-палас”. (Гораздо позже, когда многогранное и многоцветное творчество Набокова стало активно осваиваться русскими писателями, его монохромная публичная персона была изящно спародирована в рассказе Сергея

1. *Lubin P.* Kickshaws and Motley // TriQuarterly. 1970. № 17 (Winter), p. 187–208.
2. Цит. по: Набоков о Набокове. — С. 595.
3. Отмеченная Набоковым особенность прустовского стиля, характерная и для него самого. См.: *Набоков В. В.* Лекции по зарубежной литературе. — М.: Независимая газета, 1998. — С. 282.
4. *Белл Дж.* Мир сверкающих поверхностей. — Цит. по: Классик без ретуши. — С. 515.

Довлатова “Жизнь коротка” (1988) и романе Юрия Буйды “Ермо” (1996)).

Но прежде чем предложить вам полакомиться изысканным пародийным яством, которое, надеюсь, за давностью лет не утратило свежести и аромата и не поблекло при переводе на язык родных осин, позвольте в качестве аперитива попотчевать вас еще одной пародией, которая, правда, вызвала у монтрёйского старца не самые приятные эмоции.

* * *

На страницах этого журнала мне доводилось писать о полной драматизма истории дружбы-вражды Владимира Набокова и американского критика Эдмунда Уилсона, которая запечатлелась в их многолетней переписке и увенчалась публичным разрывом, после того как “великий мандарин американской прозы” (М. Скэммел)[1] прочел посвященный ему отрывок уилсоновского дневника, вошедшего в книгу “На севере штата Нью-Йорк. Записки и воспоминания” (1971), пришел в ярость от нелицеприятных характеристик, данных автором ему и его жене, и опубликовал гневное письмо в книжном обозрении “Нью-Йорк Таймс”, в котором обвинил бывшего друга в клевете, “в пошлости пополам с наивностью”, а себя выставил “жертвой сомнительных догадок, невежества и измышлений”[2]

Опытный полемист, поднаторевший во многих газетно-журнальных баталиях, в том числе и в яростных схватках с Набоковым по поводу его комментированного перевода “Евгения Онегина”, Уилсон в то время уже был тяжело болен, а потому ответил лаконично, процитировав укоризненную фразу, с которой Эдгар Дега некогда обратился к Джеймсу Уистлеру: “Ты ведешь себя так, как будто у тебя нет таланта”.

На этой драматичной ноте переписка, а заодно и многолетние отношения двух незаурядных личностей, казалось бы, окончательно оборвались. Но (как это часто бывает в романах) судьба изготовила для них фарсовую коду.

Едва улеглись страсти, как в одном из январских выпусков “Нью-Йорк Таймс”, в разделе “Письма”, под заголовком “Набоков против Уилсона” были опубликованы два любопытных отклика на едва не разгоревшуюся литературную войну.

1. Цит. по: Иностранная литература. 2000. № 7. С. 277.
2. New York Times Book Review. 1971. November 7, p. 49. Цит. по: “Хороший писатель — это в первую очередь волшебник...” Из переписки Владимира Набокова и Эдмунда Уилсона. Составление и перевод с английского А. Ливерганта; Вступительная статья и комментарии Н. Мельникова // Иностранная литература. 2010. № 1. С. 219–220.

Первое письмо — на имя редактора книжного обозрения "Нью-Йорк Таймс" — принадлежало некоему Дирону Фридерсу из Вашингтона. Он писал следующее:

Неприязнь в отношениях между Эдмундом Уилсоном и Владимиром Набоковым достигла кульминации в их невероятном обмене письмами на страницах нашей газеты, что вынуждает объективного обозревателя нравов ввязаться в драку.

Когда в 1950-х Уилсон посетил Набоковых в Итаке (штат Нью-Йорк), я был занят исследованиями в Корнельском университете на тему "Дружеские связи в литературе 1920-х годов". Как бывший студент Набокова и доверенное лицо многих членов русского и английского отделений я смог собрать за время моего пребывания в Итаке заслуживающие доверия сведения о "дружбе" этих дружественных антагонистов. Позвольте мне поделиться некоторыми из них.

Враждебность Набокова к Уилсону, периодически проявляющаяся на протяжении последних двадцати лет, по всей вероятности, вызвана двумя происшествиями. Первое относится к тому времени, когда Набоков делал первые шаги как англоязычный писатель. Он о чем-то попросил у Уилсона совета и был поражен, когда вместо письма получил хорошо всем известную открытку с напечатанным текстом, который начинается с фразы "Эдмунд Уилсон сожалеет...". В литературных кругах на протяжении многих лет эту открытку Банни[1] воспринимали как шутку, но Набоков так и не простил ее Уилсону.

1. Bunny (зайка, лапка, детка) — шутливое прозвище, в детстве данное Эдмунду Уилсону его матушкой и затем приклеившееся к нему на всю жизнь: его называли так все друзья и приятели, в том числе и "Volodya Nabokov". При переводе переписки Набокова–Уилсона это скользкое, многозначное словечко стало камнем преткновения. Глеб Струве, хорошо знавший обоих корреспондентов (четвертая жена Уилсона приходилась ему троюродной сестрой), в рецензии на первое издание набоковско-уилсоновской переписки передает "Dear Bunny" как "Дорогой Зайчик" (*Струве Г.* Владимир Набоков и Эдмунд Уилсон // Новое русское слово. 1980. 17 февраля. С. 5). Александр Ливергант в журнальной публикации эпистолярного романа Набокова–Уилсона (Иностранная литература. 2010. № 1. С. 80–250) предпочел "Зайчику" "Кролика". Жертва интертекстуалистских теорий Сергей Таск, переводя письма Набокова Уилсону (Звезда. 1996. № 11. С. 116–133), усмотрел в материнском прозвище аллюзию на героя из "Сказок дядюшки Римуса" и превратил "Bunny" в "Братца Кролика". В недавно вышедшем книжном издании переписки Набокова–Уилсона "Братца Кролика" заменил совсем уж неуместный "Пончик" (*Набоков В., Уилсон Э.* Дорогой Пончик. Дорогой Володя: Переписка. 1940–1971 / Пер. С. Таска. — М.: Колибри, 2013). Полагаю, охочий до аллюзий переводчик явно переоценил эрудицию мадам Уилсон: по ее же признанию, сделанному в беседе с уже взрослым сыном, пухлый кареглазый карапуз Эдмунд был похож на булочку с изюмом, "looked just like a plum-bun" (*Wilson E.* A Prelude: Landscapes, Characters, and Conversations from the Earlier Years of My Life. — NY: Farrar, Straus and Giroux, 1967, p. 43). Частичное созвучие "plum-*bun* — *Bun*ny", смутные звуко-

Вторым происшествием был "инцидент с сачком", подробности которого известны главном образом в пределах корнельского кампуса. Согласно моим источникам, Уилсон, когда гостил у Набоковых (визит этот подробно описан в книге "На севере штата..."), попал ногой в любимый набоковский сачок и так разорвал, что починить его уже было невозможно. Хотя о намерениях Уилсона никогда нельзя говорить определенно, Набоков и по сей день уверен в том, что инцидент был не случайным и демонстрировал презрение к его общеизвестному хобби. (Уилсон однажды высказался: "Писателю не подобает охотиться на бабочек".)

Что же касается вопроса, всегда ли Вера ревновала мужа к его друзьям, то я убежден: тут позиция Уилсона слегка отдает паранойей. После своего визита в Итаку он пишет в дневнике, что Вера становилась враждебной к тем гостям, кто спорил с Владимиром, и что ее раздражала необходимость сервировать Уилсону ужин за отдельным столом — из-за его подагры.

До меня дошли разные версии этого эпизода — все они противоречат тому, что утверждает Уилсон. Передают, например, что Вера сказала соседу: "Я знаю, что подагра может причинять мучительную боль, и мне действительно жаль, что Эдмунд вынужден есть отдельно ото всех. Вероятно, из-за этого он чувствует себя отчужденно". Разумеется, это непохоже на женщину, которая ревнует к литературным друзьям мужа.

Газетное пространство не позволяет мне обсудить набоковско-уилсоновские споры об английской и русской просодии, этимологии и произношении. Однако я хочу затронуть смежный пункт. В книге "На севере штата..." Банни замечает, что у него "вызывает отвращение" склонность Набокова к Schadenfreude[1]. Будучи абсолютно уверенным в едва ли не маниакальной набоковской враждебности к теориям Фрейда, Уилсон, как правило, искажал смысл этого слова в присутствии Набокова и делал вид, будто оно значит

вые и зрительные ассоциации, зароившиеся в голове мадам Уилсон, по всей видимости, и породили комичную эпиклесу, не имеющую никакого отношения ни к герою Харриса, ни, тем более, к коротышке из трилогии Николая Носова. Не менее странно предложение одного пылкого набокофила (скромно именующего себя "ведущим исследователем творчества Набокова") передавать фамильярно-ласкательное "Bunny" чопорно-бесцветными словосочетаниями "Дорогой Эдмунд" и "дорогой другъ" — на том основании, что эти русские вставки периодически встречаются в набоковских письмах. Представим только, что мы переводим воспоминания Уилсона, скажем, главу о детских годах, и вот его матушка, или кто-нибудь из родственников, или какой-нибудь одноклассник церемонно обращается к нему: "Дорогой друг...".

1. Злорадству (*нем.*). Здесь цитируется следующее место из уилсоновской книги: "...После наших встреч у меня всегда остается какой-то неприятный осадок. Мотив Schadenfreude, постоянно присутствующий в его книгах, вызывает у меня отвращение" (цит. по: *Уилсон Э.* Визит в Итаку / Пер. А. Ливерганта // Иностранная литература. 2010. № 1. С. 217).

“отвращение к Фрейду”, намек, от которого Набоков не мог не передернуться. То есть Уилсон сам хотя бы частично повинен в склонности к Schadenfreude. Как бы ни оценивать достоинство уилсоновского ответа в вышеупомянутой переписке с Набоковым, я не могу поверить, чтобы Набоков когда-нибудь опустился до того, что на запрос исследователя отделался бы отпечатанной карточкой с зачином: “Владимир Набоков сожалеет...”[1].

Вслед за письмом “бывшего ученика Набокова”, пародийно обыгравшего набоковский фрагмент “На севере штата...”, шло письмо еще одного “корнельца” с еще более фарсовым именем, напоминавшим те “оскорбительные псевдонимы”, которые ехидный похититель Лолиты оставлял в гостиничных книгах с тем, чтобы подразнить разгоряченного тщетными розысками Гумберта Гумберта:

Как бывший аспирант Корнельского университета, которого посылали за лекарствами от подагры, когда Уилсон гостил у Набокова, я могу немного осветить подробности их прискорбной ссоры.

В книге “На севере штата...” Уилсон вспоминает “абсурдное” утверждение Набокова, которое он сделал, находясь в “полусумрачном состоянии”, будто Мериме не знал русского языка, а Тургенев едва понимал по-английски. Однажды, покидая набоковский дом, я услышал, как профессор вопит (предположительно у входа в уилсоновскую комнату): “Фрейд не знал румынского! Микеланджело был гетеросексуальным! У Достоевского был детский почерк! Наполеон до безумия любил шнитт-лук!” (Ответ Уилсона не был слышен.)

Два дня спустя, когда я прибыл с очередной доставкой, то увидел в прихожей Морриса Бишопа, а рядом Владимира Набокова, показывавшего порванный сачок для ловли бабочек. “Уверен, что вы не должны подозревать Уилсона в этом просто потому, что вы встретили не тот поезд”, – сказал Бишоп.

Набоков, явно расстроенный, ответил: “У нас были серьезные расхождения во взглядах на русскую просодию... В таком состоянии он не может передвигаться... А еще он привез с собой маникюрные ножницы. Впрочем, я не уверен”.

Марк Хамбург, Нью-Йорк[2].

Судя по всему, автор (или авторы) этих потешных посланий, написанных якобы в поддержку обиженного Набокова,

1. Nabokov vs. Wilson // New York Times Book Review. 1972. January 16, p. 40.
2. Nabokov vs. Wilson. – P. 40.

были в курсе сложных отношений между двумя литераторами и к тому же внимательно прочитали то место “На севере штата...”, где Уилсон подробно описывает свое пребывание в гостях у Набоковых в мае 1957 года: сообщает о том, что из-за приступа подагры был вынужден ужинать за отдельным столом, “задрав ногу”, и что “Веру это немного покоробило”; передает содержание жарких споров на литературные темы, во время которых собеседники “обменивались ударами, точно игроки в теннис”; сетует на то, что “Володя постоянно противоречит собеседнику”, а “Вера всегда на стороне Володи; чувствуется, что она буквально дрожит от гнева, если в ее присутствии пускаешься с ним в спор”; с недоумением и досадой пересказывает “совершенно абсурдные” заявления своего оппонента, утверждавшего, “причем безо всяких доказательств и вопреки хорошо известным фактам, что Мериме не знал русского языка, Тургенев же знал английский настолько плохо, что с трудом разбирал газетный текст”. “Завиральные теории” Набокова, по мнению Уилсона, вызваны непомерным тщеславием, тем, что “он возомнил себя единственным писателем в истории, который одинаково безупречно владеет русским, английским и французским”[1].

Знал пародист и о карточке с перечнем докучливых просьб, которой Уилсон отвечал на письма одолевавших его поклонников, жаждущих интервью репортеров, диссертантов, начинающих литераторов — всех, кто отрывал от работы или пытался вытащить на какое-нибудь общественное мероприятие:

> Эдмунд Уилсон сожалеет, что не может:
> Читать рукописи,
> Писать книги и статьи на заказ,
> Писать предисловия и введения,
> Делать публичные заявления,
> Выполнять любого рода редакторскую работу,
> Судить литературные конкурсы,
> Давать интервью,
> Вести образовательные курсы,
> Читать лекции,
> Ораторствовать и вести беседы
> на радио и телевидении,
> Принимать участие в писательских конференциях,

1. Цит. по: Иностранная литература. 2010. № 1. С. 214–215.

Шарж Ричарда Уилсона

Отвечать на анкеты,
Содействовать работе всяческих симпозиумов и круглых столов,
Содействовать продаже рукописей,
Дарить экземпляры своих книг библиотекам,
Подписывать свои книги незнакомым людям,
Соглашаться на использование своего имени на фирменных бланках,
Давать кому-либо сведения о себе,
Делиться собственными фотографиями,
Делиться мнениями по литературным и другим вопросам[1].

Другое дело, что Уилсон, долгое время игравший при Набокове роль литературного импресарио и покровителя, вряд ли одаривал его такой карточкой и, уж, конечно, не кромсал любимый набоковский сачок — о чем и поспешил сообщить в редакцию "Нью-Йорк Таймс", клюнув тем самым на пародийную приманку:

В письмах за подписями Дирона Фридерса и Марка Хамбурга, претендующих на то, чтобы объяснить мои разногласия с Владимиром Набоковым, нет ни слова правды.

Когда Набоков просил меня порекомендовать ему английских писателей XIX века для его курса лекций в Корнеле, я предложил ему включить туда "Мэнсфилд-парк" Джейн Остин и "Холодный дом" Диккенса. Он прочел эти вещи и впоследствии высказался о них одобрительно.

Не думаю, что в его присутствии я когда-либо говорил о Schadenfreude и, конечно же, никогда не считал, что это слово имеет отношение к Фрейду.

1. Цит. по: *Meyers J.* Edmund Wilson. A Biography. — Boston, NY.: Houghton Miffin Company, 1995, p. 248–249.

Не помню, что даже видел его сачки для ловли бабочек и когда-либо осуждал его занятия лепидоптерологией. Напротив, мне нравилось, когда он рассказывал о них.

Нельзя говорить о том, что он встретил не тот поезд, поскольку я приехал в Итаку на машине.

Подозреваю, что оба этих письма написал сам Набоков, который, вероятно, временами не знает, чем бы развлечься у себя в Монтрё. И не было между нами никакой "неприязни" — за исключением того случая с моим отзывом о его переводе "Евгения Онегина", хотя позже он прислал мне дружеское письмо[1].

В отличие от Уилсона, всерьез принявшегося оправдываться перед неведомыми шутниками, Набоков, сам опытный мистификатор, сразу понял, что имеет дело с розыгрышем, и потому его письмо, адресованное редактору книжного обозрения "Нью-Йорк Таймс" Джону Леонарду, дышит патрицианским презрением:

Вопросы моих озадаченных корреспондентов вынуждают меня с некоторым опозданием отреагировать на безвкусную пародию (притворившуюся письмами в редакцию газеты) "Дирона Фридерса" и "Марка Хамбурга", которые, я полагаю, не что иное, как вымышленные имена одного или нескольких шаловливых старшекурсников, судя по стилю и глуповатым шуткам.

Шарж Исмаэля Ролдана

Полагаю, Сэр, вы сослужите хорошую службу г-ну Уилсону, и истине заодно, если укажете в следующем номере, что ни он, ни я не сочиняли этих писем.

Могу добавить, что я обнаружил в них лишь один приятный момент, а именно предположение, что выражение "Schadenfreude", использованное Уилсоном для моей характеристики, в действительности означает "отвращение к Фрейду" — но это не острословие, а высшая справедливость поэзии[2].

1. Nabokov vs. Wilson (Concluded) // New York Times Book Review. 1972. February 6, p. 42.
2. Nabokov vs. Wilson (Concluded) // New York Times Book Review. 1972. March 5, p. 14.

Вполне очевидно, что Набоков вовсе не является главным объектом осмеяния в письмах Дирона Фридерса и Марка Хамбурга. Комично перелицовывая фрагмент уилсоновского дневника, они — с упреждением — пародируют уже зарождавшуюся с начала семидесятых годов специфическую разновидность набоковианы: исполненные благоговения воспоминания восторженных набоковолюбов о встречах с великим писателем (подобные мемуарные очерки уже были представлены в набоковском "фестшрифте"), а заодно — и сам жанр "Письма в редакцию", столь распространенный в англоязычной прессе той баснословной до-интернетской эры, не знавшей ни блогов, ни социальных сетей.

Заметим, что уже в юбилейном сборнике 1970 года, наряду с воспоминаниями Нины Берберовой, Герберта Голда, Люси Леон Ноэль, Росса Вецстеона и Морриса Бишопа, были напечатаны дурашливые квазимемуары американского прозаика Стэнли Элкина "Три встречи"[1], рассказывающие о знакомстве с "Uncle Volodya" возле зоопарка в Кентукки, а затем — о случайной встрече с ним в Венесуэле, после которой "мемуарист" и его приятель отправились на поиски редких бабочек по берегам Ориноко. В благодарственных "Юбилейных заметках" юбиляр довольно благожелательно отозвался о "Трех встречах": "Несколько абзацев в 'Трех встречах' г-на Элкина, пародии на тему 'Я помню...', необычайно смешны, как, например, фарсовое разнообразие повторов или случайное замечание о 'прелестных яйцеобразных формах', которые он и я встретили в 'экспедиции вверх по Ориноко'. А наша третья встреча — просто взрыв смеха"[2].

Однако повод для пародии Фридерса–Хамбурга — окончательный, да еще и публичный разрыв многолетних отношений с былым покровителем и другом-соперником — был настолько болезненным для Набокова, что этот розыгрыш явно показался ему оскорбительно неуместным. Во всяком случае, одобрительным его отзыв никак не назовешь. О том, что "безвкусная пародия" задела за живое "великого В. Н.", свидетельствует и тот факт, что, готовя к печати книгу "нон-фикшн" "Твердые суждения", предназначенную "для заполнения пустот в стенах его прочной, как крепость репутации"[3], он вклю-

1. *Elkin S.* Three meetings // TriQuarterly. 1970. № 17 (Winter), p. 261–265.
2. Цит. по: Набоков о Набокове. С. 599. Кстати, свою третью встречу с "Uncle Volodya" или "Boko" простодушный мемуарист Элкина не описывает: его "воспоминания" обрываются на фразе "И это была наша вторая встреча".
3. *Шифф С.* Вера (Миссис Владимир Набоков) / Пер. О. Кириченко. — М.: Издательство Независимая Газета. — С. 463.

чил послание Джону Леонарду в раздел "Письма редакторам", где были собраны его наиболее "ударные" публичные письма.

Впрочем, авторы "безвкусной пародии" и Джон Леонард (который, как минимум, был в курсе, кем были шаловливые мистификаторы) решили оставить последнее слово за собой. Рядом с эпистолой раздосадованного мэтра в мартовском номере "Нью-Йорк Таймс" было напечатано письмо неугомонного Марка Хамбурга, в котором этот пародийный фантом отстаивал свое право на существование:

Редактору:

Хотя это может быть справедливо по отношению к Дирону Фридерсу, Эдмунд Уилсон – а теперь и Владимир Набоков – ошибаются, утверждая, что я не существую.

Позвольте мне перечислить для идентификации собственные имена из Корнеля пятидесятых: "Джимсплейс"[1] (бар), "Голландия" – Уиллард Стрейт[2], "Лысый" Уилсон, исследователь Джона Донна; Голдуин-Смит[3]; Джордж и, наконец, кампус Вилла Грейс Верезано.

Моррис Бишоп также может подтвердить, что в то время я был аспирантом.

В своем письме г-н Уилсон не отрицает того, что он пользовался лекарствами от подагры, которые я приносил из местной аптеки. Конечно, я весьма польщен, что Уилсон (мой давний кумир) думает, будто мое письмо написано Набоковым (перед которым я благоговею).

Марк Хамбург, Нью-Йорк[4]

После письма следовала характерная ремарка "От редакции":

Итак, мы завершаем публикацию. Или, как однажды заметил Карузо, La commedia è finita![5]

1. Так, действительно, назывался ресторан в Итаке, который в середине 1960-х был переименован в "Чаптерхаус" (см.: *Olesiuk.* – *S.* 48. Beers for a Friday // Cornell Daily Sun. 2007. September 21).
2. Уиллард Стрейт-холл – здание в кампусе Корнельского университета, построенное в 1925 г. и названное в честь американского финансиста, издателя и дипломата Уилларда Стрейта (1880–1918).
3. Голдуин Смит-холл – здание Корнельского кампуса, построенное в 1892 г. и названое в честь историка Голдуина Смита (1823–1910).
4. New York Times Book Review. 1972. March 5, p. 14.
5. Ibid.

Реальные приметы Корнельского кампуса, указанные Хамбургом, наводят на мысль, что под его маской действительно прятался кто-то из бывших учеников или университетских коллег Набокова. Был ли это выпускник Корнеля и редактор набоковского "фестшрифта" Альфред Аппель, решивший продолжить пародийный почин Элкина, или другой "корнелец", писатель Герберт Голд, который сменил Набокова на посту профессора литературы и который "еще с 1958 года, с их первого знакомства в Корнеле, сочинял и рассказывал о нем анекдоты"[1], или профессор романской филологии Моррис Бишоп, которому Набоков был обязан своим местом в Корнеле, — об этом мы можем только гадать. Во всяком случае, мой запрос, отправленный на сайт сообщества любителей и исследователей Набокова "Nabokov-L", остался без ответа. Джон Леонард, который наверняка мог бы удовлетворить наше любопытство и рассказать, кто был автором "la commedia", умер в 2009 году, и теперь с ним можно связаться разве что посредством спиритического сеанса.

Да и не все ли нам равно, кто в очередной раз вступил в пародийный поединок с великим пересмешником и иллюзионистом, всегда ставившим изысканный обман выше низменной правды фактов, вымысел — выше реальности, которую он всегда считал чем-то сомнительным, недостижимым, поскольку для него она была лишь "бесконечной последовательностью шагов, уровней восприятия, ложных днищ"?

"Пародия всегда сопутствует истинной поэзии", — устами своего героя утверждал Набоков. И я уверен, что отбрасываемая им шутовская тень подражаний и стилизаций, равно как и шлейф мистификаций, тянувшийся за ним при жизни, еще долго будут атрибутами его посмертной славы.

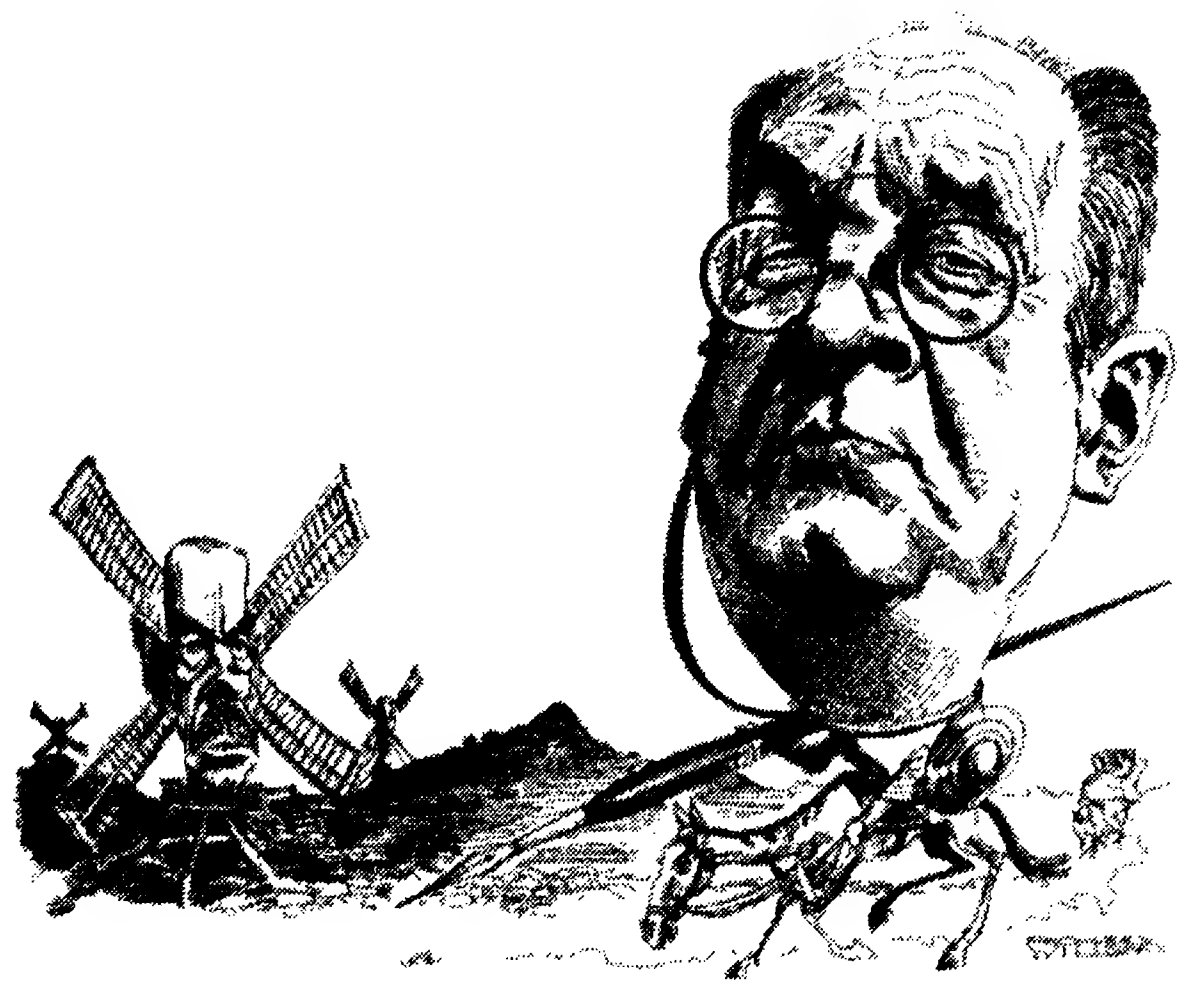
Июль 2015 г., Москва

1. *Бойд Б.* Цит. соч. — С. 612.

Питер Лубин
Известный писатель и глуповатый интервьюер

Фрагменты интервью

Перевод с английского и комментарии Николая Мельникова



Шарж Ричарда Уилсона

Для многих читателей вы – мудрец, разбирающийся во всем на свете, даже в политике. Не кажется ли вам, что, несмотря на ваши дискламации[1], вы можете оказывать на читателей существенное влияние не только как художник?

Нет, нет. По крайней мере, я надеюсь, что нет. Как я уже говорил, "Je ne suis pas un petit télégraphiste"[2]. Я не обращаю внимания на баки с метафизическим бельем. Я обхожу стороной музей больших идей (в котором ты словно прогуливаешься по Университетской авеню). Меня нельзя привязать к какому-либо культу организованного псевдомыслия. Меня не влечет к юродивым. Я не восторгаюсь величием ведических откровений Вишнулэнда. Затхлые истины средиземноморских глубин оставляют меня равнодушным. И нет никакого политического подтекста в том, что заглавие моего послед-

© Николай Мельников. Перевод, комментарии, 2016

1. Юридический термин, которым обозначается отказ участников правовых отношений от неких прав или возможностей; здесь — публичный отказ, отречение.
2. "Я вовсе не маленький телеграфист" (*франц.*).

него русского романа транслитерируется “DAR”, а последний английский роман называется “ADA”[1].

Сомневаюсь, что если не в искусстве, то в своей жизни вы можете настолько безоговорочно отделять себя от текущих событий.

Но я и не делаю этого. Я прекрасно осознаю достоинства американского государства, не говоря уже о том очевидном факте, что оно хранит всех нас от участи быть прихлопнутыми прямо на ножке ядерного гриба. Я был всецело увлечен астральными подвигами отважных парней-астронавтов, которые опустились в зоне низкого альбедо[2] на дно Моря Спокойствия, чье название столь восхитительно — самое загадочное и благозвучное среди названий других лунных морей. И я понимаю необходимость решать такие тернистые проблемы, как индустриальный меланизм[3] или последний переворот в Кумквейте. Но общественные движения, манифесты, образцовые мэры образцовых городов — эти аспекты жизни меня не интересуют.

А что вы скажете о религии? В вашей автобиографии упоминаются обряды русской православной церкви. В комментарии “Бледного огня”[4] вы отсылаете к “бесчисленному множеству мыслителей и поэтов, коих свобода разума скорее скреплялась Верой, чем сковывалась ею на протяжении всей творческой деятельности человечества”[5].

1. Здесь обыгрываются аббревиатуры названий общественных организаций США: консервативной “Дочери американской революции” (“Daughters of the American Revolution”) и прогрессистской “Американцы за демократическое действие” (“Americans for Democratic Action”).
2. Альбе́до (от *лат.* albus — белый) — характеристика отражательной способности какой-либо поверхности материальных тел. В астрономии это понятие наиболее широко используется как важная характеристика планет, спутников планет и астероидов.
3. Меланизм — термин, означающий преимущественное распространение темноокрашенных особей в популяции; выражением “индустриальный меланизм” обозначается процесс естественного отбора меланистических форм животных и насекомых в местах с интенсивным развитием промышленности (например, возникновение и распространение темных форм бабочек, березовых пядениц, в заводской местности). Если вспомнить о нетритянских волнениях, то и дело вспыхивавших в США в конце 1960-х, то замечание “известного писателя” окрашивается в тона черного юмора.
4. Название набоковского литературного кентавра “Pale Fire” (1962), построенного как комментированное издание поэмы вымышленного поэта Джона Шейда, в переложении В. Е. Набоковой передается как “Бледный огонь” (1983), а в переводе С. Б. Ильина и А. В. Глебовской как “Бледное пламя” (1991, 1997); учитывая цитатный характер заглавия, отсылающего к шекспировской трагедии “Тимон Афинский” (IV, 3), правильнее было бы переводить его как “Бледный свет”, однако здесь будет использован наиболее распространенный среди набоковедов вариант.
5. Комментарий к 101-й строке поэмы Джона Шейда дается в переводе С. Б. Ильина (*Набоков В.* Собр. соч. в 5-ти тт. — Т. 3. — СПб.: Симпозиум, 1997. — С. 380).

В самой поэме вы раскрываете религиозное чувство тайны, когда пишете: "This life may be a rough draft of the next / To which we have the footnotes, not the text"[1].

О, в России, в годы моей юности, я время от времени захаживал в церковь, главным образом из-за зрительных и слуховых впечатлений: иконы, седобородые священники, медленное покачивание кадила, мелизматичные женские причитания. Что же касается более суровых предложений других конфессий, то я превосходно могу творить безо всякой веры. В конце концов, вовсе не обязательно путешествовать по Дантовым кругам, чтобы по достоинству оценить его далеко не лаконичные стихи. Я обожаю нежных мадонн и хрупких ангелов. В этом отношении я убежденный омнист[2]. Но в остальном — обязательное прослушивание с безупречным благоговением зачитанных выдержек из Его позднейшего сочинения (Рим: Человек Божий), скука и суета богослужения, облатки — ко всему этому я равнодушен. Предпочитаю уважать волю анонимного донора бытия.

Вы писали, что "поэты не убивают"[3] *и "Убийца всегда не полноценнее жертвы"*[4]*. В "Отчаянии", "Лолите", "Бледном огне" и в "Приглашении на казнь" вы открыто выступаете против человекоубийства. Не кажется ли вам, что ваши воззрения на мораль неизбежно одухотворяют ваши романы? Что вы скажете о глобальной проблеме Добра и Зла в современной литературе?*

Никогда об этом не думаю. Как читатель я никогда не жаловал целомудренные книжки для подростков г-жи Чарской и викторианских романистов моего детства. И меня не ввергает в экстаз проблема зла, которая столь притягательна для французских *сосреалистов*[5] и на которой американские piz-

1. Мистификация: этих строчек нет в поэме. Букв. перевод: "Быть может, жизнь — не текст, а лишь эскиз того, / К чему у нас есть только примечания". Рифмованный вариант, предложенный В. А. Широковым: "Быть может, жизнь — не текст, а умолчанье / О том, к чему у нас есть примечанья".
2. Производное от "омнизм" — признание и уважение всех религий. Здесь Питер Лубин выворачивает наизнанку слово "монист" (от "монизм"), пародируя пассаж из интервью 1966 г. Альфреду Аппелю, в котором Набоков утверждал, что придерживается "абсолютного монизма" (см.: Набоков о Набокове. — С. 202).
3. Лолита, ч.1., гл. 20.
4. "Антидарвиновский афоризм" из комментария Чарльза Кинбота к строкам 597–608 поэмы Джона Шейда (Цит. по: *Набоков В.* Собр. соч. в 5-ти тт. — Т. 3. — СПб.: Симпозиум, 1997. — С. 478).
5. В оригинале — "suctorialist", слово-портмоне, в котором соединены слова "suctorial" (сосущий) и "realist". Набоков использовал этот неологизм в разносной рецензии на американское издание романа Ж.-П. Сартра "Тошнота" (см.: Набоков о Набокове. — С. 487).

datel'stvos[1] теперь делают столь процветающий бизнес. Предпочитаю книги, которые не затронуты ни Боудлером, ни Бодлером[2].

Раз уж речь зашла о Бодлере, многие ваши герои – сумасшедшие извращенцы, нуждающиеся в определенного рода попечении. Вы часто высмеиваете "венского шарлатана" и толпу "мошенников" из "Зигни-Мондьё"[3]*, и мне нравится замечание Гумберта Гумберта насчет "тонкого различия" между словами "душеврачитель" и "растлитель"*[4]*. Но разве не правда, что психиатрия и даже ее крайние проявления больше не представляют собой угрозу? И что вы, весьма возможно, пинаете дохлую лошадь? И кое-какую ценность в ней можно найти? Ведь наши лучшие романисты многим обязаны Фрейду, да и вы сами блистательно исследовали в "Лолите" и "Аде" взаимосвязь психики и секса.*

Гаплографический[5] каламбур Гумберта (бис!) — одно из немногих его высказываний, с которым я полностью согласен (между прочим, вы его изящно обрезали). Секс и психиатрия порождают гнетуще унылых постельных партнеров. В действительности секс — довольно скучная тема, но я пытаюсь сделать ее интересной. Высокооплачиваемые девицы из "Вилла Венера" предлагают услуги на все вкусы, и там мой герой (в перерывах между смакованием или, точнее, погружением в его *Леман-Аду*) объедается за шведским столом оргазмов[6]. Эти ре-

1. Прирожденная стыдливость и деликатность, равно как и постановления правительства (от 5 апреля 2013 г.), неустанно пекущегося об общественной морали, не позволяют передать кириллицей сомнительный каламбур американского автора; с другой стороны, эллипсис — последнее прибежище переводчика, посему, с согласия редакции журнала, решаюсь оставить скользкий неологизм пародиста в латинском обличье.
2. Каламбур, построенный на созвучии фамилий "проклятого поэта" Шарля Бодлера (1821–1867) и сверхнравственного шотландского издателя Томаса Боудлера (1754–1825), печально прославившегося изданием шекспировских сочинений, "адаптированных" для семейного чтения.
3. Воспроизводится антифрейдовский каламбур из "Ады" (ч. 1, гл. 3; ч. 4, гл. 4), в котором обыгрывается имя и фамилия ненавистного Набокову психоаналитика и французское восклицание "Mon Dieu!".
4. В английском варианте "Лолиты" Гумберт играл словами "rapist" (насильник) и "psychotherapist" (психотерапевт); в русской версии эти слова заменяются паронимами: "Всякий душеврачитель, как и всякий растлитель, подтвердит вам, что пределы и правила этих детских игр расплывчаты..." (ч.1, гл. 27); "...Растлением занимался Чарли Хольмс; я же занимаюсь растением, детским растением, требующим особого ухода: обрати внимание на тонкое различие между обоими терминами..." (ч. 2; гл. 1).
5. От термина "гаплография", означающего пропуск слов или слогов, стоящих между двумя одинаковыми словами (слогами).
6. Весь пассаж отсылает к роману "Ада": его главный герой, сластолюбивый либертин Ван Вин, был завсегдатаем элитарного борделя "Вилла Венера" — несмотря на страстную любовь к своей сестре Аде, с которой он то сходился, то порывал, чтобы после драматичных перипетий окончательно воссоединиться с ней в финале романа, в роскошной гостинице на брегах озера Леман (отсюда и каламбур "Леман-Ада" — "лимонада").

зорты и курорты, мечта Гумберта, как и страсти Ваниады не имеют ничего общего с гротескными и смехотворными поделками нынешних горе писак и литературных портняжек[1].

Над чем вы сейчас работаете?

Сейчас я готовлю к печати книгу литературоведческих эссе, в основе которой — мои университетские лекции. Ее рабочее название — "Зелье Эйзеля".

Не могли бы вы что-нибудь рассказать о них?

Ну, в эссе о Джойсе я начинаю с "Улисса" и концентрирую внимание на несчастном рогоносце Блуме, который гораздо интересней, чем неуклюжий юнец Дедал. Я избегаю древнегреческих аллюзий[2]. Я исправляю несколько неточностей: орфографическую ошибку в Ночном городе, анахронизм в одной из пародий из эпизода в родильном доме — такого рода вещи. Я подвергаю критике крайности verzüchtes Jasagen Молли Блум[3]. За-

1. Намек на американского прозаика Филипа Рота, чей роман "Portnoy's Complaint" (в русских переводах "Болезнь Портного" (1994) и "Случай Портного" (2001)) обогнал набоковскую "Аду" в американских списках бестселлеров за 1969 г. — за что удостоился нелестных отзывов в интервью Набокова газете "Нью-Йорк таймс" (где "смехотворная книга" Рота, которая "не обладает какими-либо литературными достоинствами", была уничижительно переименована в "Спазм Портного") и журналу "Тайм": "'Болезнь Портного'? Отвратительно. Графаретно, плохо написано, вульгарно. Просто на уровне фарса — там, например, где живописуется запор у отца главного героя. По сравнению с ним даже такие авторы, как Гор Видал, и то более интересны" (Цит. по: Набоков о Набокове и прочем. — С. 260, 652–653).
2. По-видимому, Питер Лубин был знаком с содержанием набоковской лекции об "Улиссе"(будучи студентом Гарварда, он общался с Набоковым весной 1963 г., во время его последнего визита в США). Во всяком случае, мнение "известного писателя" о Стивене Дедале сходно с той характеристикой, которая дается джойсовскому персонажу в набоковской лекции: "...ожесточенный и желчный молодой человек — трудно воспринимаемый читателем, скорее проекция авторского интеллекта, нежели теплое конкретное существо, созданное воображением художника" (цит. по: *Набоков В.* Лекции по зарубежной литературе. — М.: Издательство Независимая Газета, 1998. — С. 368). Оттуда же проистекает и негативное отношение к пресловутым гомеровским аллюзиям, на которых якобы покоится образный мир "Улисса". Ср.: "Очень приблизительная и очень общая перекличка с Гомером, очевидно, существует в теме странствий Блума, на что указывает название романа <...>; но было бы напрасной тратой времени искать прямые параллели в каждом персонаже и в каждой сцене "Улисса". Нет ничего скучнее натянутых аллегорий, основанных на затасканном мифе" (*Набоков В.* Цит. соч. — С. 371).
3. Экстатический монолог (*нем.*). В лекции об "Улиссе" Набоков без особого восторга высказался по поводу "потока сознании" Молли Блум: "Прием потока сознания незаслуженно потрясает воображение читателя. <...> ...этот прием не более "реалистичен" и не более "научен", чем любой другой. На самом деле, если бы вместо регистрации всех мыслей Молли описать лишь некоторые из них, то их выразительность показалась бы нам более реалистичной, более естественной. Дело в том, что поток сознания есть стилистическая условность, поскольку, очевидно, мы не думаем лишь словами — мы думаем еще и образами" (*Набоков В.* Цит. соч. — С. 454–455).

тем перехожу к последней книге Джойса, этой неудачной попытке множить странности (как он мог бы выразиться). Песнь Плюрабельности[1], Цыганский поток (то там то сям всплывают на поверхность обрывки шелты[2]) и... унылая катастрофа.

Есть еще пять или шесть других эссе, но половину из них наш кот вытащил из сундука.

Прежде чем оставить эту тему, не могли бы вы сказать: будут ли обсуждаться ныне здравствующие писатели?

Я подумываю включить в книгу небольшую вещицу о том аргентинском изготовителе трансцендентальных эскизов[3], чье имя критики столь курьезно связывают с моим. Я все еще восхищаюсь его темной грамматикой и безнадежными закатами, огнем и алгеброй его вымыслов. Некоторые его формулы очень хороши – как, например, определение вечности в "Книжном магазине Исидоры Круг": "ese lemniscato espantoso y sempiterno"(вечность, эта наводящая ужас, безграничная лемниската[4]). Великолепное воплощение чувства оламического отвращения! Однако перегруженные лунфардо[5] истории ничто иное, как образчики местного колорита и словесного мусора.

Теперь я боюсь, что старый котяра может убежать.

Чем вы занимаетесь помимо писательства? Читаете? Путешествуете?

Еженощно я блуждаю в заколдованной области между Марло и Марвеллом. Затем, несколько минут спустя после старого палпебрального[6] синематографа, абсолютная рас-

1. В оригинале – неологизм "Plurability", в котором, среди прочего, обыгрывается имя Анны Ливии Плюрабель, героини последнего романа Джойса "Поминки по Финнегану" (1939), о котором Набоков неизменно отзывался отрицательно. Например, в интервью 1969 г. журналу "Лиснер" он назвал его "трагической неудачей Джойса" и "ужасающе скучной вещью" (цит. по: Набоков о Набокове. – С. 290).
2. Шелта – арго цыган, распространенное на территории Великобритании и Ирландии.
3. Пародируются антиборхесовские пассажи, которые встречаются в "Аде", где аргентинский писатель, с которым в 1960-е критики и журналисты обожали сравнивать Набокова, выведен как "Осберх, создатель претенциозных сказок и мистико-аллегорических анекдотов, превозносимый верткими диссертантами" (*Набоков В.* Ада, или Эротиада / Пер. с англ. О. Кириченко. – М.: АСТ, 1999. – С. 327), а также в интервью 1969 г. журналу "Тайм": "Сначала мы с Верой наслаждались, читая его. Мы ощущали себя перед фасадом классического портика, но оказалось, что за ним ничего нет" (цит. по: Набоков о Набокове. – С. 652).
4. Математический термин (от *греч.* lemniskos – лента) означает замкнутую кривую, напоминающую восьмерку.
5. Ныне угасающий социалект, сформировавшийся в Буйнос-Айресе под влиянием итальянского языка в конце XIX – первой половины XX в.
6. Палпебральный – относящийся к глазному веку.

творенность в радужном тумане и, наконец, — жалкая имитация сна[1]. Что касается путешествий другого рода, то в связи с упомянутым выше эссе я совершил короткую поездку в Ирландию[2]. Серовато-коричневые коровы, зеленые луга, разноцветные буквицы в Келлской книге[3]. Я зашел в бар "Дэви Берн"[4]. Я прогулялся по Экклс-стрит возле дома номер семь[5]. Я доковылял до Гласневинского кладбища[6]. Я дополз до мыса Хоут. Короче говоря, я был самым почтительным среди дублинцев.

Раз уж мы остановились на теме путешествий, скажите: собираетесь ли вы когда-нибудь вернуться в Америку?

Я предвкушаю возвращение к берегам Северной Америки[7] и этим летом собираюсь провести пару недель в уединенном пристанище межозерья южного Онтарио. Там, между

1. Жалобы на бессонницу — лейтмотив многих набоковских интервью, но непосредственным источником пародии, скорее всего, послужил гипнагогический пассаж из интервью 1963 г. Олвину Тоффлеру для журнала "Плейбой": "...Читаю до полдвенадцатого, а потом ворочаюсь от бессонницы до часу ночи. Примерно дважды в неделю у меня случается хороший долгий кошмар с неприятными героями предыдущих снов, возникающими в более или менее повторяющемся окружении, — калейдоскопические комбинации разорванных впечатлений, обрывки дневных мыслей, безотчетные машинальные образы, совершенно не допускающие ни фрейдистского осмысления, ни объяснения, — удивительно похожие на мелькающие картинки, которые обычно видишь на изнанке век, закрывая усталые глаза" (цит. по: Набоков о Набокове. — С. 138).
2. Набоков никогда не был в Ирландии, однако неоднократно объявлял Джойса своим любимым писателем и подробно разбирал роман "Улисс" в своих лекциях, что и нашло отражение в пародии.
3. Один из самых известных памятников книжного искусства средневековой Ирландии: созданная кельтскими монахами в 800 г. рукописная книга, богато украшенная миниатюрами и орнаментами. Ныне хранится в библиотеке Тринити-колледжа в Дублине. Упоминается в семнадцатом эпизоде "Улисса".
4. Дублинский бар, запечатленный в романе "Улисс".
5. В этом доме, где жил приятель Джойса Дж. Ф. Берн, автор "Улисса" поселил своего главного героя, Леопольда Блума.
6. Католическое кладбище в Дублине, место действия шестого эпизода "Улисса" ("Аид"), в котором описываются похороны приятеля Леопольда Блума Падди Дигнама.
7. Клятвенные обещания в скором времени приехать в Америку — "это единственная страна, где я психологически и эмоционально чувствую себя дома" (интервью 1969 г. "Нью-Йорк таймс") — периодически звучали в набоковских интервью с начала 1960-х, когда он осел в Монтрё: "Надеюсь очень скоро вернуться в Америку к ее библиотечным полкам и горным тропинкам" (интервью 1963 г. журналу "Плейбой"); "Я испытываю ностальгию по Америке и, как только накоплю достаточно энергии, вернусь туда на длительное время" (телеинтервью 1965 г. Роберту Хьюзу); в ответ на вопрос интервьюера журнала "Тайм" — "Подумываете ли вы о возвращении в Америку?": "Частенько, особенно весной, мечтаю провести в Калифорнии пурпурно-перистый закат своей жизни среди ее дельфиниумов и дубов и в спокойной тиши университетских библиотек" и т. д. (Набоков о Набокове. — С. 257, 137, 170, 248).

озерами Куирк и Панаш (интимная парочка), я планирую до полудня охотиться за бабочками, а после читать моих любимых американских авторов: Вебстера[1], Скаддера[2] и Грея[3]. Последний, что, наверное, будет интересно узнать читателям, недавно вышел под редакцией ботаника Пастернака, не имеющего никакого отношения к обладателю Нобелевской премии и получившего известность благодаря своей незабвенной саге "Медикаго" — о некоторых представителях старосветского семейства бобовых[4].

Не собираетесь ли вы во время этого визита сделать распоряжения о том, чтобы сдать на хранение в библиотеку ваши рукописи?

Нет, конечно же, потому что я не храню ни беловые, ни черновые рукописи, ни корректуры. Здесь я беспощаден. Убогость абзацев, незрелые плоды смутного воображения, вялые ямбы интимных переживаний — ничего из этого, даже тень или отблеск, не будет оставлено. Я уже уничтожил все рукописи за исключением позднейших. Не оставил ни карточки, на которых писалась "Лолита", ни наброски к "Дару". Не будет вариорумного[5] издания "Бледного огня" с вариантами и с комментариями, написанными вороватыми руками. Шраершвайн и Ложбинин[6] не будут препираться над Беловой Рукописью "Ады". Не будет отсрочки этим обреченным на казнь страницам. Они будут сожжены. Они огнеопасны. Они легко воспламеняются.

Исходя из вашего недавнего опыта, что вы сейчас думаете о литературной критике? Что вы напоследок посоветуете критикам?

1. Американский лексикограф Ной Вебстер (1758–1843), чей "Американский словарь английского языка" действительно был настольной книгой для "позднего" Набокова.
2. Если учесть энтомологические пристрастия Набокова, то из американских авторов по фамилии Скаддер ехидный пародист, скорее всего, имел в виду энтомолога и палеонтолога Сэмюэля Хаббарда Скаддера (1837–1911).
3. Поскольку американских литераторов и ученых с фамилией Грей — десятки, сложно определить, кто из них причислен к любимым авторам "известного писателя".
4. Высмеиваются антипастернаковские выпады, которыми пестрят как интервью Набокова, так и его художественные произведения. Например, в "Аде", последнем произведении Набокова на момент написания пародии, уничижительно упоминается "'Любовные похождения доктора Мертвого', мистический роман какого-то пастора" (цит. по: *Набоков В.* Ада, или Эротиада. — С. 67).
5. От *лат.* "cum notis variorum", т. е. научное издание с комментариями нескольких исследователей.
6. В оригинале — ничего не говорящие русскому слуху "Galasp" и "Colkitto". Дабы сохранить комический эффект, переводчик решился на добродушную шутку, обыграв фамилии двух ныне здравствующих набоковедов.

Рассматривать литературу с точки зрения таксономии — это, если воспользоваться любимым выражением графа Вронского, “not in my line”[1]. Все эти изощренные процедуры, этикетки и бирки цепных псов педантизма подходят для отдельных субъектов, но вовсе не для книг. Виктор Шкловский, некогда замечательный критик, автор книги “Ход коня”, выдумал однажды термин “остранение” (делать странным). Американские слависты быстро взяли его на вооружение. Но разве он относится только к наивной толстовской Наташе?[2] Его с тем же успехом можно применять к причудливым концептам метафизиков. Каламбуры “остраняют” точно так же, как и паронимы и даже липограммы[3], о чем должны знать гости, пришедшие на определенного рода литературное пиршество. Что не ошеломляет, не огорошивает, не “остраняет” в книге, автор которой — гениальный художник? Нет уж, оставьте термины. Избегайте взятых из учебников истин. Острое перо и живой ум — вот что вам нужно.

TriQuarterly. 1970. № 17, p. 197–203

1. Не по моей части, вне моей компетенции *(англ.)*. Это выражение действительно несколько раз используется героем “Анны Карениной”, первый раз — в 17-й главе первой части романа.
2. В статье “Искусство как прием” (1917) В. Б. Шкловский писал об “остранении” как об одном из главных принципов художественного освоения действительности, нарушающем автоматизм восприятия и преодолевающем литературные стереотипы; при этом он опирался на анализ сцены в опере из второго тома “Войны и мира”, где театральная постановка комически остраненно представлена с точки зрения Наташи Ростовой.
3. Литературный прием, заключающийся в написании текста без использования в словах какой-то одной буквы.

“В *отношении античных авторов я популист, для меня главное, чтобы текст был понятным*”

С Григорием Стариковским беседует Елена Калашникова

Елена Калашникова. Как вы пришли к переводам античной литературы?

Григорий Стариковский. В 1992-м моя семья (родители, сестра и я) переехала в Америку. Родители не знали английского, поэтому не могли мне ничего посоветовать, ничем помочь, а я немножко язык знал. В Москве учился я в школе с английским уклоном, правда не уделял особого внимания изучению языка. Когда приехал в Америку, сразу поступил в колледж. Тогда программисты очень много зарабатывали, на программиста можно было довольно быстро выучиться, поэтому я тоже решил освоить эту профессию. И в университете записался на два курса: программирование и историю искусств. Программирование в итоге забросил, история искусств перетянула, и я стал заниматься гуманитарными науками, а на следующий год начал изучение латыни и греческого под руководством Лео Фельдмана. Это специалист мирового уровня по Иосифу Флавию, знающий множество древних и современных языков.

Е. К. А где вы тогда учились?

Г. С. Начинал с Иешива-университета, есть такой в Нью-Йорке. Потом перевелся в Нью-Йоркский университет, и в 1995-м получил степень бакалавра. Поступил в аспирантуру Колумбийского университета и там защитился — по раннему творчеству Горация. Заканчивая аспирантуру, устроился в школу, и с тех пор преподаю латынь старшеклассникам.

Не думал, что буду заниматься переводами. В аспирантуре познакомился с Григорием Кружковым. Он учился на кафедре славистики Колумбийского университета. Григорий предложил мне сделать несколько переводов с латыни, из Джона Донна. Мне эта идея понравилась, и я приступил к переводу, а Григорий Михайлович направлял меня на путь истинный. Я многому у него научился. Например, смотреть на переведенное стихотворение как на нечто целое, то есть подходить к переводу с точки зрения композиции, объединяющей текст. До знакомства с Кружковым я,

скажем так, не мыслил в этих категориях.

Е. К. Как бы вы охарактеризовали свои переводы античных авторов? Чем они отличаются от того, что уже есть в русской переводческой традиции? Вы от нее скорее отталкиваетесь или ее продолжаете?

Г. С. Думаю, многое зависит от переводимого поэта. Античность — это обширное поле, простирается оно от Гомера до раннего Средневековья. Переводы из Пиндара — мой первый опыт работы с античными авторами. До этого я переводил преимущественно с английского. В случае с Пиндаром мне не удалось до конца освободиться от влияния Михаила Гаспарова, чье новаторство теперь я все больше понимаю и принимаю. Гаспаровские переводы Пиндара так сильно засели в голове, что было сложно сделать нечто совершенно свое, независимое, хотя мне очень хотелось воссоздать стихи, которые были бы доступней, понятней для неподготовленного читателя, чем переводы Гаспарова. С точки зрения стихотворного размера, переводы мои — вполне вольные, но опять же хотелось привнести некоторую четкость и в то же время сделать это красиво.

Я никогда не думаю, что продолжаю традицию или, наоборот, "отметаю" ее. Мне нравятся отдельные переводы и переводчики, которые как-то не складываются в непрерывную, или даже прерывистую, линию — традицию. Есть имена (например, Жуковский, Гнедич, Иванов, Шервинский, Ошеров, Гаспаров), а с традицией, увы, не так все безоблачно.

При переводе античных авторов я руководствуюсь возрожденческой идеей доступных, прописанных переводов, которые были бы понятны современному читателю, не имеющему специального литературоведческого образования. Когда я сам читаю переводы античной поэзии, ищу в них словесной красоты и сквозящей ясности. Думаю, что такие переводы — одна из немногих возможностей приблизить античность к читателю. В противном случае читатель от нас отвернется. Нужно постоянно доказывать, что классическая культура — это живая культура.

Перевод — ремесло функциональное. Переводы классиков должны обновляться, что ни в коем случае не отменяет долгоиграющие шедевры, такие, как "Илиада" Гнедича или "Агамемнон" Вячеслава Иванова. На мой взгляд, русской языковой культуре не хватает этих периодических обновлений, ведь любое такое обновление — это пусть малое, но все-таки возрождение культуры. Пусть будут новые, разные переводы. Всем хватит места. Вот на английском языке новый перевод "Энеиды" выходит примерно раз в десять-пятнадцать лет. Существует, по крайней мере, пять послевоенных переводов римского сатирика Персия, который считается поэтом темным и за которого не каждый возьмется. Чем больше переводов с латыни и греческого, тем лучше, потому что с ан-

тичностью надо поддерживать диалог.

Е. К. Живую связь?

Г. С. Да, абсолютно верно: живую связь. Этим и занимались, например, поэты Плеяды — деятели французского Возрождения. Стараюсь брать с них пример. Дю Белле, кстати, переводил Вергилия. Для него и вообще для французов XVI века идея Возрождения не мыслима была без новых переводов.

Е. К. А вы не сталкиваетесь с консервативностью русской традиции, не принимающей новые переводы? По-вашему, востребованы новые переводы и переперевоводы?

Г. С. Довольно странно слышать такие выкладки: Гнедич перевел "Илиаду", и этого достаточно. Жуковский — "Одиссею", вот и достаточно. Кто же спорит: Гнедич — гений, но жил он в другую эпоху, и его "Илиада" принадлежит пушкинскому времени. А что сделали мы в наше время? Может быть, начать делать что-то свое, крикнуть городу и миру: "Я тоже разговаривал с Гомером"? Нужны новые тексты. Не верю, что новое нельзя создать.

Не думаю, что в русской культуре существует устойчивая традиция передачи античных текстов, которая "подминала" бы под себя переводчиков, не давала бы им сказать своего слова. За последние двадцать лет настолько мало сделано (мы говорим о целом поколении!), что вопрос о традиции (то есть об активной передаче культурного наследия от одного поколения другому) можно считать исчерпанным. Все очень просто. Нет переводов, нет традиции.

Что касается моего личного опыта, я могу работать почти в полной языковой, литературной изоляции. Иммиграция многому научила. Я привык работать и без отклика, и без особой востребованности. Просто работать, ведь самое главное — это живая связь с авторами.

Е. К. Вы одинаково относитесь ко всем своим переводам или какие-то тексты, авторы, языки вам ближе остальных?

Г. С. Я перевожу с латинского, потому что боюсь его забыть. А другая причина такая: мне кажется, что раз у меня есть доступ к этому языку, то я некоторым образом отвечаю за переводимых поэтов. Сегодня Вергилий мне много ближе Проперция, но и Проперция попереводил бы еще. Греческий тоже забывается, если не читать тексты. Хотелось бы и с древнегреческими авторами поработать побольше.

Тут еще и навязчивая идея языкового выживания в эмиграции. Я бы сказал, что у меня просто нет выбора, не переводить нельзя. Если я хочу написать что-либо стоящее на русском языке, неважно что — стихи, эссе, я вынужден переводить. Перевод для меня был и остается работой с/над русским языком, полигоном, что ли. Мне кажется, что понять это может только эмигрант, который знает, что такое языковой вакуум. Это не жалоба, это — констатация.

Е. К. Как бы вы охарактеризовали расстояние между переводчиком и текстом? Сокращается ли оно во время ра-

боты? Отличаются ли эти дистанции в случае разных авторов и текстов?

Г. С. Да, расстояние сокращается, иногда настолько, что становится страшно. Иногда непонятно, где заканчиваюсь я и начинается автор. Такое было, например, с Проперцием (я перевел третью книгу его элегий). В какой-то момент показалось, что он ожил, ходит по моей комнате. То же самое было с Вергилием, когда я переводил "Буколики".

Бывает, что поэт попадает "в масть": переводишь его, а будто бы пишешь свой текст. У меня такое было, например, с Патриком Каванахом, ирландским поэтом.

Мне очень нравятся переводы Пастернака. Величайший переводчик. Когда я переводил Каванаха, казалось, что нужно идти по стопам Пастернака. С одной стороны, путь силы, а с другой — языковой гибкости и стирания барьеров между переводчиком и поэтом.

Е. К. А какие переводы Пастернака вы особенно любите?

Г. С. Мне очень нравятся Табидзе, Шелли, Китс, сонеты Шекспира, про которые прекрасно написал Григорий Кружков, да и многое другое. Мне близка его человечность, в поэтическом переводе это особенно актуально. Есть довольно распространенное мнение, что переводчик должен полностью "исчезнуть" в переводе.

Е. К. Иными словами, текст должен быть прозрачным, как стекло.

Г. С. Мне как раз кажется, что все происходит с точностью до наоборот. Как переводчику можно утаить себя?.. Если, к примеру, Китс себя не утаивал, то и его переводчик должен так же поступать. Не страшно, если душа переводчика засквозит в русском тексте Китса.

Е. К. То есть вы ощущаете себя продолжателем традиции Пастернака и, значит, последователем Жуковского?

Г. С. Что касается Пастернака, в прошлом, наверное, да, сейчас — нет, не думаю. В данный момент экспериментальные переводы Гаспарова важны для меня не меньше, чем корпус пастернаковских переводов. Не раз перечитывал "Одиссею" Жуковского. Текст изумительный, но слишком, даже для меня, свободный. Хочу немного поправить себя. Для меня перевод — это ремесло, ну, как ремесло стеклодува. Ремесленник должен уметь многое, быть в курсе не одной, а многих традиций. Например, для работы над текстами Роберта Фроста требуются навыки, которые не применимы в работе над Джоном Донном. Эдгара По не переведешь как Эзру Паунда. Желательно, чтобы переводчик мог переводить по-разному, владеть разными навыками.

Е. К. После того как перевод сделан, вы остываете к нему, он вас отпускает? Или все тексты остаются для вас живыми — как оригиналы, так и переводы?

Г. С. Переводы моментально отпускают, как только выходит книга или публикация. На место сделанного появляется какой-то другой проект, что-то новое.

Е. К. То есть вы не возвращаетесь к переводам, не редактируете их?

Г. С. Нет, возвращаюсь. Когда есть время. Я все время должен работать над ошибками, иначе они будут повторяться. Просто не всегда хватает времени на последующую правку.

Е. К. Долго ли вы обычно работаете над текстом? Сколько времени вам нужно, чтобы обжиться в новом текстовом пространстве? Много ли времени занимает редактура?

Г. С. Все зависит от поэта, прежде всего от подборки. С Пиндаром я долго мучился, много редактировал, пытался переводить доступно, но доступный Пиндар — это оксюморон. Нужно было найти баланс между доступностью и витиеватостью, и на этот поиск ушло много времени, годы — на маленькую книжку. Не скажу, что было проще с Вергилием, он не то что прозрачней, он немного из другого "теста".

Е. К. А переводите вы за столом, за компьютером, а может быть, во время ходьбы?

Г. С. Чтобы сконцентрироваться и начать работу, мне обязательно нужно сесть за стол, за компьютер. Я перевожу кусок, обычно десять или двенадцать строчек, сначала начерно, потом правлю. Работаю, когда есть время. Лучше всего переводить каждый день, но такая роскошь возможна только летом.

Е. К. Вы не "чистый" переводчик, да? Вам интересна литературоведческая сторона, и через разнообразное комментирование хотите приблизить автора к читателю?

Г. С. Думаю, что я, к сожалению, как раз "чистый" переводчик, потому что делаю все, чтобы отложить написание комментариев и преамбул "на потом". Переводить гораздо интереснее. Когда я начал работать в школе, сперва казалось, что аспирантура осталась позади и теперь можно заняться "чистым искусством", но не тут-то было. Переводы и вступительные статьи за меня никто писать не будет, особенно для книг, издающихся небольшими тиражами в небольших издательствах. Вообще же филология сильно помогает в работе с текстом. Так что от литературоведения, увы, никуда не денешься.

Е. К. Влияет ли ваша собственная поэзия на переводы и наоборот, или в разные периоды происходит по-разному?

Г. С. Последнее время почти никакого взаимодействия нет, потому что переводы — это все-таки ремесло, которым можно заниматься почти каждый день, даже после длинного трудового дня. Вернуться домой, заварить чай и включить компьютер. Переводы могут помочь "остаться в языке", но не всегда выводят к собственным стихам. Переводчик — ремесленник, который знает, какое орудие труда он употребит следующим, но лично я не знаю, как пишутся стихи. Это, видимо, иной творческий процесс, который может быть вызван чем угодно, не обязательно переводами.

Е. К. Вы сказали, что ваши дети по-русски говорят не очень хорошо. Они — билингвы?

Г. С. Они понимают русскую речь: мы учили их и писать, и читать. У сына первым языком был русский, но когда он пошел в детский садик, то заговорил по-английски и стал потихоньку забывать русский. Дочка иногда заходит в комнату, декламирует первые две строфы из "Евгения Онегина", потом разворачивается и уходит. Говорит она только по-английски, но, видимо, Пушкин ее все-таки обаял. Дома я говорю по-русски, дети отвечают мне по-английски, а жена говорит на смеси двух языков, она считает, что с детьми надо общаться на их языке. Пусть хоть на китайском говорят, лишь бы хорошими людьми были.

Е. К. Что вы сейчас переводите и что в ваших планах?

Г. С. Готовлю книжку переводов римского поэта-сатирика Персия.

Е. К. Античные переводы — все-таки ваше главное дело?

Г. С. Если говорить о переводческих занятиях, то, пожалуй, да. В переводе с античных языков есть серьезное организующее начало: нужно читать комментарии, статьи, книги, сверяться с другими переводами, в моем случае, англофонскими. Займись я, к примеру, Робертом Фростом — я бы с удовольствием его попереводил, такого опыта у меня еще не было — это уже было бы другое состояние духа. Я бы хотел и в дальнейшем переводить греков и римлян. Мне кажется, еще многое не сказано или недосказано.

Е. К. Вы имеете в виду в существующих русских переводах?

Г. С. Да, повторюсь. Почему в советской переводческой школе существует один, от силы два перевода какого-нибудь в полном смысле нетленного античного автора? Что же это за школа такая? Если король не голый, то, скажем так, не совсем одетый. Если речь идет о классиках, например, о Софокле, Гомере — одного, двух, даже трех переводов недостаточно. В переводе так или иначе отражено мировоззрение человека, его сделавшего. Один перевод — это всего лишь один голос, даже если это голос распрекрасного филолога, даже если переводчик знает все про все. Невозможно скрыть себя в переводе, свое отношение к слову, к миру.

Французские афоризмы

Перевод и составление Наталии Перовой

Тактичность состоит в том, чтобы чувствовать, как далеко ты можешь зайти, если ты зашел далеко.

Жан Кокто (1889–1963)

Господь создал мир из пустоты, и пустота просвечивает.

Поль Валери (1871–1945)

Поднять людей в бой легче, чем потом утихомирить их и направить на мирный труд.

Андре Жид (1869–1951)

Патриотизм – это вид религии. И это яйцо, из которого вылупится война.

Ги де Мопассан (1850–1893)

Если вы одиноки, когда вы один, значит, вы в дурном обществе.

Жан-Поль Сартр (1905–1980)

Чтобы написать самую главную книгу жизни, великому писателю нет нужды ее придумывать, ему надо просто перевести

© Наталия Перова. Перевод, составление, 2016

ее — ведь она уже существует в каждом из нас. ...На самом деле, читая книгу, читатель читает самого себя.

Марсель Пруст (1871—1922)

Язык — это форма человеческого разума, обладающего собственной внутренней логикой, о которой человеку ничего не известно.

Клод Леви-Стросс (1908—2009)

Я не знаю, есть ли Бог, но для его репутации было бы лучше, если бы его не было.

Жюль Ренар (1864—1910)

Не жди Страшного суда — он происходит каждый день.

Альбер Камю (1913—1960)

Россия — страна фасадов.

Астольф де Кюстин (1790—1857)

Чтобы достигать великих целей, надо уметь не только действовать, но и мечтать, не только планировать, но и верить.

Анатоль Франс (1844—1924)

Родиться с талантом — большая удача, но надо еще иметь талант воспользоваться такой удачей.

Гектор Берлиоз (1803—1869)

Искусство врача — это умение развлекать пациента, пока природа не вылечит его болезнь.

Вольтер (1694—1778)

Женщиной не рождаются, а становятся.

Симона де Бовуар (1908–1986)

Совершенство достигается не тогда, когда уже нечего добавить, а когда уже нечего убрать.

Антуан де Сент-Экзюпери (1900–1944)

Креативных людей – немного, а некреативных – масса. Соответственно, сила на стороне последних.

Коко Шанель (1883–1971)

История – это картинная галерея, где мало оригиналов и множество копий.

Алексис де Токвиль (1805–1859)

Новые книги Нового Света

с Мариной Ефимовой

Совместно с радио “Свобода”

Vladimir Nabokov *Letters to Vera* / Edited and translated by Olga Voronina and Brian Boyd. – Alfred Knopf, 2015.

Для российского читателя самой волнующей из новинок 2015 года стал, я думаю, сборник писем Набокова к жене – “Письма Вере”, изданный по-английски в переводе и под редакцией Ольги Ворониной и Брайана Бойда.

В сборнике – две части. Первая – письма с 1923 года (года знакомства в Берлине Владимира Набокова и его будущей жены Веры Слоним) по 1940 год (год отъезда супругов Набоковых с шестилетним сыном из Европы в Америку). Эта часть занимает почти 600 страниц. Остальные письма уложились страниц в 80, потому что ни в Америке, ни в Швейцарии, куда потом переселились Набоковы, супруги почти не расставались.

Первые письма Набокова к Вере поражают тем, что по тону и душевному настрою плохо сочетаются с образом автора “Дара” и “Приглашения на казнь”. Они неожиданно романтичны (и ожидаемо поэтичны), но, главное, они брызжут такой радостью жизни, какой не ждешь от иронического Набокова:

Как мне объяснить тебе, мое счастье, мое золотое, изумительное счастье, насколько я весь твой – со всеми моими воспоминаниями, стихами, порывами, внутренними вихрями? Объяснить – что сло́ва не могу написать без того, чтобы не слышать, как произносишь *ты* его. И мелочи прожитой не могу вспомнить без сожаленья, – такого острого, что вот мы не вместе прожили ее, – будь она самое личное, непередаваемое, а то просто закат какой-нибудь на повороте дороги – понимаешь ли, мое счастье?

Британский писатель Мартин Эмис пишет в рецензии на сборник:

Одной из самых поразительных черт Набокова была его чуть ли не патологическая жизнерадостность, которую он сам считал “неприличной”. Обычно молодые писатели лелеют свою ранимость, меланхолию, чужесть миру. Набоков же признавался, что его мучило только одно – *невозможность ухватить, проглотить всю красоту мира.*

Мое солнце, моя душа, моя песня, моя птица, мое розовое небо, моя солнечная радуга, моя музыка, мой невыразимый восторг, моя нежность, мой свет... – так называл молодой Набоков Веру в письмах,

плюс, — пишет Мартин Эмис, — *целый звериец ласковых прозвищ, которые все свидетельствуют об обожании и даже, кажется, о полной зависимости. Ты вошла в мою жизнь*, — пишет Набоков в одном из ранних писем, — *как в королевство, где все реки ждали твоего отражения, все дороги ждали твоих шагов.*

Характеризуя особенности отношений двух молодых изгнанников в Берлине 1923–1926 годов, рецензент Джудит Турман пишет в "Нью-Йоркере" в статье "Молчаливый партнер. Что скрывают письма Набокова":

Горячим желанием молодого Набокова было дать Вере, по его словам, *солнечное, простое счастье*, что было довольно редким сокровищем у россиян их поколения. Они оба провели юность и молодость в бегах, спасаясь от убийственных исторических сдвигов XX века. Многие их сверстники потеряли себя в этом хаосе. Но Набоков и Вера стали друг для друга путеводными звездами.

Они поженились в Берлине в 1925 году. Набоков называл свой брак "безоблачным". Правда, вот что подмечает Мартин Эмис:

Иметь мужем человека, который переполнен жадной радостью жизни, не так легко. Сама Вера не обладала этим даром богов. Их первая разлука — весна 1926 года: Вера провела полтора месяца в санатории в Шварцвальде. Диагноз: депрессия, хроническое беспокойство, потеря веса.

Владимир писал ей каждый день, описывая все, что он делал, что читал, что ел, как одевался, куда ходил, и небрежно (как и положено аристократу) о том, что денег у них нет. Он описывал процесс создания нового стихотворения. *Он хотел*, — пишет Эмис, – *инъекциями жизнерадостности и любви вернуть ей здоровье.*

Владимир Набоков презирал политику, поэтому поздно осознал, *чем* нацизм грозит его семье (особенно Вере, которая была еврейкой, и их полукровке сыну). Лишь в 1937 году, оставив Веру с сыном в Берлине, Набоков едет в турне по Европе в надежде заработать на отъезд. Не забудем, что он уже был автором романов "Машенька", "Король, дама, валет", "Защита Лужина", "Камера обскура". Русская публика носила его на руках. Бунин готовился передать ему свои лавры. Письма из Франции и Бельгии — торопливые, неудержимо оживленные по поводу светских успехов, иногда с яркими наблюдениями:

Было много выходцев из прошлого, знаешь, не совсем уверенное выражение в глазах — примет ли меня настоящее?.. Домой пришли после 3-х утра. Сейчас иду завтракать к Рудневу, потом к Рошу, потом — выступать... Душа моя, как ужасно жалко, что тебя не было в Ла Сказе — душенька моя, любовь моя.

Письма постепенно становятся деловыми, Набоков иногда признается, что их переписка стала похожа на *бюрократическую*. А рецензент Турман пишет: *трудно поверить, но, оказывается, даже набоковские письма могут быть скучными.* Дело мог-

ло быть не только в спешке и занятости. В переполненном поклонниками Париже у Набокова вспыхнула новая любовь – с Ириной Гваданини – роман того сорта, какие герой "Лолиты" Гумберт называл *летальным наслаждением*. Эмис пишет:

История эта была описана в книге Стэси Шифф "Вера". Но очень больно заново пережить ее – такой, какой она вышла из-под пера самого Набокова, из писем Вере. Это было убийственное варево, которое он сам себе заварил в Париже: леденящий страх за жену и сына не мог остановить безрассудной страсти, от которой он не в силах был отказаться, к тому же приступ псориаза, оставлявший кровь и гной на белье, – грубый символ наказания свыше. В письмах видно, как эта великая душа, великий писатель жалко выкручивался, когда жена получила анонимное письмо из Парижа о его связи: *Не смей ревновать! Не верь подлым сплетням...* И дальше – обычное медоточивое вранье. Все же верен старый закон: люди, оригинальные и значительные в своих сильных сторонах, в своих слабостях – банальны, как все.

Далеко не сразу Набоков нашел в себе силы сделать выбор. Он остался с Верой, и они вырвались из Франции только в 1940 году – последним пароходом.

О парижском романе Мартин Эмис пишет:

Оба супруга перешагнули его быстрее, чем этого ожидает читатель. И по письмам можно понять, что в их отношениях была заново восстановлена "безоблачная близость" первых лет.

Владимир Набоков был женат на Вере 52 года. Она была его первым читателем, его машинисткой, литагентом, бухгалтером, ассистентом, шофером и охранником (в Америке она носила в сумочке пистолет). В ресторанах она даже порывалась пробовать его еду. Она вскрывала его почту и отвечала на многие письма. Одни говорили, что каждый писатель мечтал бы иметь "свою Веру", другие считали Набокова ее пленником. Но именно она спасла рукопись "Лолиты", вытащив из горевшего мусора, куда ее бросил автор.

И никто не знает, что за все эти годы чувствовала сама Вера. Она уничтожила не только все свои письма, но даже вычеркнула свои приписки на открытках, которые Набоков писал матери. Биографам она говорила: "Чем меньше *меня* будет в книге, тем она окажется ближе к истине". Была ли это просто скромность, скрытность или мудрый ход – гарантия вечной загадочности? Или, как пишет рецензент Турман, *это могло быть аутодафе, уничтожавшее улики ее супружеской ереси*. Набоков говорил жене: *Ты – моя маска.*

В замечательной биографической книге "Вера", получившей в 2000 году Пулитцеровскую премию, ее автор, Стэси Шифф, пишет, что было бы совершенно неверно назвать любовь Веры Набоковой к мужу самоотречением. *Две их личности были, как два клапана одного сердца. Экстравагантная преданность может быть иногда выражением душевного величия.*

Рис. Хэнка Хинтона

Среди книг

с Олегом Кривцуном

“Кровь любви и стремление к бездне...”

Владимир Колязин *Мейерхольд, Таиров и Германия. Брехт, Пискатор и Россия. Очерки русско-немецких художественных связей.* — Saarbrücken: Palmerium academic publishing, 2013

Вынесенная в заголовок фраза принадлежит немецкому поэту Готфриду Бенну. Она точно характеризует совмещение острой чувственности и метафизики, так переплетающихся в театральных исканиях русского и немецкого сценического искусства двух предвоенных десятилетий. “Русский театр — произведение игровой и зрелищной стихии русского человека. Наш театр — попытка сделать наглядными наши идейные конструкции. Русский театр ведом зрителем, а наш — ведет зрителя. Их театр — ожившая история природы. А наш — патологическая анатомия”. Это меткая формула, произнесенная в 1920-х годах немецким историком театра Стефаном Хартенштайном, и сегодня побуждает размышлять о притяжениях и отталкиваниях немецкой и русской театральных систем. Разумеется, внутри этих систем множество собственных полюсов и векторов. Станиславский — это не Таиров, а Таиров — это не Мейерхольд. Но сущностное зерно эстетики российских театральных трупп немецким

критиком, пожалуй, схвачено верно. "У русских – фантастическая насыщенность выражаемых страстей" – этот тезис стал повсеместен в немецкой театральной периодике 1920-х годов.

Основательная, насыщенная огромным фактическим материалом книга известного отечественного театроведа Владимира Колязина позволяет увидеть заинтересованное движение навстречу друг другу немецких и российских режиссеров в 20–30-е годы прошлого столетия. Книга демонстрирует огромный интерес к познанию друг друга, колоссальный масштаб обменных процессов в сфере театрального искусства. "Обменных" – не только в смысле взаимных визитов, а в смысле обоюдного перетекания приемов сценической выразительности, заимствований, подражаний, использования находок друг друга. Как свидетельствуют тщательно подобранные критические статьи, фрагменты эпистолириев, в эти десятилетия не было недостатка ни в страстных упреках друг к другу, как не было недостатка и во взаимном восхищении. Стоит оценить такт и осторожность В. Колязина в обобщениях: скорее автор предоставляет говорить самому материалу, документу – противоречивому, многослойному. Но все же если попытаться интегрировать действующие в это время в европейском театре силы, то можно признать: интерес Брехта и Пискатора к тому, что делалось в России, – был гораздо основательнее, сильнее, чем мера внимания Таирова и Мейерхольда к природе немецкого сценического искусства.

Да, "влияние в первые десятилетия XX века идет с Востока на Запад, а не наоборот". Эта догадка Таирова потенцировала его силы, его большую внутреннюю убежденность, самовластие его таланта. Виртуозность воплощения в таировском спектакле того, что позже отметят как "танцевальные формы красоты". Как точно и справедливо заключает в последней части книги В. Колязин, "Таиров, пожалуй, скорректировал экспрессионистскую традицию немецкого театра в сторону большей живописности и пластической динамики". Да, это так. Таиров был сильный, волевой, изобретательный постановщик и влияние его очевидно. В итоге такие рафинированные мастера европейской культуры, как Жан Кокто и Пабло Пикассо объявили себя поклонниками русского режиссера.

Вместе с тем, начиная с середины 1920-х годов, Всеволод Мейерхольд также расценивается немцами в качестве главной точки отсчета. Но эстетика Мейерхольда многопланова. В ней много новаторских претворений духа эпохи, а вместе с тем – и несомненные опосредованные метаморфозы влияния немецкой культуры, хотя бы в силу происхождения мастера, как это особо акцентирует автор книги. Синтез театрального действа Мейерхольда с его ансамблевостью, отточенностью и дисциплинированностью каждого жеста порождал пленительную ауру спектакля,

незабываемую суггестию впечатления.

Особую миссию в немецком десанте русского театра явила и театральная живопись. Одни только имена Экстер, Фалька, Поповой, Рабиновича, Веснина, Кузнецова, Альтмана — это целое созвездие фигур первой величины, предопределивших нерв, эмоциональность, экспрессию сценографического решения постановок.

Нельзя не упомянуть и о влиянии на сценическое искусство живописи и поэзии немецкого экспрессионизма первых десятилетий XX века. Сегодня мы привыкли к утрированно-резкому рисунку, съехавшей в сторону и опрокинутой композиции, фантасмагорическим портретам Эрнста Кирхнера, Георга Гроса, Отто Дикса и склонны причислять их к золотому фонду мирового искусства. Как привыкли и к поэтическому слогу Георга Тракля, Готфрида Бенна с бередящим отчаянием, вызывающе-терпким эротизмом их лирики. Власть взвинченной, нервной эстетики экспрессионизма, разумеется, с лихвой ощутил и немецкий театр. Искусство экспрессионизма не очень ценит зеркально-событийное воссоздание жизни. Для него гораздо важнее сущностное, потаенное содержание, способное прорваться на поверхность в неожиданных, трудноузнаваемых, деформированных ликах. Именно так немецкий театр находил свои метафоры для претворения грешно-взбаламученной жизни человека, потерявшего себя в этом мире. Человека, сбившегося с пути, изведенного бессмысленной схваткой с враждебным окружением, с обманной любовью; в жизни которого спуталось "чередование смерти и цветенья", "кровь любви и стремление к бездне", а "сперма слабосильна как слюна" (Готфрид Бенн).

Достигнутый в 1920-е годы максимум в интенсивности театральной жизни России и Германии порождал молниеносность обоюдных реакций, обретений и взаимообогащений. Как точно характеризует этот процесс В. Колязин: "И Мейерхольд, и Таиров, и Пискатор обожали подбрасывать в чужие гнезда яростных кукушат своих постановок". Процесс этот был спонтанным и незапрограммированным. Панорама самобытных и непохожих ярких постановок провоцировала участников на теоретические обобщения. Время от времени театральные критики, да и сами режиссеры, могли схлестнуться в споре: обсуждалась природа натуралистического театра и условного театра как *тезиса* и *антитезиса* театрального искусства вообще.

Однако какой бы фантасмагорический язык не порождался разными театральными системами, успешность одной и другой объяснялась их *внутренней театральностью как таковой*. Поясню этот тезис: при всей неординарности и самобытности, если перед нами Театр с большой буквы, — это всегда нечто большее, чем литература. Театр — это не инсценировка литературы, не иллюстрация текста. И зрелищный, и хлесткий, как и психологиче-

ский, и условный театр исходят в своей выразительности из специфического языка театра: интонации голоса, тембра актера, его пластики, жеста, особо выстроенных мизансцен, освещения, костюмов, сценографии, музыки и так далее, и так далее. Все перечисленное в полной мере "работало" в совершенно непохожих спектаклях как немцев, так и русских. И второй критерий — это *подтекст действия*, то незримое переживание, которое окутывает сценическую историю, диалоги, сюжет. Хорошо выразил такое ощущение Пастернак, как-то обронив фразу о том, что "слова у М. Алданова не отбрасывают тени". Вот именно эта тень, отбрасываемая сценическим действием, атмосфера, иносказание — если они есть — оправдывают сколь угодно "острый концепт" спектакля, не давая ему превратиться в агитку, в дидактику, "подрессоривая" любое прямое высказывание многомысленностью театрального целого.

Характерно, что именно в 1920 и 1930-е годы в западной теоретической мысли был популярным такой эстетический тезис: "В здоровом обществе художник усиливает его здоровье. В больном обществе художник усиливает его болезнь" (Л. Мэмфорд). Фраза броская и запоминающаяся. Но, кстати сказать, выдающийся немецкий мыслитель Теодор Адорно резко критиковал ее. В самом деле, если мы соглашаемся с этим тезисом, то смотрим на режиссера, литератора, художника лишь как на *транслятора* того состояния, в котором он находится. По принципу: что вижу, то и пою. Разумеется, сама природа творчества противится такому механическому взгляду. Творчество выталкивает художника в такие области и наития, приблизиться к которым вне языка искусства он был бы не в состоянии. Творчество не способно застыть на "сканировании ситуации", оно всегда есть некое *приращение бытия*, выход за границы данного мира, это — весть, это — откровение, переживание которого зачастую превышает наши возможности адекватного вербального изложения.

Так и с оценкой величия, масштаба, самобытности, оригинальности немецкого и русского театра. Одни настойчиво декларировали театр как "увеличительное стекло жизни". Другие горячо утверждали первичность его возможностей создавать мир грез, фантазии, вымысла. В итоге, как мы понимаем, дилемма эта ложная по сути. Театр пробуждает отклик, заразительность. Режиссер держит и не отпускает зрителя. Аллюзии, скрытые смыслы спектакля предопределяют его долгую жизнь. И все это — театр. Искусство, способное акцентировать значимость разных полюсов жизни, бесконечного спектра человеческой аффективности. Надо отдать должное Владимиру Колязину, автору этой так тщательно собранной, выстроенной книги: он словно штурман помогает навигации читателя, помогает ему селиться в разных театральных мирах и обживать их. Самому погружаться в стихию такого противоречивого, непричесанного бурного театрального процесса русско-не-

мецких связей, где перемешаны высшие порывы духа и бытовые мотивации, где большой талант обнажает наши надежды, порывы, желания.

Со страниц книги драматические судьбы немецкого и советского театрального авангарда предстают в неизвестных нам прежде пересечениях и деталях. Все это побуждает еще раз задуматься о потенциальных возможностях развития и масштабах потерь искусства того времени. Уже первое издание этой книги (ГИТИС, 1998) вскоре стало учебным пособием для студентов театральных вузов по немецкому театру в его связях с русским. Нет сомнения, что и нынешнее, в два раза расширенное и дополненное за счет материалов о немецких импульсах исканий Мейерхольда, о широте его "интернациональных связей", будет востребовано специалистами, студенчеством, широкой аудиторией театра.

Луиш де Стау Монтейру
Luis de Sttau Monteiro
[1926–1993]. Португальский писатель, драматург и журналист. Лауреат *Большой театральной премии* [1961], Кавалер Ордена Сантьяго (посмертно).

Автор романов *А на ужин тоска* [*Angústia para o Jantar*, 1965], *Если родится девочка, назовем ее Кустодиа* [*E se For Rapariga Chama-se Custódia*, 1966] и др., пьес *К счастью, светит Луна* [*Felizmente há luar*, 1961], *Каждый год, весной* [*Todos os anos, pela Primavera*, 1963], *Его Превосходительство* [*Sua Excelência*, 1971].
Роман *Мужчины не плачут* публикуется по изданию *Um Homem nao Chora* [Lisboa: Atica, S.A.R.L., 1960].

Энн Тереза Энрайт
Anne Teresa Enright
Ирландская писательница. Лауреат Букеровской [2007] и Ирландской премий [2008] и др. Обладатель медали Э. Карнеги.

Автор романов *На что вы похожи?* [*What Are You Like?* 2000], *Услада Элайзы Линч* [*The Pleasure of Eliza Lynch*, 2002], *Собрание* [*The Gathering*, 2007] и др., сборников *Портативная Дева Мария* [*The Portable Virgin*, 1991], *О фотосъемке* [*Taking Pictures*, 2008] и др., публицистической книги *Как делать детей. Вступление в материнство* [*Making Babies: Stumbling into Motherhood*, 2004]. На русском языке вышли книги *Парик моего отца* [2000] и *Забытый вальс* [2013].
Публикуемые рассказы взяты из сборника *Вчерашняя погода* [*Yesterday's Weather*. Emblem Editions, 2009].

Марсель Паньоль
Marcel Pagnol
[1895–1974]. Французский драматург и кинорежиссер, первый деятель кинематографа, ставший членом Французской академии [1946]. Обладатель орденов Почетного легиона, Академических пальм, Искусств и литературы.

Первую пьесу *Продавцы славы* [*Les marchands de gloire*, 1924] написал совместно с Полем Нивуа. Автор комедий *Джаз* [*Jazz*, 1926], *Мариус* [*Marius*, 1929], *Фанни* [*Fanny*, 1931], *Топаз* [*Topaze*, 1928]. На основе его пьес снята кинотрилогия о рабочих марсельского порта [*Мариус*, 1931; *Фанни*, 1932; *Сезар* (*César*), 1936], киноверсии пьес *Топаз* [1933, 1936 и 1951], *Анжела* [*Angela*, 1934], *Урожай* [*Regain*, 1937], *Манон ручьев* [*Manon des sources*, 1952], *Письма с моей мельницы* [*Les Lettres de mon moulin*, 1954] и др. Огромный успех имело его автобиографическое произведение *Воспоминания детства* в 4-х тт. [*Souvenir d'enfance*]: *Слава моего отца* [*La gloire de mon père*, 1957], *Замок моей матери* [*Le château de ma mère*, 1958], *Пора тайн* [*Le Temps des secrets*, 1959], *Пора любви* [*Le Temps des amours*, остался незавершенным]. Издатель Бернар Фалуа обнаружил главы книги уже после смерти автора в его документах и опубликовал их в 1974 г.
Публикуемый перевод повести выполнен по изданию *Le Temps des amours* [Editions de Fallois, 2004].

Анна Владиславовна Ямпольская
Переводчик с итальянского, кандидат филологических наук, PhD, доцент Литературного института имени А. М. Горького. Лауреат премии области Тоскана *Серебряный гонфалон* [2007] за исследования по итальянистике и *Премии имени Н. В. Гоголя* [2009].

Автор статей по истории итальянской литературы, стилистике, теории перевода, а также учебных пособий для российских и итальянских студентов, составитель антологий рассказов итальянских писателей. Переводила произведения Дж. П. Лучини, А. Палаццески, Ф. Т. Маринетти, А. Дельфини, М. Мари, Л. Литтиццетто, М. Л. Спациани, П. Джордано, Р. Пацци, П. Соррентино и др., эссеистику, книги и статьи по истории искусства и литературы. Составитель и переводчик специальных номеров *ИЛ – Итальянская литература в поисках формы* [2008, № 10], *Италия: времена года* [2011, № 8].

Алессандро Барикко
Alessandro Baricco
[р. 1958]. Итальянский писатель, драматург, эссеист, музыкальный критик, телеведущий, сценарист, кинорежиссер.

Автор романов *Замки гнева* [*Castelli di rabbia*, 1991], *Море-океан* [*Oceano mare*, 1993], *Шелк* [*Seta*, 1996], *City* [1999], *Без крови* [*Senza sangue*, 2002], *Гомер, Илиада* [*Omero, Iliade*, 2004], *Такая история* [*Questa storia*, 2005], *Эммаус* [*Emmaus*, 2009], *Дон Жуан* [*La storia di Don Giovanni*, 2010], *Мистер Гвин* [*Mr Gwyn*, 2011], *Трижды на заре* [*Tre volte all'alba*, 2012], *Смит и Вессон* [*Smith&Wesson*, 2014] и др., театрального монолога *1990-й. Легенда о пианисте* [*Novecento*, 1994], сценариев *Давила Роа* [*Davila Roa*, 1994], *Испанская партия* [*Partita spagnola*, 2003] и др., очерков и рассказов.
Рассказ *Синдром Будмана* [*La sindrome Boodman*] взят из сборника *Итальянские рассказы XX века*, т. 3 [*Racconti italiani del Novecento. Tomo terzo*. Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., 2001].

Паоло Коньетти
Paolo Cognetti
[р. 1978]. Итальянский писатель, эссеист. Лауреат премий *Сеттембрини* [2008], *Ло Страньеро* [2009] и *Ренато Фучини* [2009].

Автор романа *София всегда носит черное* [*Sofia si veste sempre di nero*, 2012], сборника рассказов *Учебник для успешных девушек* [*Manuale per ragazze di successo*, 2004] и др., эссе *Нью Йорк – окно без занавесок* [*New York è una finestra senza tende*, 2010], *Дикарь* [*Il ragazzo sel vatico*, 2013] и др.
Рассказ *Механика двухтактного двигателя* [*La meccanica del motore a due tempi*] публикуется по изданию *Что-то маленькое, что сейчас взорвется* [*Una piccola cosa che sta per esplodere*. Minimum fax s.r.l., 2007, 2013].

Валерия Паррелла
Valeria Parrella
Итальянский писатель. Лауреат премии *Дж. Т. Лампедузы* [2010].

Автор романов *Белое пространство* [*Lo spazio bianco*, 2008], *Какая еще любовь* [*Ma quale amore*, 2010], *Заявление об уходе* [*Lettera di dimissioni*, 2011], *Время учиться* [*Tempo di imparare*, 2014], сборников рассказов *Муха плюс кит* [*Mosca più balena*, 2003], *Подумаешь, любовь* [*Troppa importanza all'amore*, 2015] и др., театральных монологов и пьес *Приговор* [*Il verdetto*, 2007], *Три трети* [*Tre terzi*, 2009], *Привет, мужчина!* [*Ciа omaschio*, 2012] и др.
Рассказ *Бег* [*La corsa*] публикуется по изданию *За полученную благодать*[*Per grazia ricevuta*. Minimum fax s.r.l., 2010].

Альберто Ролло
Alberto Rollo
[р. 1951]. Эссеист, литературный критик, переводчик с английского, главный редактор издательства *Фельтринелли*.

Автор эссе, опубликованных в литературных журналах *Бельфагор*, *Куадерни пьячентини*, *Омбре россе*, *Иммаджинационе* и др.; рецензент ряда ежедневных печатных изданий. Сотрудничает с ежегодным журналом *Тиратура*. В его переводе издавались произведения В. Ирвинга, У. Фолкнера, У. Селфа, Дж. Коу, С. Миллхаузера, Г. Бродки.

Джулия Дзанголи
Giulia Zangoli
Переводчик с русского, преподаватель итальянского языка в Литературном институте им. А. М. Горького. Лауреат премии *Радуга* [2010].

В ее переводе на итальянском языке опубликована монография Н. Эйдельмана и Ю. Крелина *Итальянская Россия*, рассказы М. Кучерской, А. Слаповского, Е. Попова.

Октавио Пас
Octavio Paz
[1914–1998]. Мексиканский поэт, эссеист-культуролог, переводчик, публицист. Лауреат многих премий, в том числе Национальной литературной премии [1977], премии *Мигель де Сервантес* [1981], Нобелевской премии по литературе [1990].

Автор сборников лирики *Свобода под честное слово* [*Libertad bajo palabra*, 1949], *Саламандра* [*Salamandra*, 1962], *Растущее изнутри* [*Árbol adentro*, 1987], книг эссе *Лабиринт одиночества* [*El laberinto de la soledad*, 1950], *Переменный ток* [*La corriente alterna*, 1967], *Людоед-человеколюб [El ogro filantrópico*, 1979], *Сестра Хуана* [*Sor Juana Inés de la Cruz*, 1982], *Другой голос* [*La otra voz*, 1990], *Отблески Индии* [*Vislumbres de la India* 1995]. В русских переводах стихи Октавио Паса печатались в сборниках *Поэты Мексики* [1975], *Пернатые молнии* [1988]; лирика и эссе публиковались в *ИЛ* [1991, № 1; 1995, № 1; 1997, № 7; 2003, № 5]. На русском языке вышла книга *Поэзия. Критика. Эротика* [1996].
Перевод выполнен по изданию...

Гюнтер Грасс
Günter Grass
[1927–2015]. Немецкий писатель. Лауреат Нобелевской премии [1999], литературной премии Георга Бюхнера.

Автор романов *Жестяной барабан* [*Die Blechtrommel*, 1959; рус. перев. *ИЛ*, 1995, № 11; книга первая), *Собачьи годы* [*Hundejahre*, 1963; рус. перев. *ИЛ*, 1996, № 5–7], *Из дневника улитки* [*Aus dem Tagebuch einer Schnecke*, 1972], *Крысиха* [*Die Rättin*, 1986] и др.; книги путевых очерков *Гомункулы* [*Kopfgeburten*, 1980]. В *ИЛ* напечатаны повести Г. Грасса *Кошка и мышь* [1968, № 5] и *Встреча в Тельгте* [1983, № 5], стихи [1983, № 10; 1988, № 4], фрагменты книги *Мое столетие* [2000, № 1], новелла *Траектория краба* [2002, № 10], торжественная речь *Метафорам можно доверять*, произнесенная в Лейпциге по случаю вручения Кристе Вольф Немецкой литературной премии [2003, № 9], главы из книги *Луковица памяти* [2008, № 3].

Борис Николаевич Хлебников
[р. 1943]. Переводчик с немецкого, французского и английского

В его переводе публиковались немецкие народные песни и баллады, песни Ж. Брассенса, стихи У. Дж. Смита и Р. Фроста. В *ИЛ* напечатаны его переводы стихов Х. Вадера [1985, № 6], Э. Фрида [1987, № 10], Г. Грасса [1983, № 10; 1988, № 4], повести *Чужой друг* К. Хайна [1987, № 1],

языков, журналист, публицист. Лауреат премии *Инолит* [2003], премии им. Жуковского [2006].

романов *Книга царя Давида* [1990, № 4, 5] и *Агасфер* С. Гейма [1994, № 9], новеллы *Траектория краба* Г. Грасса [2002, № 10], статья *Феномен Грасса* [2007, № 1], главы из книги *Луковица памяти* Г. Грасса [2008, № 3] и др.

Александр Мелихов [р. 1947]. Прозаик, литературный критик, публицист, кандидат физико-математических наук. Лауреат *Набоковской премии* СП Санкт-Петербурга [1993], а также премий петербургского ПЕН-клуба [1995], имени Н. В. Гоголя [2003], правительства Санкт-Петербурга [2006].

Автор романов *Исповедь еврея* [1993], *Горбатые атланты* [1995], *Любовь к отеческим гробам* [2001], *Чума* [2003], *В долине блаженных* [2006] и др., многих сборников рассказов и нескольких сот журнально-газетных публикаций. Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

Николай Георгиевич Мельников [р. 1970]. Литературовед, критик, кандидат филологических наук. Лауреат премии имени А. М. Зверева [2008].

Автор книг *О Набокове и прочем: Статьи, рецензии, публикации* [2014], *Портрет без сходства: Владимир Набоков в письмах и дневниках современников (1910–1980-е годы)* [2013]; редактор-составитель антологий: *Классик без ретуши. Литературный мир о творчестве И. А. Бунина: Критические отзывы, эссе, пародии (1890-е–1950-е годы)* [2010], *Русское зарубежье о Чехове: Критика, литературоведение, воспоминания* [2010], *Классик без ретуши. Литературный мир о творчестве Владимира Набокова. Критические отзывы, эссе, пародии* [2000]. Постоянный автор *ИЛ*.

Питер Лубин [р. 1945]. Американский публицист и педагог.

Публикуемый текст взят из журнала *TriQuarterly* [1970, № 17].

Григорий Геннадиевич Стариковский [р. 1971]. Поэт, переводчик, филолог-античник. С 1992 г. живет в США.

Автор книги стихов *На углу* [2005]. Переводил стихи Г. Тракля, Л. Арагона, Дж. Джойса, С. Беккета, Э. Хекта, Д. Махуна, античных поэтов и др. В *ИЛ* публиковались его записки *По Ирландии* [2008, № 7], *Нотегоот* [2009, № 12], *Копенгаген* [2012, № 5], *Мраморная крошка, или Итальянские каникулы* [2013, № 6], а также переводы стихов Л. Арагона [2002, № 5], Л. Глик [2004, № 4], П. Канаваха [2006, № 3], Р. Крили [2006, № 4], Э. Берни [2006, № 11], П. Лейна [2006, № 11], М. Ондатже [2006, № 11], Д. Махуна [2007, № 6], П. Малдуна [2007, № 6], Л. Макниса [2007, № 6], Т. Лакса [2007, № 9], Дж. Грэм [2007, № 9], М. Уолтерс [2010, № 7], эссе Ш. Хини [2007, № 6].

Елена Львовна Калашникова
Журналист, филолог. Ведущая рубрики *Интервью с переводчиком* [2001–2008] в сетевом *Русском журнале*. Обладатель специального приза *ИЛ* [2008].

Автор книги *По-русски с любовью. Беседы с переводчиками* [НЛО, 2008].

Марина Михайловна Ефимова
Журналист, редактор, переводчик. Ведущая тематических передач на радио *Свобода*. Лауреат премии имени А. М Зверева [2012].

Автор повести *Через не могу* [1990] и многих публикаций в американской эмигрантской прессе. Ведущая рубрики *ИЛ Новые книги Нового Света*.

Олег Александрович Кривцун
[р. 1954]. Доктор философских наук, профессор, действительный член Российской академии художеств. Лауреат премии г. Москвы в области литературы и искусства.

Автор книг *Эстетика* [1998], *Психология искусства* [2000], *Творческое сознание художника* [2008] и др. В *ИЛ* публикуется впервые.

Переводчики

Андрей Юрьевич Сапрыкин
[р. 1958]. Переводчик с португальского и итальянского языков. Преподаватель.

В *ИЛ* публикуется впервые.

Александр Александрович Авербух
Переводчик с английского, преподаватель. По образованию биолог.

В его переводе вышли книги Э. Маккинти *Деньги на ветер* [2012] и Д. Лихэйна *Прощай, детка, прощай* [2013]. Переводил также фильмы для студий SDI-Медиа и СВ-Дубль. В *ИЛ* публикуется впервые.

Ольга Пискарёва
Переводчик с французского, выпускница Литературного института им. Горького [семинар А. М. Ревича и Н. С. Мавлевич].

В *ИЛ* публикуется впервые.

Татьяна Александровна Быстрова
Переводчик с итальянского, кандидат филологических наук, преподаватель МГПУ, выпускница Высших литературных курсов Литературного института им. А. М. Горького [семинар художественного перевода, руководитель А. В. Ямпольская], лауреат премии *Радуга* [2012].

Автор книги *Путешествие в Италию с Мариной Цветаевой*, статей по истории русской и итальянской литературы. В ее переводе опубликованы романы М. Мадзантини, Ф. Брицци, Ф. Фьоретти и др. В *ИЛ* публикуется впервые.

Диляра Искяндеровна Туишева
Переводчик с итальянского, выпускница Высших литературных курсов Литературного института им. А. М. Горького [семинар художественного перевода, руководитель А. В. Ямпольская].

В ее переводе опубликован рассказ Д. Борони *Семь гномов* в Литературном альманахе премии *Радуга* [2014]. В *ИЛ* в ее переводе опубликованы эссе А. Пиперно [2015, № 6].

Маргарита Александровна Старостина
Переводчик с итальянского, выпускница Высших литературных курсов Литературного института им. А. М. Горького [семинар художественного перевода, руководитель А. В. Ямпольская].

В *ИЛ* публикуется впервые.

Екатерина Дмитриевна Трубина
Переводчик с испанского и итальянского.

В *ИЛ* публикуется впервые.

Наталия Перова
Переводчик с английского, издатель [журнала *Глас*] русской литературы на английском языке.

В *ИЛ* в ее переводе опубликованы англо-американские афоризмы [2016, № 1].

Подписаться на журнал можно во всех отделениях связи.
Индекс 72261 — на год, 70394 — полугодие.
Льготная подписка оформляется в редакции
(понедельник, вторник, среда, четверг
с 12.00 до 17.30).

Адреса редакции: 115035, г. Москва,
Космодемьянская наб., д. 44/2, корп. А
(юридический);
119017, г. Москва, Пятницкая ул., 41, стр. 1, 2
(почтовый);
г. Москва, Ленинградский просп., д. 68, стр. 24,
м. "Аэропорт" (фактический).
Телефон (495) 225-98-80.
e-mail: inolit@rinet.ru

Купить журнал можно:
в Москве:
в редакции;
в киоске "Москва" (ул. Арбат, д. 20);
в киоске "Лингвистика" (Библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино Николоямская ул., д. 1);
в книжном магазине "Русское зарубежье" (Нижняя Радищевская, д. 2; м. Таганская-кольцевая);
в киоске "Книжные мастерские" (ул. Тверская, д. 23, в фойе Электротеатра Станиславского);
в Санкт-Петербурге:
в магазине "Книжные мастерские" (Каменноостровский пр., д. 10);
в книжном магазине "Все свободны" (набережная реки Мойки, д. 8, второй двор, код ворот 489);
в книжном магазине "Мы" (Невский просп., 20, 3-й этаж);
в магазине "Книжные мастерские" (набережная реки Фонтанки, д. 15);
в киоске "Книжные мастерские" (набережная реки Фонтанки, д. 49А, 3-й этаж, новая сцена Александринского театра);
в Пензе:
в книжном магазине "В переплете" (ул. Московская, д.12),

Официальный сайт журнала:
http://www.inostranka.ru
Наш блог:
http://obzor-inolit.livejournal.com

Журнал выходит
один раз в месяц.

Оригинал-макет номера
подготовлен в редакции.

Регистрационное
свидетельство
ПИ № 8С77-63040
от 18 сентября 2015 г.

Подписано в печать
15.3.2016
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 25,20.
Уч.-изд. л. 24.
Заказ № 2498.
Тираж 2500 экз.

Отпечатано в
ОАО "Можайский
полиграфический комбинат".
143200, г. Можайск,
ул. Мира, 93.
www.oaompk.ru
www.ОАОМПК.рф
Тел.: (495) 745-84-28;
(49638) 20-685.
Присланные рукописи не
возвращаются и не
рецензируются.

Художественное
оформление и макет
Андрей Бондаренко,
Дмитрий Черногаев.

Старший корректор
Анна Михлина.
Компьютерный набор
Евгения Ушакова,
Надежда Родина.
Компьютерная верстка
Вячеслав Домогацких.

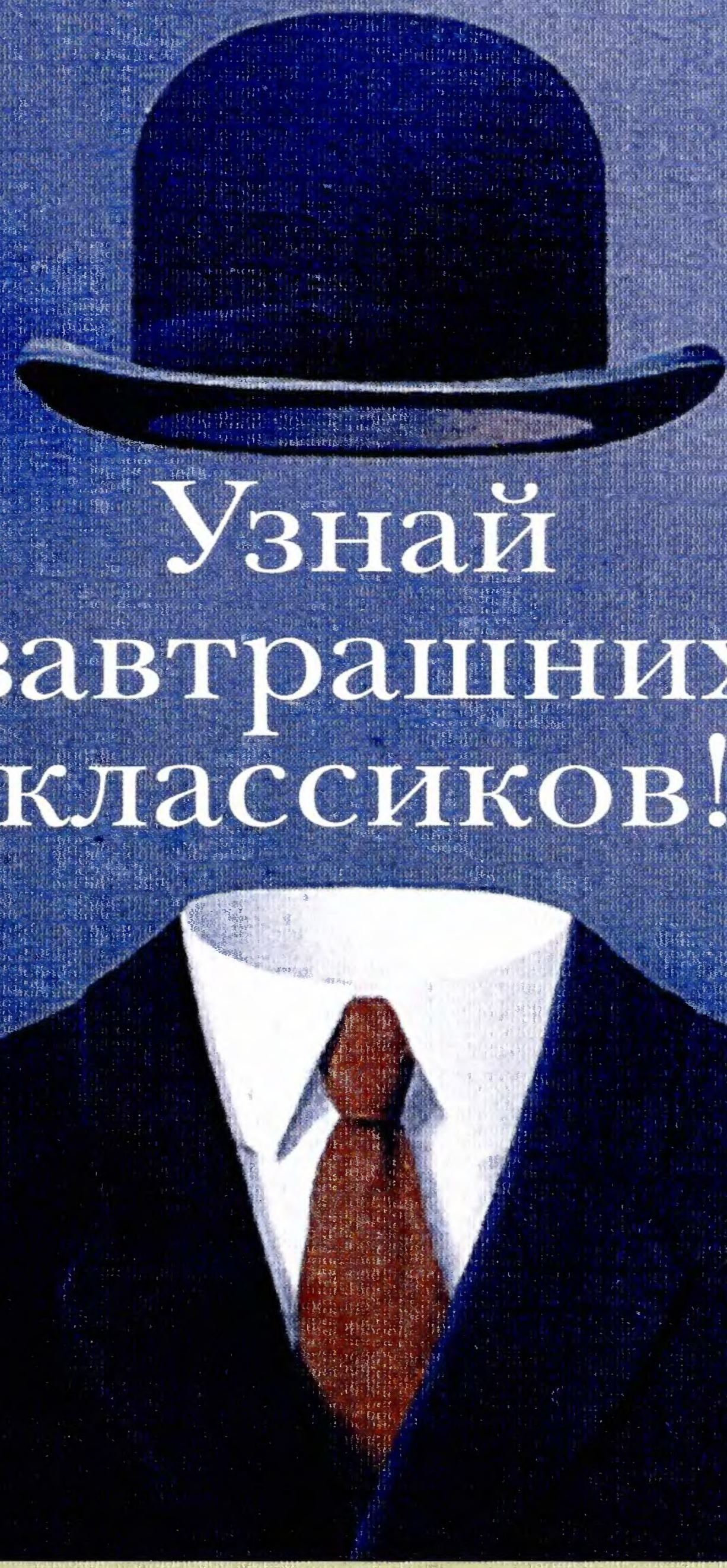
Главный бухгалтер
Татьяна Чистякова.
Исполнительный директор
Мария Макарова.

[4] 2016

РОМАН АНДРЕСА НЕУМАНА “БАРИЛОЧЕ” / СТИХИ ПЬЕРЫ МАТТЕИ /
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГИД “ПОЛВЕКА БЕЗ ИВЛИНА ВО”

ИНДЕКС 70394

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



Узнай завтрашних классиков!

ISSN 0130-6545 16003 9 770130 654770

Подписка во всех отделениях связи России,
подписной индекс 70394

Адрес редакции журнала “Иностранная литература”:
г. Москва, Ленинградский проспект,
д. 68, стр. 24, м. “Аэропорт”.

ISSN 0130-6545 “ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА”, 2016, №3, 1–288